ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1945 году на одном эмигрантском литературном вечере меня познакомили с капитаном Красной армии Коряковым, только что попавшим в Париж. Я пригласил его к себе, он стал бывать у нас.

И мне, и жене моей, давним эмигрантам и уже парижским жителям, было более чем интересно узнать ближе человека из России — притом молодого, не нашего поколения.

Что т а м? Каковы люди? Как думают, чем живут?

Нам казалось, что это совсем иной, новый мир, далекий, может быть и враждебный. Поймем-ли мы друг друга? Сговоримся-ли?

Молодой офицер сразу-же удивил нас — скромной манерой держаться, естественным тоном, жаждой знаний и просвещения, интересом к литературе, искусству, Парижу — говорил он на том-же классическом русском языке, что и мы (с легкой лишь примесью простонародных выражений и советских терминов). Даровитость, любознательность, жадность к жизни сразу почувствовались. Скоро выяснилось, что и сам он пишет. И к еще большему моему удивлению первое-же, что он мне принес — человек из «безбожной» страны — была статейка о художнике Нестерове. Мечтательно-задумчивыми произведениями этого Нестерова мы сами в юности увлекались, но... капитан Красной армии!

Привыкнув к нам и почувствовав, что мы хорошо к нему относимся, Михаил Михайлович, бывший сту-

дент Института философии, литературы и истории, стал свободнее приоткрывать внутренний свой мир.

Оказалось, еще в Москве некая трещина расколола его сердце. Первым динамитным патроном оказался как раз этот Нестеров со своими кроткими святыми. Студент попал на его выставку и, несмотря на то, что нарочно приставленный от партии «толкователь» объяснял Нестерова, как пейзажиста, минуя мистику его и внутреннее содержание, Михаил Михайлович почувствовал в созерцательности, смирении, добром излучении нестеровских фигур иной, высший мир, мало похожий на окружающее.

Вечная история человеческой души. Сами мы (старшее поколение русских в эмиграции) единственное находили утешение и ободрение среди ужаса крови, казней, насилия революции — в церкви, церковной службе, Евангелии. Кто много страдал, для того религия открывается в особо-сияющем виде.

Не думаю, чтобы очень страдал в то время Михаил Михайлович, все-же вокруг была буря, пафос ненависти утомляет, живая душа начинает задыхаться — хочется иного, светлого.

И дальше... — не по его воле все так обернулось, что пришлось уже окунуться в ужасы войны, видеть почти поражение и проделать с армией весь обратный, тоже крестный путь до Дрездена.

Чем далее отходил он от Москвы, тем более вырастала трещина. Уже на Волыни испытал некое преследование за религию (заказал панихиду по скончавшемся митроп. Сергии, был осмеян за это и подвергнут взысканию в своей дивизии). Потом шла Польша — в Ченстохове душу его потрясла католическая святыня Ченстоховской Божьей Матери. Под Дрезденом видел лицом к лицу смерть (попал в плен. Немцы расстреляли всех пленных, он спасся чудом). В Силезии видел ужасы насилий *своих* же над побежден-

ными и мучился в бессилии остановить зверства — обо всем этом рассказал с простотою и живостью, иногда со страшной убедительностью в книге «Почему я не возвращаюсь в СССР».

Все та-же сила, что вошла в него после Нестерова, влекла дальше, на Запад, на Запад. Из Саксонии он пробрался в Париж — в той-же жажде по-новому и духовно понять, принять жизнь. В таком-то примерно, состоянии и встретился он с нами — и другими русскими нашего настроения. Тут довольно скоро и стало ясно, что ему в Красной армии не усидеть.

Так оно и случилось. Он все дальше и дальше отходил — не от *России*, а от правящей в ней силы. У него слагалось мистическое чувство: он не зря в некоем потоке стремится на дальний Запад — ему назначено принести с собой истинную Россию, прославить ее и рассказать Западу правду о неправедной лже-России, возглавляемой безбожием.

Он ушел от советов и бежал в Америку.

***

Сейчас много появляется «книг-материалов» о России. Некоторые из них (Кравченко) очень нашумели, проникли в широчайшую публику и многое разоблачили. Но — во внешнем плане. Это политика, борьба, ничего духовного. Коряков пишет иначе. Я говорил уже о его первой книге. Вторая, сейчас предлагаемая, есть продолжение и дополнение первой—написана в том-же духе. В ней та-же живость и изобразительность, природный дар автора. Отличные зарисовки народной солдатской России, попытка показать «советского человека», изобразить противоречия жизни советской («Бархатный сезон») и мрак насильственных мер в деревне («Весной на Кубани»). Но это не есть просто «разоблачение», критика в политическом плане: автор всегда метит выше.

В очерке «16 ноября» он возвращается к ранним своим, начальным переживаниям религиозным еще в России. — Критическая минута войны: немцы под самой Москвой, автор, в саперном батальоне, находится на передовых позициях у древнего Волоколамского монастыря... — святыни которого ему предстоит взрывать. Вот он опять, как перед Нестеровым, лицом к лицу с древним благочестием России, погибающим в схватке противоположных безбожий. Это новая рана души. Но и новый призыв к борьбе за возрождение *свободной* Родины — в свете высших духовных ценностей, в духе уважения к самоценному человеку: из чего и вытечет, сама собой, правильная политика социальная — не возвращение вспять, а разумная и человеколюбивая защита слабого от сильного, угнетаемого от угнетающего.

Даже для нас, русских, корнями уходящих в родную землю, в писаниях Корякова о России многое ново и утешительно — утешителен даже просто факт, что живая русская душа существует и тяготеет не к одним «комячейкам», но и к горнему.

Иностранцам же, кому Россия совсем мало понятна, иногда чужда и страшна, книга должна дать хороший материал для более глубоких и сложных суждений о Родине нашей. Дай Бог, чтобы через нее западный читатель ясней ощутил и слабое в ней и сильное, уяснил бы себе, что теперешняя Россия, при всех уклонах ее и падениях, не есть просто безликая и бездушная сила роботов. Все гораздо сложнее. Есть живое ядро, ищущее правды, света. Идет борьба. «Дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».

Наше сердце — с живой Россией, пусть сейчас и подпольной. Ее посланцу, ставящему себе цель благородную и высокую — помоги Бог.

Бор. Зайцев.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОД МОСКВОЙ

КУРСАНТЫ

Вы не бывали в Болшеве, что под Москвой, по Северной дороге? В июле, облитые зноем первых летних дней, хорошо пахнут там сосновые леса. Только отшумели весенние дожди, в земле еще бродят соки, деревья не запылились, трава не успела состариться. Все молодо, свежо и вместе с тем по-летнему зрело, и воздух напоен густым и сладким, отстоявшимся ароматом нагретой смолы. Ничего бы не надо — только лечь под сосной на песок, усыпанный желтой хвоей, положить голову на корневище, выпирающее из земли, и слушать, как скрипят прямые и высокие дерева и смотреть в синие просветы меж верхушек, как над лесом, над покойным, казалось бы, и незыблемым миром проходят, свиваясь и развиваясь, белые полные летние облака.

Ничего бы другого не надо, только этого то как-раз нам и не дано. Мы — казенные люди, а не сами по себе, и не лежать нам без дум и забот под сосенкой, а стоять в солдатской шеренге. Вот и стоим всем взводом на опушке леса и вместо того, чтобы смотреть и радоваться на серых желтогрудых пташек, что низко порхают, гоняясь одна за другой, стоим и тупо смотрим на лейтенанта — молоденького, шустрого и рыжего, как лесной костер — на то, как он прыгает, машет винтовкой перед пучком соломы, привязанным между двумя тычками, и то прокалывая его штыком, то ударяя прикладом, показывает нам приемы рукопашной схватки.

6

— Посмотреть со стороны... — лейтенант остановился и конопатое его лицо стало еще шире от улыбки — ... хитрое ли дело ткнуть штыком? А вот, попробуй-ка. На все своя наука!

Придерживая сгибом локтя приставленную к ноге винтовку, он снял фуражку и отер ладонью пот с клеенчатой подкладки. Волосы, как ни чесала их зубьями алюминиевая расческа, стояли дыбом, будто недобрая чья то рука при рождении лейтенанта насыпала в них кирпичной пыли.

— Военная пословица говорит: без мата штыковому бою не научишься. Точно! Сперва и у меня не выходило, и материл меня командир не хуже, чем я вас. И косолапый я, и косорукий, и человека из тебя не станет... Врешь, думаю, станет! Рота после обеда на мертвый час, а я к штыку. Сколько я матов штыком перепорол! Старшина за голову схватился: «Из-за тебя, кричит, перерасход соломы». Какой соломы то, спрашиваю. Пшеничной или ржаной? Поедем ко мне на деревню — двадцать возов накладу.

В глазах лейтенанта теплилась смешливая хитреца. Он привирал: пшеница не росла на полях, окружавших деревню Рамушки. Деревенька эта, прилепленная к высокому правому берегу Волги, чуть ниже Твери, отвека кормилась черным хлебом. В ржаном хлебе скрыта великая сила: мужики в Рамушках были рослые, бородатые. Они ворочали валуны на пашне, корчевали пни. Целина голубела льнами. Лен был в цене: по осени в Твери гудела ярмарка, наезжали мазы-перекупщики. Мазы работали для разных фирм: русских, французских, бельгийских, немецких, английских и, конкурируя, набивали цену. Возвращаясь из города, мужики везли в телегах пахнущие дегтем кожи, полушалки и ситчик в мелких нарядных цветочках, а еще белых булок, соленой рыбы. Но лейтенант опоздал к той жизни: он был «ровесник Октября», попал в ли-

хие годы. Не то, чтобы побаловаться белой булкой, часом не сыскать было и черного, посыпанного крупной солью ломтя. Бабы собирали зеленый мох: сушили, перетирали, пекли лепешки. А какая в лепешках сила? Оттого лейтенант и не вышел ростом: на всю жизнь остался низеньким, щуплым, тонконогим.

В тридцатом году Россия котлом кипела: шла сплошная коллективизация. Водоворот захватил и тихие, неприметные Рамушки. Там тоже появился человек, у которого кроме скрипучей кожаной тужурки не было ничего: ни кола, ни двора, ни даже фамилии. Вместо имени-фамилии назывался он длинным номером: «двадцатипятитысячник». Кожаная тужурка образовала в Рамушках колхоз: чтобы никто не имел своего двора, а все были при общем деле — при казне, не индивидуями, а номерами. Выяснилось, что для общего дела Рамушки представляют особенное значение: они вырабатывали лен. Лен шел на самолеты, считался военной продукцией. Больше льна, как можно больше! Посевы ржи и овса сократились: сеяли лен по льну. Изнурялась земля, тощала деревня. Хлеба не хватало, лен не давал дохода: военную продукцию свозили на казенные заводы.

— Помрем, — сказал отец Никитке Заваруеву, которому в те годы сравнялось пятнадцать лет. — Видишь, как тянут соки, разве-ж выдюжить? Положим, мы с матерью свое отжили. А ты, искал бы ты какую другую дорогу, что ли. Хозяйства нету, не при чем тебе в деревне оставаться. Иди в Тверь, а то и до самой Москвы подавайся. Поймаешь удачу — твоя, не поймаешь — хуже, чем тут, не будет.

В Твери Никитка не задержался: набирали рабочую силу в столицу. Москва превратилась в строительную площадку: тысячи людей ковыряли ее ломами, дырявили автоматическими сверлами, вгрызались в нее эскаваторами. В скверах, посреди разрытых газонов,

воздвигались копры, грохотали лебедки. На улицах стало не протолкаться от брезентовых комбинезонов, широких резиновых сапог, шахтерских шляп... — армия строителей московского метрополитена. Эта армия взорвала храм Христа-Спасителя, разломала Страстной монастырь, снесла Сухареву башню и стены Китай-города, вырубила тополя на Первой Мещанской улице. Метростроевцы ходили по Москве, как оккупанты: кучками, с громкими разговорами. К ним то и прилепился Никитка Заваруев.

На Метрострое люди быстро мастерили карьеру. Одни шли по технической части: осваивали щитовую проходку туннелей, компрессорные установки, мраморное и мозаичное дело. Другие выдвигались по политической линии: передовая стройка требовала большого количества партийных секретарей, комсомольских организаторов, пропагандистов, клубных работников. Никитке Заваруеву посчастливилось лучше всех: он стал на военную стезю. Метростроевцы считались передовым отрядом московского пролетариата, и было задумано — лучшими ударниками укрепить военные школы. Никитка поймал удачу.

Для техники Никитке не хватало грамоты, политика его не привлекала, а для военной карьеры он имел все. Не беда, что щуплый, сухоростый: на поле боя даже лучше, любая кочка спрячет. Он был ловок, проворен: на турнике, на параллельных брусьях выделывал такие фортели, что поражался сам преподаватель физкультуры, окончивший институт имени Лесгафта в Ленинграде. По штыковому бою никто с ним не мог равняться. В его руках малая саперная лопата превращалась в грозное оружие: он учил нас, как надо действовать ею в рукопашной схватке, как рубить наотмашь головы. В деревне он обыгрывал парнишек в бабки — меткость пригодилась и в училище. Пули у него не ходили за молоком, а ложились одна к другой в черное

яблочко. Три года учился Никитка — про Рамушки не вспоминал. Жизнь деревенская не налаживалась нигде: на Украине мужики побросали плуги и отвернулись от колхозной пашни, оставили ее зарастать бурьяном; на Кубани ждали белого экспедиционного корпуса... — деревенская лихорадка не приставала к Никитке. Ничего он и знать не хотел — только военное дело. Жил и учился со стиснутыми зубами: «Рота на мертвый час, а я — к штыку!» Цепко он ухватился за свою удачу, и она вознесла его, наградила. В конце трех лет он увидел себя командиром. Даже перепрыгнул через одну ступеньку: за дисциплину, отчетливость в службе его аттестовали полным, а не младшим лейтенантом, дали в петлички не по-одному «кубарю», а сразу по-два.

В мае 1941 года лейтенант Н. П. Заваруев поехал в Рамушки на побывку. В подмосковных деревнях и в старину бывало, что дотошный парень уходил в столицу и, глядишь, уже горланил в торговом ларю в Охотном, либо стоял лихачем-извозчиком у Славянского базара. Из столицы такой приезжал в тоненьких сапожках, картузе с лаковым козырьком, выходил на улицу, подтянув ремнем к плечу гармонь, и — деревенским парням на зависть — оделял девок брошками, ленточками, вел перед народом городские, немужицкие разговоры. Отшумели большие годы, перерыли и перестроили Москву, от Охотного ряда осталось одно название, но, в своем существе, изменилась ли жизнь? Только военной формой разнился наш лейтенант от торгового парня. В Рамушках он щеголял малиновыми квадратиками на черных петличках, обшитых золотой крученой канителью, желтыми скрипучими ремнями, перекинутыми крест-на-крест через плечи, тонкими хромовыми сапогами, тугие голенища которых он щегольски сгонял гармошкой вниз.

Вытянув из кармана носовой платочек, лейтенант еще раз отер фуражку, смахнул пыль с широкого ко-

зырька, поправил на черном околыше красную звездочку.

— Без мата штыковому бою не научишься, — повторил он. — А почему? Кто ответит? Курсант Юхнов, вы!

— Автоматизм...

— Точно! В рукопашной схватке главное — автоматизм. Мой отец на турецком фронте пять раз ходил в штыковую атаку, и я его — вот недавно, когда ездил в Рамушки — спрашивал: — Ну, как оно там было, в окопах? Каким манером ты всаживал штык, как ударял прикладом? А он... что он ответил? — Ничего, говорит, не помню, а кто помнит и о том рассказывает — врет. Точно подмечено! В бою надо действовать автоматически. Так изучить приемы боя, чтобы голова про них забыла, а руки помнили. Что для этого требуется, курсант Юхнов?

— Упражнения, товарищ лейтенант.

— Беспрерывные упражнения, точно!

На голову, напоминавшую дерево в пламенах осенней листвы, легла фуражка. Лейтенант положил винтовку на траву и отошел от соломенного мата в сторону.

— Курсант Юхнов, выйти из строя! Проделайте мне упражнение номер один — прием короткого укола.

Из шеренги выступил высокий и грузный мужчина. Жалким, смешным он выглядел в военной форме. Пилотка растопорщилась, распялилась на голой, круглой, как глобус, голове. Перетянутое грубым солдатским ремнем, выпирало брюхо, набрякшее за сорок лет жизни.

Озорная вспышка озарила лицо лейтенанта.

— До войны вы были художником, Юхнов? Говорят, вы в письмах к жене рисуете на самого себя карикатуры. Это правда?

— И на вас тоже, — не смутился Юхнов. Подбородок его, широкий и мясистый, раздвоился от улыбки.

— А-а, не знал. В каком же виде?

— Ну, в разных... Как, скажем, вы привели взвод походным строем в уборную, выравняли шеренгу перед писсуарами и скомандовали: «Раз, два... оправляй-СЯ!»

Лейтенант нахмурился. Карикатура преувеличивала, но не врала. Дело в том, что наш взвод отлынивал от утренней физкультурной зарядки. Курсанты, все — пожилой народ, считали, что махать руками, приседать и кланяться — занятие пустое. Вместо того, чтобы срываться с кроватей и бежать без рубашек на плац, уходили в уборную, затягивались папиросами. Однажды лейтенант явился к подъему. Только пропела труба, он построил взвод, сводил к писсуарам — оправиться, а потом на плацу выбил у нас семь потов гимнастическими упражнениями.

— Команды, положим, не было, — пробормотал лейтенант. — «Оправляйся», это вы от себя добавили. И вообще... — он обмерил Юхнова глазами и усмехнулся: — Жиру я вам поубавлю! Будете увиливать от зарядки — не так прижучу!

Трудно лейтенанту с таким взводом. Нет ни одного парнишки, который бы охотно и легко махал винтовкой перед пучками соломы.

— Начинайте, Юхнов. Прием короткого укола.

Юхнов переступил с ноги на ногу и — винтовка наперевес — двинулся к пучку соломы. Шел он по-индюшечьи: тыкался носом вперед на каждом шагу. Движения его были прерывчаты, раздельны, будто он был на шарнирах: вот приблизился к мату, вот выбросил винтовку штыком вперед, вот повернул ее прикладом, вот вскинул над головою, прикрываясь от сабельного удара. Не получалось пружинного скольжения, того поистине бездумного автоматизма, позволявшего лей-

тенанту колоть, отбиваться прикладом, проделывать упражнение как-бы играючи.

— Плохо, Юхнов, плохо! — покрутил головой лейтенант. — Вы же со штыком идете, в атаку! Чего же переваливаетесь, как брюхатая попадья? Ну, научитесь... не я буду, если вас не научу! Послеобеденный отдых забудьте, сразу же из столовой, в тринадцать ноль-ноль, чтобы мне были на плацу, как штык! Понятно? Становитесь в строй! Перехожу к показу длинного укола.

Диву давался я, глядя на лейтенанта. Деревенский немудрячий паренек, но какая в нем пластичность, безошибочное чувство формы! Жилистый и подвижный, будто весь начиненный пружинками, он поднял винтовку, отошел на пять-шесть шагов от соломенного мата, остановился. Быстрым, несколько хищным прищуром измерил расстояние и вдруг сделал большой и глубокий выпад левой ногой, навалился всем корпусом тела. Винтовка скользнула в руках, на малую долю секунды коснулась штыком мишени и снова вернулась в обратное положение. Было приятно смотреть на молодецкую ловкость, красоту и точность военных приемов. Ловкость, молодцеватость в нем была наследственная: от многих поколений русских удальцов, от отца, ходившего пять раз в атаку, от мужиков, которые испокон-веку только затем и рождались на русской земле, чтобы быть пахарями и солдатами.

Держа винтовку на изготовке, не принимая назад выброшенной вперед, полусогнутой ноги, лейтенант сказал:

— В приемах штыкового боя, я хочу вас предупредить, имеется одна тонкость. Очень важная, хотя многие даже командиры, ее не знают. Когда вы посылаете винтовку вперед, придавайте ей как бы вращательное движение. Немного, самую малость, но чтобы штык, поражая мишень, шел не прямо, а делал — вот

так, очень просто — полуоборот. Потому что иначе, если штык воткнется в кость, вы его без труда не вытащите...

Вдалеке, за холмами, покрытыми юной сосновой порослью, запела труба. В белом небе плавилось полуденное солнце. Нежный аромат смолы перебивали горькие, резкие запахи подсушенной хвои, подгоравших трав. Бабочки не летали по жаре, в томной неге раскачивались на длинных стеблях. Тишина, покой, полнота лета, и надо всем — протяжный серебряный зов трубы. Трубач играл с веселой и легкой силой: наступил час обеда, отдыха. Лейтенант подал команду — равняться, и, пересчитав прищуренными глазами недвижные ряды, повел взвод из леса на большую пыльную дорогу.

Неповторимый, единственный по красоте пейзаж Подмосковья открывался с пригорка, по которому текла дорога. Крепкий высокий строй сосен Болшева, холмы и перелески Подлипок, крутые берега студеной Клязьмы... По сторонам дороги были раскиданы тесовые домики — окошки с резными наличниками, кусты шиповника в розовой пене, — болшевские дачи, лучшие в подмосковной округе.

Лето входило в разгар, на дачах, однако, не замечалось признаков жизни. Не пузырились поддуваемые ветром занавески — окна заперты ставнями, заколочены досками. Не гонялись ребятишки за мотыльками — белые рои скоплялись, мельтешили над голубыми, зелеными палисадниками. Дачи опустели: мужчины, женщины, дети ушли на войну.

Мобилизация всеобщая: кто не ушел на фронт, отбывал воинскую повинность на заводе. Женщины, не занятые у станков и школьники от двенадцати лет направлены на оборонительные работы. Одни уехали к Смоленску и Вязьме, Ржеву и Старице, в самое пекло, другие работали здесь, на московских окраинах. На

обрывистом берегу Клязьмы кишел человеческий муравейник: домохозяйки и студентки в комбинезонах, заляпанных глиной, мальчишки без рубашенок, худенькие, с выступающими ребрами, ворочали лопатами, таскали землю, сооружали противотанковые препятствия. Заграждения.

Кругом, куда ни посмотри, все говорило о войне. У Подлипок, в лощине, по которой сочился ручей, стучали топорами плотники: воздвигались корпуса из фанеры, размалеванной клеточками, будто кирпичная кладка. Километрах в полтора от стройки работал полным ходом гигантский артиллерийский завод: откуда, с заводского полигона, день и ночь неслась пальба скорострельных автоматических пушек. Завод перекрашивали в зелено-коричневое, пятнистое, сливающееся с землею, а для отвода неприятельских бомбардировщиков строили точную его копию из фанеры. По Ярославскому шоссе пылили грузовики: от Москвы, к Москве... По железной дороге тянулись товарные составы: мертвым, сумрачным грузом лежало на платформах железо — заводское оборудование перевозилось на восток; кричали и плакали в теплушках ребятишки — их увозили в тыл, в эвакуацию, но они еще не знали, что это за беда, и размахивали флажками, пели нестройными голосами песни и, если плакали, то не надолго, от малых детских обид.

На дорогу, мягкую от пыли, выходили из леса взводы, усталые, запыленные, возвращавшиеся с учений. Над одними щетинились винтовки: как и мы, они учились штыковому бою. Другие несли на плечах лопаты, поблескивавшие отточенными кромками: эти занимались подземноминным делом, копали глубокую «мину» (шахту) и от нее вели по направлению к предполагаемому противнику «сапу» (подземный ход). Третьи тащили ящики с неизрасходованной взрывчаткой и кольца черного смолистого бикфордова шну-

ра, — то был урок подрывного дела. Четвертые шли, обвешанные планшетами, из которых лохматились кончики истрепанных топографических карт, пятые помахивали свежевыструганными рейками, какие употребляются при нивеллировке шоссейных дорог, шестые... Не перечислить всего, чему нас учили в военно-инженерном училище: строевая, штыковой бой, минирование и разминирование, подрывное дело, подземно-минное, дорожное, топография, фортификация, возведение переправ, противохимическая защита... В училище до войны обучалось 1.000 курсантов, теперь набрали 8.000, и вся эта масса находилась в движении от зари до зари.

В столовой — сером, приземистом, широко растянутом здании, в центре среди красных пятиэтажных казарм — беспрерывным потоком проходили курсантские роты. В зале, на версту уставленном столами, было гулко, чадно, пахло капустными щами, солдатским потом; дневальные кроили ножами буханки теплого черного хлеба, только что привезенного из пекарни. На обед, кроме добротных, наваристых щей, дали овсяную кашу и потому, когда старшина, распаренный, в капельках пота, построил роту и спросил:

— Споем?

Ему из рядов со смешком ответили:

— Кони сытые!

— Давай «кони сытые», — согласился старшина.

Качнулась ротная колонна, топнула сотней тяжелых сапог и с первым шагом взлетел над стрижеными головами гибкий, сильный голос запевалы:

Ехали казаки — да — шляхом каменистым,
В стремени привстал передовой...

Песня кавалерийская, но поют ее все — танкисты, артиллеристы, саперы. Потому ли, что война

только началась и композиторы не наготовили песен, потому ли, что она хороша, эта песня, и под ногу, в походном строю.

... и поэскадронно бойцы-кавалеристы,
Натянув поводья, вылетают в бой.

— Ать, два! Ать, два! — подсчитал ногу старшина и, обернувшись на-ходу к роте, выкатывая глаза, весело крикнул: — Бей копытами! Дай ножку! Не жалей подметок — новые поставлю!

Любит русский человек песню. Преображается, покоренный ладом песни. На строевых занятиях командир роты ругался: «Так только вошь по мокрому месту ползает, как вы в строю ходите». А вот с песней... любо как хорошо итти с песней, нести тело прямо и легко, чувствовать упругость в мышцах, ждать, пока не смолкнет запевала, пропустить два шага — ать, два, по счету — и на третий, под левую ногу, всей ротой в одну глотку ахнуть:

В бой за Родину, в бой за Сталина!
Боевая честь нам дорога.
Кони сытые бьют копытами,
Встретим мы по-сталински врага!

Возле казармы, на усыпанной песком дорожке, поджидало роту начальство. Худой и морщинистый, невысокого роста, со шпалами — продолговатыми прямоугольниками — в петличках, был капитан Голодов, командир роты. Другой, бритоголовый и скуластый, с татарским выражением лица, носил тоже шпалы, но большие красные звезды, нашитые на рукавах, обозначали, что он из политработников.

— Смирно! Равнение на середину! — скомандовал старшина и, подбежав к начальству, доложил, что рота вернулась с обеда.

— Благодарю за песню, товарищи курсанты! — козырнул капитан.

— Служим Советскому Союзу! — прокричала рота.

Капитан прошелся вдоль шеренги, стал в конце и посмотрел, как выравнена, крикнул:

— Эй, кто там на фланге... Юхнов... как стоите? Живот на полметра выпер...

и вдруг, сам вытянувшись в жилу, пропел:

— Ро-ота, слу-ушай мою кома-анду!

Курсанты замерли. Вопрошающая растерянность застыла на лицах с приподнятыми бровями. Что случилось? Куда поведет нас командир роты? Почему у входа в учебный корпус, на широких гранитных ступенях, стоит, поблескивая стеклышками пенснэ, начальник училища Варваркин, окруженный преподавателями — полковниками, майорами? Почему, несмотря на обеденный час, на плацу выстраиваются батальоны?

Наша рота растаяла в разливе стриженых голов, зеленых гимнастерок, колыхавшихся на большом и крепко утрамбованном учебном плацу, посередине которого торчал гладкий отполированный столб, опротивевший нам, курсантам из «стариков», потому что на него заставляли взбираться. Прочие гимнастические орудия — турник, кобылы, брусья — были сдвинуты к забору.

— Сми-и-ир-но!

— ... слушай приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР. Москва, 16 июля 1941 года...

Нетерпеливое волнение пружинилось в недвижных рядах. Полковник Варваркин, сменив пенснэ на очки в роговой оправе, шелестел листами рисовой бумаги и кидал в беззвучно дребезжавшую тишину:

— ... за измену Родине...

Измена! Вот уже три недели, почти с первого дня войны, вилось холодной змеей это слово, ползло по

Москве из уха в ухо, от квартиры к квартире. Передавали, что в партийных кругах открыто заявляли об измене военного командования, генералитета Красной армии.

— ... генерала армии, Павлова Дмитрия, командующего Западным фронтом, от занимаемой должности отстранить и предать суду Военного трибунала.

Полковник Варваркин кинул взгляд из-под очков на частокол зеленых гимнастерок и синих штанов. Красные загорелые лица не тронуло никаким ветерком. Дочитав приказ, кончавшийся подписью Сталина, он сложил листки вчетверо и передал стоявшему рядом низенькому человечку с красными звездочками на рукавах и ромбами в петличках.

— Кто такой? — толкнул меня локтем Юхнов.

— Бригадный комиссар, военком училища.

— Опять комиссары?

— А ты не читал газет? Приказ о расстреле Павлова от 16 июля. От 16 июля и Указ о введении комиссаров в армии.

— Разгово-оры! — пролетел над головами зычный голос командира роты.

Капитан, забегая вперед, остановил роту перед казармой. Бритоголовый, шедший позади, приблизился, стал перед строем. Широко расставил ноги и сдвинул — не по военному — на затылок фуражку.

— Товарищи курсанты! Некоторые из вас, коммунисты, меня уже знают, виделись вчера на партийном собрании. Фамилия моя — Никонов, звание — старший политрук. Назначен я в ваш батальон комиссаром.

Солнце напекало стриженые головы, жгло спины, обтянутые выцветшими, побелевшими от пота и стирки гимнастерками. На желтый крупный речной песок, раскиданный перед казармой, было больно смотреть. Рота переминалась с ноги на ногу и думала: надолго ли он затянул волынку? До конца обеденного пе-

рерыва оставалось минут пятнадцать-двадцать. Каждый рассчитывал на них по-своему. Меня беспокоила судьба крестовой сестры Даши: вместе с группой студентов Московского университета она уехала на оборонительные работы в район Ржева-Старицы, хотелось написать ей письмо, туда навертывались попутчики. Иной налаживался сбегать в ларек, открывавшийся только в полдень, купить саек и колбасы. Третий собирался призаняться хозяйственными делами: пришить к гимнастерке свежий подворотничек, выстирать носовые платочки. Наконец, просто, без всякого дела, выкурить, не спеша, папиросу, посидеть, привалившись к стенке, на подоконнике, поговорить с товарищами или, напротив, помолчать, привести в порядок кое-какие свои мысли.

— Надеюсь, товарищи курсанты... — комиссар повысил голос, заметив движение и смешки в рядах, — надеюсь, что ваша рота, сформированная из высококвалифицированной передовой советской интеллигенции, завоюет первенство в учебе и даст Красной армии командиров, которые сумеют, как поете вы в вашей славной песне, встретить врага по-сталински.

Обеденный перерыв кончался. Письма не написать, в ларек не сбегать, платочки не выстирать. И Юхнову — не итти на штыковые упражнения. Тучный, гололобый, он медленно подымался по лестнице. Вступив на площадку четвертого этажа, остановился перед листом фанеры, по верхней кромке которого текли полукругом маслянисто-красные буквы: «ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО».

Напечатанная дубовым шрифтом на две колонки, сводка чернела, будто извещение о чьей то смерти. Курсанты теснились, впивались в строчки. На фронтах происходило что то страшное и непонятное. Бешено крутящееся черное облако, опустившееся на русскую землю, поглотило Минск, обволакивало Смоленск, не-

слось к Москве. Прочитав сводку, курсанты расходились молча.

— Пустошка... Где это? Ты не знаешь? — спросил Юхнов, встретив меня на лестничной площадке.

— Знаю. Был там. Пограничный городок, сразу же за Великими Луками. Пойдем, покажу на карте.

На стене в коридоре висела школьная географическая карта. Только крупные города были обозначены на ней, но непременно находился кто-нибудь, кто знал, где расположена, Бог весть, какая-то Пятихатка, занятая немцами вчера, или Пустошка, оставленная нашими войсками сегодня, и приблизительно ставил карандашем точку на зеленых российских просторах.

— Нет худа без добра, — сказал я Юхнову. — Немцы, кажется, выучат нас географии. До вчерашнего дня я и слыхом не слыхивал про Пятихатку, а ведь чудное место, думаю. Пшеничные степи, мазанки и тополя под луною, в садах висят сережками черные наливные черешни... Или Пустошка... что ты знал о ней? А какие там поля... голубые, когда лен цветет! Озеро прозрачное, и отражается в нем белая колокольня, коровы, что стоят на берегу, бабы хлопают вальками...

— Выучим географию, выучим... — перекосился в усмешке Юхнов. — Да и учить то уж, смотри, немного остается. Полкарты — выучили!

— Хватит еще! Ямал, Таймыр... землишки у Расеи много.

Мы отшатнулись от карты. Позади стоял молоденький — из студентов — курсант Шурка Яковлев.

— Уйдем вот сюда, — провел он рукой по верху карты, в голубых черточках, обозначавших тундру, — уйдем и образуем Таймырскую Советскую Социалистическую Республику.

— Ты что, спросонья брешешь? — расхохотался Юхнов и посмотрел в упор немигающими, маленькими,

как картечины, глазками на белое, по-мальчишески светловолосое шуркино лицо.

Шурка круто повернулся и пошел к своей койке. Не разжимая зубов, запел:

Ко-они сытые бьют копытами,
Встретим мы по-сталински врага-а...

«... Теперь мы в Яропольце — как ехать от Москвы, 14 километров за Волоколамском. Тянем вдоль Ламы колючую проволоку, копаем рвы. Лама узкая, но глубокая: говорят, что танкам вброд ее не перейти. Хоть бы тут его остановили, не дали бы переправиться! А то что-же, у Старицы мы работали, работали, какие там у Волги берега крутые, мы еще эскарпов понарыли, а оказалось — без пользы! Оборону построили, а войска прошли мимо, не заняли. Так наша работа и осталась немцу.

Возле Микулина Городища мы сами чуть в плен не попали, еле выскочили. Валю Лукьянову — помнишь, такая беленькая, с сережками, она была у нас дома раз или два, ну, ты ее помнишь, она тоже с исторического факультета, только двумя курсами ниже меня — так вот, ее там убило. При дороге канава, мы обе упали — услышали, что летят. Народ разбежался по лесу, но немцы, конечно, заметили, потому что летают низко. Как начали строчить, как начали... вдоль и поперек поливали! Когда стихло, подняла голову — вижу, она лежит мертвая. Крови от нее и под меня натекло, да я от страха не почувствовала. Лены Мироновой, Тани Усачевой тоже нет в нашей бригаде, но про этих я определенно не знаю. Говорят, убиты, а кто-то видел, что сели на попутный грузовик и в Москву уехали... в общем, пропали без вести.

На Ламе народу тьма-тьмущая, мы, москвички, тут как капля в море. Войска отступают, гонят на восток

и мирных жителей. Поджигают деревни, пускают палы на полях, чтобы немцу ничего не оставалось, голая пустыня. На дорогах, видел бы ты, что творится! Военные обозы, телеги с домашним добром — узлами, ребятишками, конная артиллерия, гурты скота... — орут, ругаются, теснятся. На обочинах валяются ободранные кожи, воняют кишки. Хочешь корову — бери, режь корову, бери овцу. Вот сейчас — я пишу тебе на обеденном перерыве — баба-повариха варит нам целую ушу. Вытащили котел из бани, поставили на кирпичи возле забора — навалили мяса, залили водой. Баба мешает деревянной лопатой в котле. Варево на всю бригаду! Не подумай, пожалуйста, что я вру или хвастаюсь: обтерпелась я в этой жизни, привыкла. На рвах с лопатой тяжело, конечно, руки в кровавых мозолях, ноги тоже избила до крови, потому что сандальеты, которые ты мне подарил на рождение, — ведь я только в них и уехала из Москвы, — истрепались, и на ногах у меня деревянные колодки. На работу нас подымают в пять утра и под солнцем, под дождем до вечера. Ночуем мы, правда, в старинном барском доме — усадьбе Гончаровых, до войны тут был детский дом отдыха имени Павлика Морозова, но какое-же спанье на захарканном, заплеванном полу, среди мешков, чайников, тысячи чужих рук, ног, бабьих криков, плача ребятишек, вшей... И все-таки, не в этом мои мучения... Что же дальше то будет, вот вопрос.

... Допишу ли я это письмо когда-нибудь? После обеда приключилось несчастье: стала я затесывать кол и промахнулась, ударила топором по ноге. Хорошо еще, что по мосту через Ламу ехала машина-санитарка: остановили — залили рану иодом, забинтовали. Не пугайся, рана неглубокая. Но копать землю, нажимать ногой на лопату пока что не могу. Нашли мне другую работу. Тут есть старик, который направляет для бригады пилы, топоры. Приставили меня к нему

в помощницы — крутить точило. Этот старик, плотник Андрей Куприянов, из села Усвятье, Смоленской области, отступает от самой Литвы, от Кальварии, он еще в сороковом году был мобилизован туда на постройку оборонительного рубежа. Конечно, я и его спросила: что же, дескать, дальше то будет? «Теперь, — отвечает, — надвое удача — помереть России или просиять. А что будет, того никто не знает».

... Письмо было написано на жесткой бумаге, выдранной из старинной конторской книги. Даша писала его урывками: химический фиолетовый карандаш сменялся черным, потом шли строки, написанные зелеными чернилами. И оно не было кончено — обрывалось на словах плотника. В Яропольце с Дашей приключилось другое несчастье, похуже. Она попала под бомбежку, на нее обвалилась стена и крохотный осколок повредил ей глаз. Теперь она лежала в Москве, в Фурманном переулке, в глазной лечебнице у знаменитого Авербаха. В училище, в связи с обострившимся положением под Москвой, отпуска запретили: мне никак не удавалось повидать Дашу. Только хмурым октябрьским утром привезли мне в Болшево этот обрывок давно начатого и, как всегда, интересного дашиного письма.

Наша рота в тот день несла наряд по училищу. Казармы, стрелковые тиры, спортивные площадки, интендантские склады, мастерские, водокачка располагались на большом пространстве, обнесенном проволочными заборами. В проволоке для удобства взводов, направлявшихся в разные стороны на учения, были устроены калитки. Возле калиток расставляли часовых. Пост малозаметный, легкий: комендант училища, черный худой грузин, тут не появлялся, можно было даже сидеть на чурбаке под старой облетевшей липой.

«Теперь надвое удача — помереть России или просиять»... Держа винтовку с примкнутым штыком меж-

ду колен, я читал и перечитывал письмо Даши. Даша писала в конце июля, но вот кончились желтенькие, проникнутые осенним тленьем сентябрьские дни, а вести с фронта шли одна другой хуже. 19 сентября пал Киев. Пала Вязьма. Пали Брянск, Орел. В июле и августе поражения объясняли изменой генералитета: вслед за приказом о Павлове были объявлены приказы об изменниках-генералах Качалине, Понеделине. Но не выправлялось дело и от того, что вновь назначили политических комиссаров. Комиссары были упразднены год назад — после финской кампании. Война в Финляндии была неудачна: вся страна чувствовала, что ценою непомерных жертв были достигнуты ничтожные результаты. Тогда генералитет заявил: виноваты комиссары! Комиссары ослабляют авторитет командиров, расшатывают дисциплину, понижают боеспособность частей... — отменить их! И — отменили. Теперь Красная армия опять терпела поражения и комиссары подняли головы: генералы — изменники! Командиры аполитичны, порой, враждебны, над ними нужен глаз и глаз, нужны представители партии в воинских частях... — ввести комиссаров! И — ввели. А Красная армия продолжала откатываться к востоку. Все яснее и яснее становилось, что ни генералы, ни комиссары не могут влиять на события — какая то иная сила распахнула ворота России перед врагами.

На рвах вокруг Москвы появились миллионы, действительно, тьмы-тьмущие деревенских баб, девок, ребятишек. Они валом-валили из-под Вязьмы и Брянска, на подступах Москвы их останавливали, собирали в батальоны по три тысячи человек и «организованным порядком» вели на оборонительные работы. Девки с лопатами на плечах притопывали по холодной грязи босыми красными ногами, кидались, проходя огородами, на бураки, капусту и — бессмысленные — пели припевочки веселыми пронзительными голосами. Мил-

лионная эта армия не оставила нетронутого места в лесах и полях Подмосковья. От Болшева к Подлипкам и дальше по окраинам столицы тянулись зигзагами противотанковые рвы, торчали ежи (крест-на-крест скованные рельсы) и надолбы (цементные столбы, врытые в землю с наклоном на противника).

По плану обороны города Москвы, на северо-западном секторе за боевые действия отвечал начальник нашего училища полковник Варваркин. Обладая крупными военно-инженерными силами, он решил построить Болшевский узел обороны. Потому вокруг училища копали больше, чем в других местах. Полковник затребовал на работы целую бабью дивизию. В соседней деревне Максимковой, на ближней ткацкой фабрике, на усадьбе овощного совхоза все было усыпано людьми. Бабы захватили пустые, брошенные хозяевами дачи, мастерили землянки в лесу. Землянки прыщами вспухали под соснами: спали там вповалку, в духоте, пар валил из деревянных труб, торчавших над песчаными буграми, присыпанными желтой хвоей и прелой травой.

Неподалеку от калитки, которую я охранял, строили огневые точки. Тут был конец деревни: лохмотились старой соломой гумна, чернели бани. Хитрость военная подсказала: укрыть в банях ДЗОТ'ы, дерево-земляные огневые точки. Делалось это просто: внутри рыли котлован, укрепляли его и перекрывали накатом, устраивали амбразуры и оборудовали стол для пулемета или противотанкового ружья. Извилистыми ломаными линиями тянулись от строеньица к строеньицу узкие и глубокие ходы сообщения. В траншеях виднелись головы, повязанные белыми, розовыми, синими платочками, взлетала наверх земля, мелькали лопаты. На рыхлом песчаном валу стоял круглый, невероятно раздавшийся в ширину полковник-преподаватель по фортификации. Поддерживая растопы-

ренной ладонью лист синей бумаги, он объяснял лейтенанту Заваруеву замысел, по которому строился этот сектор оборонительного узла.

— Качества, товарищ лейтенант, качества работы не вижу, — говорил полковник, задыхаясь от астмы и поминутно хватаясь за грудь. — Ну, посмотрите, что эта дура делает? — кинулся он, проваливаясь в песке, к девке, которая выбрасывала землю из круглой стрелковой ячейки. — Куда ты ее роешь, такую широкую?

— А я почем знаю, — подняла девка лицо на полковника. — Уже нельзя, с лопатой не повернешься, неудобно.

— Зато минам залетать будет удобно! — прохрипел, свистя легкими, полковник. — Имейте в виду, лейтенант, вы отвечаете. Где ваши курсанты, инструкторы?

Проводив полковника, лейтенант вернулся к девке. Она была невеличка ростом, чернява, в голубеньком платочке. Должно быть, приглянулась лейтенанту, напомнила другую осень — в Рамушках, где так же на отлете стояли гумна и бани, бабы трепали по осени лен, а мужики колотили рожь цепами. Он рос рыжим озорным мальчишкой, ему всегда нравилась дружеская и насмешливая, полная бесстыдных намеков, перебранка молотильщиков с трепальщицами.

— Ты что же мне копаешь... шире маминой? — сказал он девке, легко входя в тон шутливого разговора. — Разве я не показывал тебе, как надо? Узкая то дырка, она завсегда лучше. А у тебя она... разработанная!

— Проваливай, проваливай с такими разговорчиками! — бойко ответила девка, глядя на него снизу карими веселыми глазами. — Твой политрук идет, а ты и не видишь... Иди, встречай!

По тропинке вдоль проволочного забора шагал, широко расставляя ноги, комиссар батальона Нико-

нов. Поддерживая рукой висевшую на поясе кожаную полевую сумку, лейтенант подбежал к комиссару и, остановившись, вскинул ладонь ребром к широкому черному козырьку фуражки.

— Прикажете посадить людей на политбеседу, товарищ старший политрук?

— Беседа, беседа! — певуче и звонко закричали девки и, мелькая голыми ногами, начали выскакивать из темных щелей, вырытых в земле. Весело и как попало они расселись на свежеотесанных бревнах, подвезенных к бане, на истоптанной траве, усеянной белыми щепками. Девка-чернавочка и ее подруга, видать, из одной деревни, сели прямо на песке, мягком и холодном, свесив в траншею слегка раздвинутые босые ноги. Они переговаривались негромкими, однако, быстрыми и бойкими голосами, чему то смеялись, поминутно взглядывая то на комиссара, то на лейтенанта, который, напустив на себя строгости, стоял, как стальной, у темной, с подгнившими углами, бани.

Комиссар снял фуражку, положил ее на край бревна, блестевшего капельками смолы на свежем срезе, и тоже выпрямился — бритоголовый, на раздвинутых ногах, ухватившись обеими руками за широкий поясной ремень, на котором светилась натертая мелом пятиконечная звезда.

— Товарищи! В историческом выступлении от третьего июля великий и любимый вождь народа товарищ Сталин отмечает...

Девка-чернавочка, приклонив голову, развязывала зубами узел, затянувшийся на голубом платочке. Непокрытые, расчесанные на прямой пробор, гладкие волосы ее отливали синевой.

Я девчонка-сиротинка,
Сиротее меня нет...

запела она вполголоса, держа за концы платок и перекрывая им круглую, небольшую голову.

— Тише, ты! Услышут... — толкнула ее в плечо подруга, белесая и толстая, с округлыми плечами девка.

— Ну, и пусть! Чисто Афонюшка с Большой мельницы: «Таварышши холхозники, атмичаю...» Вот намаялись мы, как он бригадиром у нас на колхозе стал. Чуть что, штраф! Лушке Егоровой полтрудодня из книжки вымарал, так она... как цапнет его за бороду! Пиши, кричит, обратно, а то все бабе расскажу, как ты в амбар к Марфе Терехиной лазиишь...

— ...Товарищ Сталин далее говорит, что армия передовой, прогрессивной страны... — Закованный в броню цитат, комиссар был непроницаем. Он был глух и слеп — до тупости, идиотизма.

Беседа была окончена. Комиссар, довольный, постукивал по портсигару папиросой. Каждое утро он составлял план работы на день, — это вменялось в обязанность армейским политработникам, — и он чувствовал удовлетворение, что сегодня план осуществляется без пропусков. Доволен был и лейтенант: после обеда кончалось его дежурство, он собирался в Москву — отвезти в военно-портновскую мастерскую ордер, полученный на пошивку кителя.

— Обед! — крикнул лейтенант, и слегка смутился, столкнувшись с темными блестящими глазами девки-чернавочки. Подняв на плечо железную лопату, отшлифованную песком, она прошла мимо него по щепкам, колючей сухой траве. Лейтенант посмотрел ей вслед, на маленькие и круглые, в желтой глине, пятки. Девка, чувствуя на себе его взгляд, притопнула ногой и, смешиваясь в пестрой толпе, шедшей в деревню обедать, запела высоко и резко:

...Московские дамочки
...Не копайте ямочки.
...Ой-да эти ваши ямочки
...Не удержут таночки.

Шурка Яковлев спросил меня:

— Послушайте, вы, филолог... вы знаете, откуда пошло слово «шамать»?

— Вот уж чего не знаю, того не знаю, — сказал я, смиряясь перед шуркиной манерой задирать каждого человека. — Интересовался, смотрел у Даля, но там какое то чепуховое толкование. По Далю, «шамать» — «медленно итти».

— Слухайте сюда, филолог, — усмехнулся Шурка, принимая блатной тон. — Я этих ваших Далев — или как там, Далей — не читал. Зачем он не обратился ко мне, я бы ему выдал вполне компетентную справку. В двадцать четвертом году, когда я проделал в ящике под вагоном увлекательное путешествие Москва-Тифлис, я увидел, что моя чумазая братва целиком и полностью захватила улицы Теплого города. По Тифлису стон стоял: «Тетенька, дайте почамать», «Дяденька, чамать хотца». «Чамо» по грузински «кушать», «есть». Мы разнесли это слово по всей России. Отсюда и повелось: «шамать», «шамовка», «пойду подшамаю».

Так я узнал, что Шурка Яковлев был беспризорником. Воспитывался Шурка в детдоме № 1854. Несколько раз убегал — в поля, российские просторы. Ездил в «Ташкент, город хлебный», любил бывать в Тифлисе, по Волге спускался от Твери до Астрахани, но предпочтение отдавал Москве и Цветному бульвару. Маленький чертенок — в саже, угольной пыли — он плясал, взмахивая лохмотьями рукавов, на перронах вокзалов, на панелях городов, собирал копеечки и смотрел в публику блестящими глазами, выставлял,

смеясь, широкую, как у японца, сверкающую клетку зубов.

Вечером 5 октября 1941 года, после ужина, мы лежали на кроватях и потихоньку разговаривали. Шурка Яковлев рассказывал мне свою жизнь: про Болшевскую исправительно-трудовую коммуну, где шуркиным воспитателем был знаменитый педагог Макаренко, потом про метрострой, наконец, про институт коммунального хозяйства, где Шурка учился на инженера.

— На поверку ста-ановись! — послышалась в темноте команда.

По коридору затопали сапогами, заскрипели кровати, захлопали двери. Шурка не сдвинулся с места.

Вспыхивая фонариком, старшина поторапливал:

— Пошевеливайся, пошевеливайся! На одной ноге мне!

Шурка изматерился и встал с кровати. Старшина был из старослужащих бойцов, прошедших полковую школу. Он давно втянулся в казарменную жизнь и не позволял курсантам отступать от ее внутренних законов, от точного размеренного уклада. Каждый вечер песле переклички он осматривал, начищены ли у курсантов сапоги.

— Опять со старшиной лаяться, — вздохнул Шурка.

Поверка кончилась быстро: старшина вызубрил наизусть список роты. Присвечивая фонариком, он прошел вдоль шеренги. Тоненький лучик, направленный книзу, переходил с сапога на сапог и, наткнувшись на грязные, в комках глины, тупорылые носки, остановился. От сапог лучик взметнулся кверху — осветилось белобровое, припухлое лицо.

— Так я и думал — Яковлев, — сказал старшина. —А, ну-ка! Щетку в руку, сапоги в зубы... Полторы минуты — рота ждет. Быстро у меня, на одной ноге!

Шурка шагнул из шеренги, сделал крепкий, в два приема, поворот налево и вдруг, поджав по-птичьи ногу, подхватив ее правой рукой, запрыгал к двери.

— Яковлев... — опешил старшина. — Что это вы?

— Выполняю ваше приказание, товарищ старшина. Вы велели — на одной ноге!

Потух фонарик. У старшины опустились руки — он растерялся, не находил ответа. Темноту разодрало взрывом хохота. В грохочущий, неуемный стоголосый хохот врезался вдруг раздирающе-пронзительный вопль сирены. Два раза — резко, коротко и третий — нескончаемый, потухающий и снова вздымаемый рев. Бомбят? Нет, сирена кричала бы по-другому, дала бы место словам: «Граждане, воздушная тревога».

— Боевая тревога! — рявкнул старшина, и мы кинулись к пирамиде хватать винтовки.

Прибежал капитан Голодов, сухой и легкий, с гранатой-лимонкой у пояса и тощим рюкзаком за спиною. Блеснули в свете фонарика золоченые пуговицы на двубортной, ловко пригнанной шинели лейтенанта Заваруева. Забренчала, стукнувшись о дверь, каска — оказалось, комиссар запасся каской, привязал ее к поясу.

На дворе перед казармой стояли грузовики, клокотали моторы. Шоферы сидели в кабинках, положив на рули огромные руки в черных перчатках с раструбами. Они торопили посадку. Лейтенант пересчитал наш взвод и, не сходя с подножки, держась за приоткрытую дверь кабинки, крикнул:

— Товарищ капитан, готово!

— Трогай!

Под ногой шофера хрустнула педаль. Машину рвануло. Ветер запел в ушах. В холодном сумраке октябрьской ночи покатились вспять леса Болшева, дома, раскиданные по обочинам раскатанного Ярослав-

ского шоссе, павильоны сельско-хозяйственной выставки, деревянные бараки студенческого городка.

Куда нас везли? На какое дело? Шофер прибавил газу в поршни. Хлестнул с удвоенной силой ветер. От Первой Мещанской повернули к Садовому кольцу, потом опять поворот направо — по Тверской к Белорусскому вокзалу, на Волоколамское шоссе. Город снизился, потерялся во мгле. По сторонам дороги заструились темные осенние поля.

На фронт, на Волоколамское направление... Молчал нахохлившийся Юхнов. Пел на ветер и сплевывал за борт машины Шурка Яковлев. В кабинке смеялся лейтенант, которому шофер рассказывал какое то фронтовое приключение. В другой, катившейся следом, машине комиссар Никонов раскуривал трубку; через стекло при вспышках виднелось его озабоченное, нахмуренное лицо. О чем думали все эти люди? Что их теперь объединяло? И что разъединяло? Что лежало у них на сердце? Жадное головокружительное волнение охватило меня: вот-вот, через минуту или через час, мы врежемся в дымное, черное облако, которое торжествующе, яростно бушевало на русской земле.

Ни дымного, крутящегося облака, ни клубящихся черных валов... Был день, как день: бледно-голубой, ясный. Над полями, оголенными осенью, подымалось почти летнее солнце. В светлом и свежем пару блестела узкая и глубокая Лама, загибавшаяся пологой, похожей на коромысло дугой. На одном конце коромысла виднелись железные крыши Яропольца, белый, вымазанный мелом дом — усадьба Н. И. Гончаровой, матери жены Пушкина; на другом — темная бедная деревенька Юркина.

Юркина лежала в стороне от большой дороги. На старом щелеватом мосту, заминированном и отданном

мне под охрану, было пустынно. Деревянный настил покрывала еще неистоптанная, не исполосованная колесами серебристая изморозь. Под солнцем мост начинал дымиться. Дымились крыши, пашни, затянутые шелковистой паутиной. В парении этом отстаивалась тишина.

На кончик перил сел воробей. Негромким чириканьем он приветствовал начинающийся день, полный блеска, тишины и мира. Крылышки его, за ночь обмерзшие, отогревались, топорщились. Воробей клюнул снежинку, еще нерастаявшую, и, удивленно подняв головку, наколол на взгляд человека, остановившегося перед ним на мосту.

— Кыш-ш! — нелепо взмахнул человек и пошатнулся, оперся рукой о перила.

Воробей порхнул, полетел вдоль реки к Ярополь-цу, к новому широкому мосту на Волоколамском шоссе. Там беспрерывно ползли обозы, двигалась в гуще машин конная артиллерия, там воробей мог найти не снежинку, а и посущественнее — просыпанный овес, катышки навоза. Человек посмотрел вслед воробью стеклянно-голубыми глазами. Неожиданно увидев меня, — я шел по мосту навстречу, — он обрадовался и размашисто заговорил:

— Птаха! Прыгает, летает... и нету ей никакой войны. Бывает у воробьев война... к примеру, с другими птицами? Какая будет твоя суждение?

В распоясанной мятой шинели, без шапки, он стоял, привалившись спиной к перекладине. На жесткой от солнца и пыли голове курчавились короткие белые волосы. На широком, в отметинах оспы, лице завивалась бессмысленная, как воробьиная радость, улыбка.

— Ты то откуда-же прилетел? — спросил я. — Откуда ты здесь взялся?

— Я-то? Я-то, видишь, из Лотошина иду, — отор-

вал он руку от перил и показал на стоявший у его ног на большой, белой жести, подойник, повязанный поверху домотканным полотенцем с кружевами. — Тут у меня, видишь, спирт. Может, выпьешь? В Лотошине, при заводе, вчерась три цистерны выпустили... море целая! Да и подожгли... дыму, дыму! Прямо естественная-искусственная препятствие... через такой дым немцу нипочем не пройти.

— Ты скажи, где он теперь, немец-то? В Лотошине, что-ли? Ведь это отсюда, что же, километров двадцать-тридцать, не больше.

— Какое там, в Лотошине! Лотошино он вчерась пропер. Теперь ему время тут быть. Идет где-нибудь вот за этой деревней. Ты... тово... посматривай!

— Как же ты сказал, что Лотошино нипочем не пройдет?

— Пройдет! Накажи меня Бог, пройдет! — радостно побожился кудрявый парень. — Ты не думай, я его знаю, немца... Я четвертый день от города Белого шпарю. Как хватил он нас танками, как хватил... может, ото всего полка только я остался. Ох, и бьет!

Пятнистое, рябое лицо Кудрявого пылало от восторга. Исконная страсть: восхищение тем, «чья берет», горела в его русской крови.

— Не выпьешь спирту-то? Не неволю. Твое дело — часовой, на посту не полагается. Да и налить тебе не во что, баклажки у тебя на поясе не вижу. А спирт-от, куда твой первак, такая произведение! Ну, стой тут... того, говорю, посматривай!

Кудрявый поднял подойник, в котором плескался спирт, подмачивая полотенце, и, кренясь, помахивая правой свободной рукой, пошел с моста, нетвердо побрел по луговой дороге. Куда? Вряд-ли он знал — куда.

Куда брели вот эти шестеро, что подошли к мосту? Широкоскулые лица их были усталые и покрыты

пылью. Шестой шел спотыкаясь, свалив на бок голову, забинтованную грязной, коричневой от сукровицы марлей. Передний — длинный и худой, черноголовый — тяжело крякнув, сбросил с плеча вещевую сумку, из которой торчала кость лилового, с запекшейся кровью, бараньего стегна.

— Тут, что-ли, на бережку и сварим?

— Давай тут, — ответил боец, которого они, должно быть, признавали за старшего. Он огляделся по сторонам, задерживаясь молчаливым взглядом иа мне, на тычках, стоявших у моста по сторонам дороги, к которым были приколочены фанерные дощечки: «Мины». — Разводи, ребята, огонь. Вон там, за минной полосой.

Бойцы, тяжело двигая ногами, пошли собирать хворост и шишки для костра. Они негромко переговаривались:

— А говорили... заградительные отряды на Ламе стоят.

— Какого чорта! Фронт-от на три тысячи километров, разве загородишь?

— Курсантов, будто-бы, из Москвы нагнали.

— Вчера машина ехала, фронтовую газету раздавала. Написано: «Привет сталинским юнкерам — защитникам столицы».

— Петлички у них, у дьяволов, форсистые... с золотой обшивкой, — кивнул на меня боец, сидя на корточках и собирая хворостинки, щепочки в полу шинели. — Буквы какие-то. Ты не разглядел?

— МВИУ. Московское Военно-Инженерное Училище.

— Положат под Москвой народишку. До последнего будут биться.

— Кого уж и класть то осталось? И так все пашни, как снопами в урожайный год, мертвяками усыпаны.

— Нешто ево удержут! Ведь такая сила... так и садит, так и садит!

Игривый ветерок взрывал соломенные крыши гумен, пестрил темную и глубокую Ламу, раздувал костер, разложенный бойцами в нескольких саженях от моста, сразу же за минной полосою, обставленной тычками. Бойцы разломали пустой сосновый ящик из-под тола. Сухие смолистые доски весело трещали, языки огня лохматились, как вихры на голове нашего лейтенанта.

— Берег-от подкопали, воды не почерпнуть, — сказал боец, старший шестерки, подходя с котелком к реке.

Берега Ламы были срезаны почти отвесно — противотанковые эскарпы, о которых когда-то писала мне Даша. Желто-белая глина блестела срезами, между пластами сочились и сверкали под солнцем тонкие струйки воды.

Боец вышел на мост, навалился грудью на перила, нацеливаясь, как бы спуститься, зачерпнуть котелком воды. Видать, он все лето провел в походах: шелушившееся от загара и грязи лицо его обросло мягкой русой бородкой, в подглазьях и на широком носу лежал слой пыли.

— Эй, Борода, ничего у тебя так не выйдет, — крикнул ему товарищ, резавший кривой блестящей финкой мясо. — Вон у часового веревка на поясе — возьми привяжи котелок, тогда и достанешь.

— Какая такая веревка? — переспросил Борода и с удивлением посмотрел на меня.

На поясе у меня болтался крученый трассировочный шнур. Позже мы, как и все бойцы на фронте, повыбрасывали из брезентовых сумок противогазы, как бесполезный груз, но первое время по прибытии под Волоколамск я еще таскал шнур, про который заранее было известно, что он нигде и никогда не приме-

няется. Шнур был записан за мною, а лейтенант Заваруев каждый день проверял у нас наличие и исправность инструмента.

Борода вытащил котелок и, складывая шнур, кивнул на эскарп с усмешкой:

— Никчемная ваша саперная работа. Только баб понапрасну мают. Разве немца этим остановить?

— Чем же его остановить?

— Да уж не ямочками, во всяком разе...

Борода глянул на меня глубоко запавшими, выцветшими на ветру и солнце глазами — в них появился холодный, упрямый блеск. «Не простой боец», — метнуло мне в голову, и я невольно посмотрел ему на воротник. В те дни многие командиры срывали с себя знаки различия: металлические квадратики с петличек, красные треугольнички с рукавов. Иногда их можно было узнать по дырочкам, остававшимся от винтиков на воротнике шинели. Борода был хитрее: он бросил и шинель, подхватил ватную стеганую бойцовскую телогрейку.

— Ну, чем? — повторил я выжидая.

Борода приподнял остро сломаную белесую бровь и усмехнулся:

— Чем, чем... Да я-то почем знаю, чем...

Взгляд его скользнул по желтоглинному откосу берега на темную, почти недвижную, слегка тронутую рябью, воду.

— У тебя под мостом, наверно, пуда два толу подвязано, — перевел он разговор. — Давай достанем одну шашку, ахнем... вон там, чувствуется, яма. Мигом бы уху сварганили!

— Воду тащи! — крикнул от костра боец, перед которым лежала горка мелко нарезанного мяса. — О чем ты там балясы точишь?

— Да вот тут обсуждаем... рыбки поглушить, —

отозвался Борода. — Товарищ курсант нам пару толовых шашек из-под моста достанет.

— А-а-ах! — весело крикнул боец и, воткнув в доску тонкое жало финки, поднялся на ноги. На тонкой шее у него легко поворачивалась маленькая, коротко-стриженая черная голова. — Рыбки поел-ба! Вода хоть холоднючая, а доставать полезу. Вывернули-бы из ямины соменка...

— Разболакайся, отогреем! — поддержал Черного боец, сваливший у костра охапку хвороста. — У меня, кажись, еще есть в баклашке...

— Не выйдет у вас дело, — сказал я.

— Не даешь? — сдержанно улыбнулся Борода, и, перегнувшись через перила, посмотрел вниз, где гроздьями висели подвязанные к основам желтые, как куски мыла, толовые бруски.

— Хватит, хватит... — повел я рукою. — Давай, дорогой товарищ, отсюда.

— Не дает, ребята! — подмигнул Борода.

— Ну, и чорт с ним! — выкрикнул Черный и снова присел на корточки к мясу. — Отступись! Все одно, кто ее доставать полезет, эту рыбу!

Берясь за котелок, Борода недружелюбно бросил:

— Не обломало тебя еще на фронте. Ну, стой тут, стой... карауль свои ямочки!

На рогатку, воткнутую у костра, была положена жердина. Борода повесил на конец жердины котелок и носком сапога подтолкнул под донышко горевший хворост.

— Так, говоришь, смотался из госпиталя? — повернулся он к раненому, который сидел у придорожной канавы и разматывал, кособоча голову, грязную марлевую повязку.

— Смотался, — тихо ответил раненый сухими, запекшимися губами и тут же вскрикнул, пустил ма-

тюга, оторвав от раны ватную, мокрую от гноя и сукровицы, подушечку.

— Не из госпиталя, из санбата, — весело заговорил раненый, держа на коленях ком взбитой, как пена, марли. — В госпиталь меня не отправили бы, у меня рана легкая.

Борода подошел и, тронув растопыренными пальцами голову раненого, повернул ее, чтобы видеть рану.

— Повезло тебе, — засмеялся он. — Вскользь пошло. Шматок кожи да клок волос, вот и все твои убытки.

— Вот холера, другой раз от этих... от заградительных мне попадает! — горестно махнул рукой боец и скинул марлю под ноги в канаву. — Первый... в июле, ишо на Смоленской дороге. Тогда не ранили, а страху натерпелся хуже вчерашнего. При нем было, при Рокоссовским...

— Видел его? Какой он? — крикнул Черный, сидя на корточках у костра.

— Высокий, представительный... Тогда он ишо полковником был. Как сейчас помню... Выбил нас немец из районного центра. Отошли километра три-четыре, тут линия заготовлена, окопов бабы понарыли. Все в порядке, пьяных нет — на заранее подготовленные позиции. Просидели ночь — что за чорт, тихо! В чем дело? Не видим немца — не идет. Тревожно стало, сосет внутре. Кто то как заорет: «Окружают, робяты!» Посмотрел я туды-сюды, мотоциклетчиков, танков не слышно, а народ, скажи, как ошалелый, выскакивает из окопов, бежит по полю. «Лешка, держись меня!» — кричит мне корешок, Колька Лукьянов, города Щекина, Тульской области. Побежали. Дивизия целиком снялась. Может, взапрямь окружали, может и шли стороной какие-нибудь там ихние драконы, только я ничего не видел. Драпает Колька, шинель

на бегу раскрылатилась, мне за ним поспеть еле-еле. Хвать... передо мной морда конская, вся в пене. Наехал на меня, стоптал было, пеной измазал. Поднял я голову... развернулась по луговине кавалерия, встречь нашей пехоте-матушке. Лупят плетками, заворачивают назад в окопы. А в такой панике с народом разве совладать? Колька Лукьянов, ему кричат: «Стой, стой, не бегай»... кричи-не кричи, перепужался насмерть, бежит, запыхался. Нагнал его какой-то на коне, лицо окровянил, за малым глаз не высек. Я, правда, сразу остановился. Конь высокий, белоногий, а на коне... кавалерийские петлички синие, подковы золотые с саблями на перекрест, четыре шпалы... полковник. «Куды бежишь?» — кричит. — Отступают, говорю, из окружения отступают. — Ах, говорит, из окружения... да как хлестанет меня плеткой! Да в другой раз, да третий раз! И что ты скажешь, остановил дивизию! Недели две прошло: попалась мне фронтовая газета «Красноармейская правда», а там портрет: генерал-майор Рокоссовский. Он, он самый! По портрету признал. Он и лупил меня — вот лупил! Не поверишь, шинель под плеткой клочьями летела!

Про Рокоссовского в те дни говорили много. Бойцов на фронте поражало его молниеносное возвышение: в июле он был полковником, а в октябре генерал-лейтенантом, командующим крупнейшей на Западном фронте 16-й армии, теперь еще усиленной курсантскими частями. Мирные жители обожали его за то, что его войска находились на Волоколамском шоссе, самом опасном направлении. В 1937 году полковник Рокоссовский был арестован, просидел несколько лет в тюрьме без суда — без следствия. Выпустили из тюрьмы, когда уже началась война с немцами. Под Смоленском он сразу прославился. Конечно, знали, что где то в главной квартире Западного фронта сидит над оперативными картами Жуков, но фронтовым

генералом, любимцем народа, многозначительным символом был Рокоссовский.

— Ты, выходит, спец по драпу? — засмеялся Черный, сгребая ложкой грязную пену в закипавшем котелке. — Вчера опять на заградительный нарвался?

— Ну да... Лейтенантишко ихний, дурак дураком, за мной погнался, да и трахнул сзади одиночным выстрелом из автомата. Кровь увидал на мне, должно, сам перепужался до смерти, отступился. А я... перевязался в санбате и дальше драпаю.

— Не уйдешь далеко, — сказал Борода. — Теперь, братец ты мой, новый приказ: не одним отрядам из пограничников, но и всем строевым частям нести заградительную службу. Каждый полк обязан выставлять дозоры, задерживать всех... шатающихся. Приказано: не стесняться, применять оружие полной мерой.

— Всех не удержут, хоть какую меру применяй, — возразил раненый.

— Народ разве удержут? — поддержал боец, сидевший рядом. Он только что подошел к мосту и тоже присел перекусить: снял с плеча вместительную глубокую противогазную сумку, вытащил из нее кусок вареного мяса, несколько соленых огурцов, завернутых в газету. Вместе с ним шел старик, он разматывал на опорках веревки и раскладывал пятнистые портянки на траве. Было еще трое-четверо новых.

— Народ удержать нельзя, — повторил боец. — Он не сюда, так туда уйдет... на ту сторону! Ныриковто, их вона сколько развелось. Под волну ныряют!

— Под какую волну? — удивился Борода.

— Под такую. Меня тоже один подговаривал: давай, говорит, нырнем. Немец наступает, видишь, волнами. Не сегодня-завтра, говорит, закрутит нас на гребешках, ныряй со мною. Как наши будут отступать,

уйти и спрятаться в подвале, в погребе. Волна прокатится, затишье — вот и вылезай тогда.

— Да ведь тогда там будут немцы! — воскликнул Борода.

— Што-што немцы! Нырики с этим не считаются. Может, завтра и тут вот будут немцы, а послезавтра и в самой Москве.

Жаркое дыхание войны плавило ледяную корку, которая сковывала подмороженную страну. Морозна была зима — тем сильнее, неудержимее с гор потоки. Талые воды несло во все стороны. Хмель неожиданной свободы пьянил людей: брели куда попало, говорили, что ни взбредет.

— Тут и думать нечего... займет Москву. Как дважды-два-четыре, — согласился раненый.

— Сила ево. Так и садит, так и садит.

— Пол-Расеи отдали, боле и стоять не за чем... одна Москва.

— На-днях в нашей роте было, — сказал раненый. — Приходит батальонный комиссар, начинается политбеседа. Мы, объявляет, сегодня поговорим насчет славы... этого... русского штыка. Немец рукопашной, как огня, боится — не принимает, бежит. Отседова вывод — бить немца штыком. Бойцы после беседы, понятное дело, смеются: как я его ударю, если он меня с самолета бьет, не достану же я его штыком? Не-ет! Какие беседы ни проводи, а штыком технику не переборешь. Это уж ясно, как дважды-два-четыре.

— Постой-ка — проговорил старик и, ступая белыми сопревшими ногами по жесткой траве, подошел к раненому. — Дважды-два-четыре, это так, согласен. Только ответь мне, как жить таперича? Как она, твоя таблица умножения, показывает насчет дальнеющей жизни?

— А никак не показывает, — посмотрел раненый

на старика и улыбнулся простой ребяческой улыбкой. — Камень на шею да вон — под мост!

— Да ить мил человек! Ты под мост, я под мост... нас двое, а весь народ под мост не бросится.

— Остается одно... под немца!

— Дурак! — выплюнул старик и заговорил, хватаясь за клочковатую седую бороду и злобясь неизвестно на кого. — Дожили, мать ее так, до хорошей жизни... немцу готовы под ноги кинуться. Жить стало лучше, жить стало веселее — вот оно, веселися! Отцы наши и деды век свой Расею строили, а мы ее в двадцать пять лет просрали... Э-эх, серуны! Ты... рази ты понимаешь, что говоришь? Под немца! Да это хуже, сто раз хуже, чем под мост, вот в эту реку кинуться. Ить он придет... немец-то... тебя, как глухаря, придушит.

— А я уж был у него... у немца.

Все разом стихли, разговор обрезался.

На краю дороги сидел, опустив босые ноги в канаву, — здоровенный — грудастый, губастый — парень. Около него стояли ненадеванные, связанные шнурками, армейские ботинки с толстыми подошвами, лежал каравай хлеба. Парень отрывал кусок за куском и медленно жевал

— Был, говорю, у него, — сказал парень набитым ртом. — Говорили, что он расстреливает... и вот ты, отец, говоришь, придушит... одна брехня! Он только пашпорт требует — это верно.

— Паспорт? Что за паспорт? — подался в его сторону Борода.

Парень улыбнулся толстыми губами, занимавшими половину лица.

— Ну... пырку. Предъявите, говорит, естественный мужской документ, мы должны выяснить вашу нацию.

Раздался взрыв хохота.

— Вчерась... — ликуя, закричал Черный, — вчерась он листовки кидал: «Бей жида-политрука!»

— Ты что-же... предъявлял? — спросил Борода.

— Не-е... У меня физика такая... заместо пашпорта. Сразу видать, не из наших.

— Вышел-то от него как? Как перешел на эту сторону?

— А он не держит... Ежели пашпорт в порядке — иди, пожалуйста. Он всех пущает... Сегодня у нас что, вторник? Так я был у него в воскресенье вечером. Сидим этак вечером в избушке на краю деревни. Две пачки концентрату хозяйке дали, она нам кашу варит. На шестке под таганом щепа горит, а он вот и он... Подкатил к окошку на броневой машине, транспортере этом, и кричит: — Кто тут есть, выходи, покажи дорогу, как на Шаховское ехать. По-русски крикнул, да и с чистым выговором, ну, форму-то сразу видать, немецкая. Хозяйка перепугалась, кашу мешала, да-к затряслась и горшок опрокинула. Кореши мои к простенками прижались — думают, не заметит немец. А он, конешное дело, заметил и говорит: — А-а, говорит, тут солдаты русские, это, говорит, очень даже хорошо, они нас и выведут на Шаховскую дорогу. Делать нечего, выходим, сами не свои. В двух шагах от избы— баня, крапивой, лопухами заросла, тут, думаю, нам и лежать, в крапиве. Нет, приближается этак и сигаретки протягивает: — Курите? — говорит. — Угощайтесь!

— Сигаретки! — восхитился старик и злыми, остановившимися глазами посмотрел на парня.

— Взял я одну... не отравленная? — Бери, говорит, другую, чего сомневаешься. У нас этого добра много. — Ну, закурили. Спросили дорогу на Шаховское, поехали. — Иди, говорит, домой — война конченная. Иди и всем рассказывай — пусть не боятся немцев. Немцы зла не делают.

— Да он... шпие-ен! — схватился старик и кинулся к губатому парню с такой быстротой, что бороду раздуло ветром.

Вскочили сидевшие у костра.

— Вот тварь... — со злостью крикнул Борода и, подойдя к напуганному, опешившему парню, крепко сдавил ему плечо своей сухой, точно железной, клешнею. — Дай-ка я тебя пощупаю, кто ты такой есть?

— ... Ляти-ит! — завизжал парень и упал брюхом в канаву.

По дороге бежали, наклоняясь вперед, прохожие бойцы, прыгали через канаву, падали куда попало. Из-за лохматых, разметанных ветром крыш деревни вылетели, и, стуча пулеметами, пронеслись вдоль реки два легких серебристо-белых «мессера». Когда очнулись, подняли головы, губатого парня след простыл.

— Давайте, братки, от моста сматываться подальше, — сказал Борода. — Сейчас бомбить прилетят.

Пыльную бородку задрав к небу, он осматривал холодные и яркие просторы сощуренными глазами. В небе, после того, как пролетели «мессершмиты», все быстро успокоилось. Над полянами несло ветром, в котором мешались запахи грибов, прелой листвы, речной сырости, разрытой на берегах Ламы глины. Отдаваясь воздушным потокам, плыл вверху коршун, падая и взвиваясь снова.

— Ты-б хоть щель себе вырыл, — покачал головой Борода, обращаясь ко мне и уходя. — Видишь, «мессеры» пролетели, разведчики. Окапывайся, если хочешь жить.

Короткий черенок лопатки, оглаженный моими руками за два месяца, проведенных в училище, легко и привычно лежал в руке. Отточенная кромка подрезала белые корешки трав, звякала о камешки. Дерн — на одну сторону, бруствером, а серый суглинок — на дру-

гую. Не прошло четверти часа, укрытие было готово. Стоя по грудь в прохладной и узкой щели, я посмотрел на синеву неба: она была девственно-недоступна.

— Ви-и-у-у-ви-и-иу-у... — послышалось прерывистое гудение самолетов.

Бомбардировщики летели цепочкой, чуть отклоняясь один от другого налево. Их было шесть. В хвосте, охраняя их, кружили, делали ножницы, менялись местами, две пары легких продолговатых истребителей.

— Пах... пах... пах... — застукотали зенитки, стоявшие у яропольского моста, на огородах, средь неубранной пожелтевшей капусты.

В небе повисли белые хлопчатые комочки дыма. Командир батареи наловчился предугадывать ход неприятельских самолетов. Белые облачка таяли, раздуваемые ветром, но вспыхивали другие... левее, еще левее. Вожак стаи накренился и, блеснув в луче солнца крылом, повернул налево. Он оказался в хвосте у последнего, замыкающего; из цепочки образовалось кольцо.

Кружащийся серебристый ожерелок висел высоко — снаряды не доставали. Но, переламывая линию полета, ведущий клюнул носом и круто, почти отвесно начал падать в разрывы, к мосту. Из-под брюха скользнула и резко сверкнула бомба. Лопнул, глухо прокатился по Ламе взрыв. Тугой столб воды вымахнул и обломился в вышине, рассыпался брызгами. Над мостом заискрилась цветистая радуга.

Сквозь грохот, треск ветер донес крики:

— а-а-ай! — а-в-а-а-ай!

Похоже, кричал наш лейтенант: «давай, давай», прогоняя через мост оторопевших обозников. Кони становились на дыбы, путались в постромках — обоз застрял. Между тем, кидался с высоты на переправу другой самолет, и опять бомба, упавшая мимо, в воду,

окатила волной повозки и мокрых, кидающихся по сторонам лошадей.

У спуска на мост образовался затор. В скопище телег, пароконных и одноконных повозок с треском врезалась гаубичная батарея. Сзади подперли тяжелые пятитонные «зисы», на которых громоздились огромные корыта понтонов.

Немецкие самолеты шли общим кругом. Но каждый, пикируя, атаковал свою цель. Бомбы одних ложились по сторонам моста, другие взрывали огороды, глуша зенитную батарею, третьи... вот, распластав белые крылья, меченые черной свастикой и повязанные на концах коричневыми полосками, самолет устремился к обозам, орудиям, автоколоннам, сгрудившимся на крутом каменистом взвозе.

Из кабинки грузовика выскочил шофер и растопырил на закрылке треногу ручного пулемета. На телеге, стоявшей рядом, одним колесом в придорожной канаве, сидела молодая баба в мужицком полушубке. Не в небо, откуда грозила смерть, а почему-то на шофера смотрела она — неподвижная, отупелая. На лице ее, омытом бледностью, стояли беспамятные глаза.

— Та-та-та-та-та-та-та-а! — сыпанул пулемет и тотчас-же за дорогой грузно ахнула бомба.

Кобыленка, запряженная в телегу, присела на задние ноги. В бабе вызрело что-то и лопнуло: как гроздья калины, загорелись скулы, карие позолоченные солнцем глаза ее перекатились по мосту, по всей осыпаемой комьями земли массе людей, коней, машин, выметнулись на пустое двухверстное поле, отделявшее ярополь́ский мост от юркинского. Баба заметила, что от шоссе на поле поворачивают только что подошедшие пушки — большой состав. Она вскочила на телеге во весь рост и крутанула возжами.

— Но-о-о, ты-ы-ы!

Кобыла, откуда и сила взялась, вырвала телегу из

канавы, понесла берегом, вдоль минной полосы, огороженной тычками.

Все хлынуло за бабой в поле — телеги, пушки. Ездовые щелкали кнутами, лошади рвали постромки. Хряпались, ломались дышла и оглобли. Зло взвизгивали кони. В сплошном стоне колес прорывались крики:

— То-ро-пи-сь!

— Эй ты, тяпай!

— Куды прешь!

— Доро-оги!

А баба стояла на телеге, крутила возжами, поглядывая то на катившуюся за ней лавину, то на старенький похилившийся мост. На ременных шлеях клубилась пена, но упаренная кобыленка, с виду похожая на беременную блоху, скакала из последних сил. Баба прогрохотала по мосту — я еле успел посторониться.

— У-ух, отчетливая бабенка! — послышался голос нашего лейтенанта.

Он был без фуражки, на белом лохматом конишке. Гимнастерка, мокрая до нитки, прилипала к широкой спине. Когда он слазил с коня, под гимнастеркой заиграли тугие, скрученные мускулы.

— Окатило меня там, — кивнул лейтенант в сторону Яропольца и провел обеими ладонями ото лба к затылку, приглаживая мокрые волосы. — Фуражку сорвало в воду, унесло. Да еще... Проскурякова ранило, — добавил он, кидаясь на мост, навстречу хлынувшему с того берега потоку; Проскуряков был командир отделения.

Немцы отбомбились и, разомкнув кольцо, приняли прежний порядок, пошли цепочкой. Бомбежка не причинила большого ущерба: две-три лошади, засеченных осколками, несколько раненых и одна искареженная зенитка, около которой погиб и ее расчет. Мост немцам разрушить не удалось, потому что бешеная

пальба, поднятая зенитчиками, а так же из ручных пулеметов, винтовок, автоматов, не позволила самолетам снижаться. Истребители сопровождения, видя, что советских «чаек» в воздухе нет и отбомбившаяся шестерка спокойно, благополучно дойдет до своего аэродрома, решили призаняться штурмовкой юркинского моста. Тут зениток не было, и они могли снижаться сколько угодно. Правда, они не имели бомб, зато — нетронутый комплект снарядов и разрывных, зажигательных пуль.

Следом за бабой вкатились на мост двуколки, покрытые брезентовыми шатрами на два ската. Их было много, целый обоз. Лейтенант стоял в конце моста и пропускал их первыми, не давая другим повозкам встревать сбоку, затормаживать движение. На брезентах и на бортах двуколок краснели широкими полосами санитарные кресты. В повозках лежали тяжело раненые, в большинстве, не очнувшиеся от хлороформа после операции, произведенной в санбате на передовой позиции.

— Куда, куда ломишься! — орал лейтенант на калмыковатого ездового-артиллериста, который, сидя верхом на круто-крупном коне, ударял его толстой витой плетью и направлял на мост, ломая быстрое и спорое течение обоза.

— Тихо! Тихо! — покрывая грохот колес, крикнул лейтенант, когда тронулось орудие. Шестерка грудастых лошадей тащила в двойной упряжке пушку. Лейтенант опасливо посмотрел, как под колесами прогинаются доски щелеватого, подопревшего настила.

«Подломится...», — подумал я и... подломилось. Одно колесо обрушилось в пролом. Темные запотевшие лошади, роняя охлопья пены, перебирали копытами, но не могли выдернуть колесо. Хриплая брань ездовых, лошадиный топот, властные команды лейтенанта... — все это захлестнуло дробным перестуком

крупно-калиберных пулеметов и близким смертным свистом опускающихся на мост истребителей.

— В ямку... в ямку... — квохтал около меня боец, соскочивший с зарядного ящика. Мы разом прыгнули, сгорбились голова к голове и, помирая от страха, прислушались, как, высверливая пропеллерами воздух, пронеслись над мостом «мессершмитты».

— Коряков, в закон-мать! — гроханул лейтенант.

Вскочив на ноги, я увидел его у орудия, огнисторыжего и залитого кровью. На мосту, исщепленном разрывными пулями, лежали, не подымая голов, ездовые. Щепка, отлетевшая от перил, ударила лейтенанта в лицо, окровянила.

— Почему не стреляешь по самолетам? — ляскнул он на меня зубами. — Тащи мне сюда ту жер...

Он показал было рукой на жердину, лежавшую на рогатке у потухшего костра, но не договорил и бросился от орудия. К мосту со стороны Яропольца подкатила открытая легковая машина, из которой выскочил рослый и широкий в плечах командир с тремя шпалами.

— Товарищ подполковник... — начал скороговоркой лейтенант.

— Докладывайте генералу.

Лейтенант крупным быстрым шагом подскочил к машине, в которой сидел боком, повернувшись к реке, худощавый генерал в шинели с красными кантиками и тремя серебряными звездочками в красных, угольниками, петличках. Вытянувшись в жилу, руки по швам, лейтенант отчеканил:

— Товарищ Командующий! На переправе находится: на большом мосту 54-й понтонный батальон, на малом мосту 640-й артполк. Неприятельскими самолетами выведено из строя зенитное орудие, имеются потери. Докладывает начальник переправы командир курсантской полуроты МВИУ лейтенант Заваруев.

Командующий поднес ладонь к козырьку фуражки. На узком худом лице его как то отдельно ото всего жили красивые, удлиненные в разрезе серые глаза.

— А почему без головного убора?

— Воздушной волной сорвало, товарищ Командующий.

— Ну вот, воздушной волной... От волны ложиться, падать, укрываться надо. Так вам и голову сорвет однажды.

— Вы-то, товарищ Командующий, я знаю, не падаете, — возразил лейтенант и посмотрел на генерала светлыми лихими глазами.

Командующий не слышал последних слов: он смотрел на холмистый восточный берег, вдоль которого тянулись проволочные заграждения, ежи и надолбы, окопы, замаскированные хворостом, охапками листвы.

— Да... да, можете быть свободны, — рассеянно ответил он на вопрос лейтенанта и, оставив машину, пошел на бугор. Длинная кавалерийская шинель извивалась между ногами в широком ходу.

Подполковник Бурков, начальник инженерной службы армии, побежал тяжелой рысцой за генералом. Из двух «газиков», сопровождавших генеральскую машину, вылезли, разминая ноги, автоматчики охраны.

Тем временем мы, ухватившись всем народом за обгоревшую, но крепкую, просунутую в колеса жердину, втащили орудие. Нет-нет, я поглядывал на командующего армией. Вот он каков, Рокоссовский! Как дорого дал бы я, чтобы знать, что думал он, стоя на остром и сухом, точно старинный курган, холме. Видели он, как над Ламой, русской рекой, упоминающейся в древнейших летописях, кружил, как и тысячу лет назад, коршун, раскинув темные стальные полудужья крыльев? Видел ли, как корчилась в страшных кон-

вульсиях Россия, косматая, огромная, раненая, раздираемая душевными муками? Высокий и прямой, Командующий ощупывал глазами местность, поводил рукой и показывал начинжу на увалы и перелески, на складки земли, более удобные для скрытого накапливания наступающих войск противника, нежели для нашей обороны. Позиция на Ламе была дурна, но это была последняя позиция... за ней стояла Москва!

Переправа шла своим ходом. Дело спорилось у лейтенанта: подгоняя одних, сдерживая других, он регулировал движение, давал старому мосту мерную и выносимую нагрузку. На закате солнца на мост въехал кавалерист на исхудавшем, полузагнанном коне. На груди у него болтался подвешенный ремнем за шею автомат, сбоку торчала кожаная сумка, набитая бумагами, — связной. Он торопился. Врезался в поток и, виляя между подводами, прижимаясь к перилам, начал пробираться на другой берег. Низенькая горбоносая лошадка оступилась в канаву. Хозяин дал ей шпоры в ребрастый бок и она, подминая тычки, выскочила на полосу заграждений.

— Мины! Мины! — шумнул я.

Всадник, верно, не расслышал, махнул плеткой. В сумасшедшем намете злая калмыцкая лошадь понесла по прибрежной поляне, где под пластами дерна пупырились противотанковые, страшной силы, мины. Несколько взмахов... все мы застыли в ужасе. Но только тогда, когда передние ноги коня коснулись чистого поля, задними ногами конь ударил в мину. Из земли сверкнуло пламя, оглушительный раздался взрыв, взметнуло клочья дерна и глыбы земли, потянуло острым запахом гари. Дым рассеялся... Кавалерист скакал уже далеко, то оглядываясь назад, то припадая к гриве.

Всадника этого лейтенант вспомнил вечером, когда мы шли с ним от моста в село. На фоне сумеречного неба виднелся белый силуэт старинного барского дома,

принадлежавшего сто лет назад теще Пушкина. От Ламы пахло пресной сыростью. Лейтенант сильно втянул широкими ноздрями воздух и, на-ходу оборачиваясь ко мне, проговорил:

— И что ты думаешь, Коряков, он всю войну так и проскачет, этот сегодняшний. Подрываться будут, да не подорвется. Около смерти сто раз пройдет, а все жив останется...

Возле избы, покосившейся и вросшей одним боком до окошек в землю, расположилась на отдых маршевая рота в полном походном снаряжении, с мешками, котелками, лопатами. На шинели, разостланной по земле, лежал длинный зевластый пулемет. Бойцы облепили его со всех сторон, опираясь на спины друг друга. Приподнявшись на носки, мы с лейтенантом увидели в середине молодого красноармейца, который, сидя на корточках, смущенно улыбаясь, поворачивал пулемет так и этак, но не знал способа обращения.

— Получили пулеметик... собаке под хвост! — говорили бойцы.

— Вот и воюй так-то...

— Погоди, ребята, может, механик какой найдется, разберется, что к чему.

— На кой тебе механик, я сам лучше всякого механика в пулеметах понимаю. Максима, Льюиса, а Дегтярева, так с завязанными глазами разберу и соберу. А этот... и где они такой добыли, чорт их знает!

— Американский. Америка, сказывают, теперь нам оружью шлет.

— Вот ить какое блядство! Сколько лет тянули жилы... на оборону, на оборону! А пришло обороняться, Америке надо в пояс кланяться. Наша-то оружья где?

— Тю-ю, дурак! Ай, мало его на границах оставили? Вон у нас, коло Ржева, полон еродром самолетов достался немцу.

— Ты сам чорт непонятный, тебе про одно, а ты про другое. Я за винтовки спрашиваю, а не за самолеты.

Лейтенант толкнул меня локтем.

— А ведь это те, что мы в Волоколамске видели.

Действительно, мы эту роту уже видели позавчера в Волоколамске. Выехав из Болшева поздним вечером, мы приехали в древний деревянный городок за полночь. Шофер, изредка присвечивая фарами, повез нас темными переулками на окраину города, где помещался инженерный отдел штаба 16-й армии. Остановились у избы, возле которой спали, сидя на заваленке, привалившись спинами к бревенчатой стене, бойцы. Некоторые лежали на земле. Наш грузовик, подворачивая к избе, чуть не переехал передним колесом ноги, перекрученные обмотками. Перед фарами метнулась, взмахнула руками растерянная, испуганная фигура молодого красноармейца.

— Посередь улицы бы ложился, — заругался шофер. — Чтоб тебе во сне собаки яйца отъели... Винтовку то не проспал, не утащили?

— Винтовку... Наде ее иметь, винтовку-то! — заговорил боец. — Гонют на фронт, а винтовок не дали. Пока так идите, из армейских складов в Волоколамске получите. Вот и ждем-пождем...

Это и был паренек, который так кряхтел над пулеметом, что выпустил от усердия и прикусил зубами кончик языка.

— Ну-ка, пусти, товарищ, может я помогу беде, — тронул лейтенант рукою плотную, жаркую загородку.

Бойцы расступились. Лейтенант вступил в круг. Подошел Шурка Яковлев, тоже склонился над пулеметом.

— Не американский это пулемет, — объявил лей-

тенант. — По американски нас учили в Болшеве. Тут и буквы совсем другие.

— Филолог! — позвал меня Шурка. — Есть случай отличиться.

Пулемет оказался польский. На нем стоял герб «Жечи Посполитой». Повидимому, его захватили в Польше осенью 1939 года. Красная армия понесла такие потери оружием, что через четыре месяца войны на фронт стали посылать всякую заваль вроде этого польского пулемета. На производство винтовок переходили заводы, вырабатывавшие прежде кастрюли. Попадались новые, помеченные 1941 годом, винтовки с грубыми нешлифованными стволами, коряво, одним топором вырубленными ложами. Ходили слухи, что плохо выделанные винтовки разрывало при стрельбе; бойцы их бросали. Появился приказ Сталина: за потерю винтовки — расстрел; раненых в госпиталь без винтовок — не принимать. Бойцам, получившим тяжелые ранения и в беспамятстве потерявшим оружие, отказывали в перевязке, первой помощи. Бойцы ползли обратно на поле боя и гибли, истекая кровью, попадая в плен к наступавшему неприятелю.

— Ну его к лешему, — отступился лейтенант от пулемета. — В нем спец-оружейник не разберется. Яковлев — отдыхать. Коряков — тоже. Корякова я еще вызову. Комиссар приедет, привезет капсюли — ваше отделение... я вам говорил — вы заступаете Проскурякова... вы обеспечите мосты зажигательными трубками. Понятно?

— Товарищ лейтенант, разрешите мне задержаться, с этим пулеметом покончить, — попросил Шурка.

— Брось, ничего у тебя не выйдет, — ответил лейтенант, говоривший курсантам «вы», когда дело касалось службы, и «ты» во всех остальных случаях.

— Выйдет! Заело меня... инженерная честь моя не позволяет бросить.

— Ну, если заело — оставайся, мне то что.

Жадно-любопытствующими глазами следили бойцы за шуркиными руками. Непонятные механизмы всегда «заедали» Шурку: у него выработалась привычка разгадывать их секреты. Трогая отдельные части пулемета, щелкая рычажками, он понимал их взаимную связь, взаимодействие. Наверное, он был хорошим инженером: погрузился в работу, не замечая ни шума на улице, ни жаркого сапа обступивших его бойцов, ни кислой удушающей вони их шинелей, ни того, что стало темно, опустились густые сумерки.

— Отодвинься, не засти, — сказал он молодому красноармейцу, и тут все увидели, как под умелыми руками пулемет стал распадаться на части. Шурка разгадал машину. Он снова собрал ее четкими уверенными движениями.

— Кто у вас тут голова? — поднялся Шурка. — Покажу, но чтобы с одного раза понял.

— Помкомвзвод, выходи.

Придвинулся сержант, который говорил, что умеет разбирать «Дегтярева» с завязанными глазами. Шурка показал ему устройство польского пулемета, объяснил взаимодействие частей. Помкомвзвод оказался понятливый.

— Научишь остальных, — кивнул ему Шурка.

— Вот спасибо тебе, товарищ, — сказал помкомвзвод. — А то командир роты пошел искать оружейную летучку, да где же ее найдешь в такой каше...

Поздним вечером я пошел к командиру полуроты. По всему горизонту подымались багровыми высокими заревами пожарища. Трассирующие пули — фиолетовые, зеленые, желтые — чертили косые линии на темном беззвездом небе. На цветастую вышивку накладывались искряные шнуры ракет. Полоса гро-

хота и смерти с каждым часом приближалась к Яропольцу.

В избе у лейтенанта сидел комиссар Никонов. На попутных грузовиках он проделал сегодня конец из Яропольца в Москву и обратно. Несколько дней небритая голова его заросла серой щетиной. Опираясь руками о скамейку, он смотрел, морщиня лоб, как лейтенант открывал квадратные картонные коробочки. В коробочках, точно папиросы, лежали алюминиевые капсюли.

— Мензелинск? Где это такое? — спрашивал лейтенант.

— В Татарии. Километров восемьдесят от Казани.

— Далеко... пешком. Как они дойдут?

Открывая дверь, я уловил обрывок разговора. Пока лейтенант распаковывал еще какой-то ящик, привезенный из Болшева, я обратился к комиссару:

— Училище эвакуируют, товарищ старший политрук?

Комиссар поднял усталые глаза и нехотя ответил:

— Да, уезжают наши.

Не требовалось быть психологом, чтобы заметить растерянность комиссара. Давно-ли он вертел языком цитаты из Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина? Цитаты были его капиталом, на них он строил свое благополучие. И оказалось... построил карточный домик! На фронте происходило такое, чего нельзя было объяснить цитатами.

— Получайте сотню капсюлей, — сказал лейтенант, протягивая мне коробку. — Большой и малый мосты, восемь мостиков на противотанковых рвах, электростанция в доме Павлика Морозова, — все это вы обеспечите мне к утру.

— Есть.

— Выполняйте. Что еще, чего вы стоите?

— Фонарик нужен электрический, товарищ лейтенант. Под мосты ночью лазить. И потом... обжимы.

Лейтенант накрутил на палец рыжий чуб и дернул:

— Обжимы! Фонарик — пустяк, мой возьмете. А обжимы? Товарищ старший политрук, как же так, что они вам их не дали?

— Не дали и все тут, что я с ними драться буду? — ответил комиссар угрюмо. — К полковнику Варваркину ходил, докладывал, ничего не добился. — Ну-у, говорит, не может быть, чтобы вы там, на фронте, не достали. Это нам в тылу теперь ничего не дадут. Все заявки на оборудование срезали, а сосунков еще пять тысяч дали — обучай на пальцах. Так и не дал.

— И вы тоже... подрывник! — посмотрел на меня лейтенант с укором. — Уезжали из училища, о чем думали? Такой пустяк, обжим, не могли в карман спрятать?

— Украсть из ротного имущества? — засмеялся я. — Их всего то на роту было выдано два обжима. Вы же знаете, что пришел начальник технического снабжения, велел сдать.

— Техническое снабжение! — буркнул лейтенант. — Я с ним и сам, как собака, излаялся.

Обжим — вещь пустячная, но крайне необходимая в подрывном деле. По форме, это — плоскогубцы, но с полукруглыми, зубчатыми выемками. Выемки образуют маленькое круглое отверстие по диаметру капсюля. Когда в капсюль вставляется детонирующий или бикфордов шнур, необходимо его обжать, чтобы шнур не выпадал, держался вплотную — сердечко шнура к сердечку капсюля. Без обжима подрывник, как без рук. Между тем, обжимов не доставало даже в столичном военно-инженерном училище.

— Послать его к командиру роты? — спросил лейтенант.

Комиссар отрицательно покачал головой.

— Неудобно... подполковник Бурков.

— Ничего неудобного! Вот что, Коряков. Домик за церковью, с палисадником, белыми ставнями, видели? Пойдете туда. Это — квартира подполковника Буркова, но вы не теряйтесь, идите смело. Там приехал командир нашей роты. У него есть обжим, личный. Попросите — от меня.

В темных сенях я нашел ощупью скобку и отворил дверь, обитую старым, облохмативши́мся войлоком. Из избы напахнуло солонцеватым запахом квашеной капусты, подгоревшего сала. Хозяйка стояла у шестка и жарила картошку. Огонь, игравший в кирпичах, под сковородкой, освещал ее простое, усталое лицо.

— Здравствуйте, мамаша, — приветствовал я хозяйку. — Подполковник тут остановился?

— Есть какие то в горнице. А кто они будут, подполковники аль ишо кто, нам не сказано. Военные...

Дверь в горницу была приоткрыта. Виднелись окна, занавешенные полосатыми половиками. В углу, под бумажными кружевами, украшавшими божничку, стоял стол, покрытый серой домотканной скатертью. Широкий в плечах, медвежковатый подполковник и худой, костистый капитан сидели, ужинали. Донесся голос капитана Голодова:

— Подрывники, они будут находиться при своих объектах, действовать в одиночку. Надо им указать место сбора. Прикажу: по выполнении боевого задания направляться... куда? В районе Истры деревню наметить, я думаю.

Глухой смешок подполковника Буркова:

— Место сбора им... на том свете. Это же смертники! Неужели вы не понимаете?

Ноги сделались ватными, я привалился плечом к дверному косяку. Встряхнулся, постучал.

Капитан поднялся мне навстречу.

— Обжим? Да я его в Княжьих горах оставил, первой полуроте.

Подполковник крикнул от стола:

— Какие тут обжимы? Зубами! Зубы молодые, крепкие? Так вот, зубами!

Ночной улицей, в отсветах пожаров, возвращался я в избу, где меня ждали товарищи... смертники-подрывники. К груди я прижимал коробку с капсюлями. Алюминиевые трубочки были начинены тетрилом и гексогеном, взрывчаткой необычайной чувствительности и большой разрушительной силы. По уставу предписывалось, обжимая капсюль, держать его на вытянутых руках, потому что он мог взорваться от неосторожного движения. Бывало, что капсюль взрывался неизвестно от чего — от шороха, трения; отрывало пальцы, ранило мельчайшими осколками лицо. Но... обжимать зубами? Ошибиться на полмиллиметра, нажать там, где кончается шнур и начинается заряд гексогена — спелым арбузом расколется голова. Впрочем, если мы смертники...

В проулке раздавались команды, перестук котелков. Строилась маршевая рота. Вооруженная польским пулеметом, к которому, может быть, не было даже подходящих патронов, она шла занимать позицию. Какой то шутник, по голосу — молодой красноармеец, потянул песню:

Ко-они сытыи-и бьють копытами-и...
Встретим мы по-сталински врага-а...

— Тихо! Кто там... отставить песню! — окрикнул командир.

...Не время было таким песням. Непросветно-черными крыльями крыла ночь поля Подмосковья. Ветер кружил над Ламой, взвивал листву-падалицу, веял трупные запахи, подымавшиеся от земли, намокшей кровью. Багряно сияли дымные, распластавшиеся в полнеба пожарища. Молча уходили люди по Волоколамскому шоссе, дороге смертников.

16 ОКТЯБРЯ

После смоленских боев немцы остановились на линии Ярцева, в 450 километрах от Москвы. В сентябре усилился натиск на ленинградском направлении и в районе Демянска, где 16-я армия фельдмаршала фон Буша пошла клином на перерез Октябрьской железной дороги, но Центральный фронт, нацеленный на Москву, не двигался.

Центральная группировка фельдмаршала фон Бока состояла из 4-ой и 9-ой армий фон Клюге и Штрауса, 2-ой и 3-ей танковых армий Гудериана и Гоота; позже подошла 4-ая танковая армия Хепнера, переброшенная из-под Ленинграда. Войска находились в исправности. То были армии, которые присоединили к Германии Польшу, прошли Францию, Норвегию, Сербию, Грецию и теперь захватили почти пол-России. У офицеров и солдат, насладившихся фантастическими победами и отъевшихся на оккупационных харчах, был вид довольства, веселья, лихого сознания непобедимости.

Немецкие генералы, как известно, все обдумывают очень основательно и аккуратно. Так же аккуратно был составлен и план взятия Москвы. Правый фланг — 2-я танковая армия ген. Гудериана в составе четырех танковых дивизий (3-я, 4-ая, 17-ая и 18-ая), двух мотопехотных (10-ая и 29-ая) и 167-ой пехотной дивизии — подходит к Москве с юга через Тулу, Каширу, Рязань, Коломну. Левый фланг — 3-я и 4-ая танковые армии Гоота и Хепнера в составе шести танко-

вых дивизий (1-ая, 2-ая, 5-ая, 6-ая, 10-ая и 11-ая), двух мотопехотных (36-ая и 14-ая) и трех пехотных (23-я, 10-ая, 35-ая) — подходит к Москве с севера через Тверь, Клин, Подсолнечную, Яхрому, Димитров. Ударная группа, сосредоточенная в центре, — 17 пехотных дивизий (9-ый, 7-ой, 20-ый, 12-ый, 13-ый, 43-ий армейские корпуса), две мотопехотных дивизии, более 1.000 танков и 900 самолетов первой линии, — овладевает Вязьмой и двигается к Москве через Волоколамск, Можайск.

План устанавливал календарные сроки:
2 октября 1941 года — начало операции;
16 октября 1941 года — падение Москвы.

Наступление армий фельдмаршала фон Бока развивалось по календарному плану. Ударная группа прорвала фронт от Ельни до Белого. Вязьма пала через три дня. 5-го октября московский гарнизон был поднят по боевой тревоге. Курсантские части — пехотная школа имени Верховного Совета СССР, расположенная в Подольске, два артиллерийских училища, а так же наше военно-инженерное, стоявшее в Болшеве, — вливались в 16-ю армию генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского. Шестнадцатая армия прикрывала наиболее угрожаемое волоколамское направление — кратчайший путь к столице. Она — отступала.

Наша 11-ая рота МВИУ, приданная непосредственно штабу Рокоссовского, получила задание — минировать мосты на ламском рубеже. Октябрьской ночью мы прибыли в село Ярополец. Полтораста лет назад это большое и богатое село на восточном берегу Ламы, в 14-ти километрах от Волоколамска, принадлежало генерал-фельдмаршалу Чернышеву, вошедшему с русскими войсками в Берлин в 1760 году. Теперь к Яропольцу лавиной катились немцы.

Через Ярополец — по Волоколамскому шоссе — день и ночь тянулись обозы, автоколонны, артиллерия отступавшей армии. Непонятное и страшное, происходило, однако, не на шоссе (то была обычная картина отступления), а на проселочных дорогах. Там брели тысячи, сотни тысяч бойцов, отбившихся от частей, побросавших оружие. Они шли в одиночку и мелкими группами, выбирая пустынные полевые дороги, лесные тропки. Шинели у большинства нараспашку, помятые, в комочках прилипшей грязи и золотых блестках мякины, оставшихся после ночевки в скирдах, на гумнах. Мне случалось видеть босых бойцов: как странники, они несли сапоги подмышкой или за спиной на палочке. Ни у кого не было винтовок. Из брезентовых противогазных сумок выпирали шмоты сала, краюхи хлеба, бутылки со спиртом или молоком, заткнутые бумажными пробками. Противогазы валялись по всем дорогам. Командиры срывали с себя знаки отличия, уничтожали командирские удостоверения личности и, беспаспортные, сливались с потоком отступавших, обродяживших и никем неуправляемых бойцов.

На дорогах стояли заградительные отряды, которыми командовали генералы. У прохожих бойцов и командиров, ничем не отличавшихся от рядовых, не спрашивали документов — ни «красноармейских книжек», ни удостоверений личности, ни командировочных предписаний. Бесполезно было обвинять их в дезертирстве. Пойманным просто говорили:

— В строй!

Первая попытка сформировать дивизию из беглых бойцов была сделана генерал-майором В. Ф. Зотовым еще летом, на Двинском шоссе, возле Режицы. Позднее, в 1942 году, я служил под началом ген. Зотова в штабе СЗФ (Северо-Западного фронта) и с его слов передаю эту историю. Под Режицей ему уда-

лось собрать несколько тысяч штыков, а точнее палок, потому что оружие побросали, наличных винтовок на всех не хватало, в строй становились с палками. Дивизия Зотова просуществовала два дня и... разбежалась.

Более удачно действовал кавалерийский полковник К. К. Рокоссовский на Смоленской дороге. Задержав чужую, разбредшуюся дивизию, он принял на себя командование, занял оборону, и только немцы остановились, наткнувшись на неожиданное препятствие, перешел в контр-атаку. Но когда полковник Рокоссовский стал генерал-лейтенантом и командующим 16-ой армией, крупнейшей на Западном фронте, он оказался не в силах удержать собственные войска.

...Каких-нибудь четыре месяца тому назад Красная армия стояла на Немане, Буге, Пруте. Прибалтика, Полесье, Волынь, Галиция, Буковина, Бессарабия — оккупированы, присоединены к СССР, «освобождены», по советской терминологии. Наслаждаясь легкими, молниеносными победами, отъедаясь на даровых и обильных оккупационных харчах, бойцы и командиры Красной армии были настроены залихватски. «Пусть только прикажет товарищ Сталин — мы в любую минуту готовы выступить для освобождения трудящихся любого государства». То была «сталинская молодежь», выращенная в искусственном, оранжерейном климате, полная веры в гений «великого, мудрого и любимого Сталина», в «освободительную миссию Красной армии», в «непобедимость советского оружия». Бойцы и командиры были уверены, что им предстоит «война на чужой территории».

Политическая устремленность к мировой революции определяла военную доктрину Красной армии — доктрину наступательной войны. Красная армия была зачинщицей в деле формирования «голубой пехоты» — парашютно-десантных войск, приспособленных ис-

ключительно для наступающих операций. Обыкновенная пехота, между тем, была в загоне. Пехотинцев не обучали полевой фортификации: окапываться, строить дерево-земляные огневые точки — ничему, что требуется при обороне. Даже саперные специальные части не умели возводить оборонных сооружений: огневые точки строились с непомерно широкими амбразурами и как курганы, заметные издалека, доступные огневому воздействию противника. Противотанковые рвы, построенные в начале войны, впоследствии удивляли самих строителей: их трассировали напрямую, не думая о применении фланкирующего огня, — в таком виде они были бесполезны. Войсковая инженерия времен 1941 года поражала кустарщиной, крайней отсталостью. Воздушный флот также приспособлялся исключительно для наступательной войны. На аэродромах вплотную, крыло к крылу, стояли тысячи бомбардировщиков; истребителей же насчитывались единицы. На авиационных заводах, работавших полным ходом, производились великолепные машины «пешки», П-2, конструктора Петлякова, цельнометаллические двухмоторные пикирующие бомбардировщики; истребительные эскадрильи тем временем сидели на вертлявых и неустойчивых «чайках». Красная армия не была ни вооружена, ни обучена для обороны.

Началась война. Красные дивизии, расположенные на новых границах, геройски приняли немецкие удары. Двухдневный бой у Иелгавы (Литва), оборона Брест-Литовской крепости... — бойцы истекали кровью, но не сдавали позиций. Истребительная авиация была так слаба и ничтожна, что не обеспечивала прикрытия. Немцы захватили русское небо без помехи, давили Красную армию с воздуха. Большевистская военная доктрина, сталинская стратегия свели к нулю подвиги бойцов, прикрывавших границы. Нестойки были росточки веры в Сталина, выращенные в оран-

жерейном, тепличном климате. Они тотчас завяли, едва на них повеяло жарким, опаляющим дыханием тяжелых и неудачных боев. На протяжении десятилетий большевизм вытравлял в молодом поколении органическую, национальную веру в Россию, теперь напористый ураган войны выдул и веру в Сталина, — в душе советского солдата стало пусто, хоть шаром покати. Так начался разброд Красной армии.

В июле и августе — первые два месяца войны — в действующую армию влились новые контингенты: миллионы крестьян Украины, Северного Кавказа, Поволжья, средне-русской полосы. Не комсомольцы, а тридцатилетние-сорокалетние люди, новый — более глубинный — народный слой, слабо затронутый большевистской пропагандой, идеями «освобождения» Европы, наступательной войны. На памяти этих бойцов лежало другое: как в 1930-ом году большевики разоряли единоличные — отцами и дедами построенные — хозяйства, отбирали лошадей, коров и насильно загоняли в колхозы; как в 1932-ом году целые деревни, села и станицы вымирали от голода, зарастали бурьянами, высылались на поселение в полярную тундру, пески Туркестана, концентрационные лагеря Колымы. Новое пополнение принесло на фронт антисоветские настроения, которые сразу нашли отклик у «сталинской молодежи», разгромленной на границах в первые дни войны. Не только отклик, но и четкое оформление — прямая установка на пораженчество. Потеряв веру в Сталина, опустошенные душевно, молодые люди «сталинской эпохи» потянулись к немцам. Появились «нырики», прятавшиеся в погребах, подвалах. Немецкая волна прокатывалась — «нырики» вылезали. Бывшие коммунисты и комсомольцы, как правило, поступали на немецкую службу. Пожилые бойцы переодевались в крестьянскую одежду, подавались ближе к родной деревне, чтобы делить колхозы и за-

ново строить единоличные дворы. Кто не имел поблизости родной деревни, оседал в хате какой-нибудь деревенской вдовушки, солдатской женки.

На полях России разыгрывалась большая военная, социальная, политическая, но главное — глубочайшая психологическая народная драма. Неправильно думать, что миллионы русских людей пошли к немцам. Ни к немцам, ни к большевикам, а просто — куда глаза глядят. Бойцы потеряли уважение к войне и ко всему, что с войной было связано — к приказам командиров, к декретам власти. Они самовольно бросали полки и даже о близких товарищах-фронтовиках, с кем еще вчера сражались бок-о-бок, думали отстраненно:

— Нешто удержат немца!

В отступлении потеряли силу и значимость все вещи. Бойцы отрешились ото всего: только бы баклажку спирту, шмот сала, стегно баранины. Жили бездумной, какой то воробьиной жизнью. Жив нынче — ладно, а завтра видать будет. Так думал русский солдат без оружия, без шапки, в помятой шинели нараспашку шагая по луговым проселочным дорогам и лесным тропам, в обход заградительных отрядов. Немецкие войска тем временем безостановочно шли на восток, захватывая точно неводом, эту обродяжившуюся людскую массу.

Никто не знал, чем все это кончится. Меньше всего знали в Верховной ставке, в Кремле. Было очевидно, что и позиция на Ламе — последний водный рубеж перед Москвой — не сегодня-завтра будет сдана неприятелю. Не потому, что позиция была дурна, не пригодна для обороны. Будь она много лучше, отвечай она всем требованиям тактики, теперь это не имело никакого значения. Беда была не в том, что войска отступали, а в том, что войска разбрелись. На протяжении тысячелетней своей истории Россия посылала

солдат на всевозможные войны, бывали моменты, когда русским армиям приходилось и отступать, откатываться под натиском неприятеля, но такого разброда войск, бродяжничества, бездомности, неприкаянности целого народа история еще не видывала. То, что происходило в армии, сообщалось тылу, в особенности Москве, — в конвульсиях корчилась вся Россия.

К середине октября драма, разыгравшаяся на полях России, достигла наивысшего напряжения. 4.000.000 советских солдат находились уже в плену. Немецкие танки уже бороздили поля Подмосковья. Россия подошла к краю пропасти. Теперь неминуемо — вот-вот, сию минуту — должно было что-то произойти. Как сказал один старик, встреченный на Волоколамском шоссе:

— Теперь надвое удача — помереть России или просиять.

На поверхности народного океана было мутно, несло во все стороны хлопья пены, но в глубинах все ярче и светлее разгоралось то таинственное свечение, которое не угасало и не угасает никогда, какой бы мрак ни распространялся поверху. В те страшные дни октября подводные светлые струи народного русского океана собирались, накапливались и должны были выметнуться на поверхность с неожиданной силой и в неожиданную минуту — минуту кризиса...

...На Ламе немцев не удержали. Большой оборонительный рубеж, на котором почти все лето работали сотни тысяч мужиков и баб, московских студентов, волоколамских, истринских домохозяек, — рубеж с эскарпами и контр-эскарпами, противотанковыми рвами, проволочными заграждениями, преградами из бетона и железа, — этот рубеж войска Рокоссовского оставили 14-го октября. Немецкая ударная группа, двигавшаяся по двум первоклассным шоссе, вышла на линию Волоколамска-Можайска. Требовалось подтя-

нуть фланги, в особенности левый, застрявший в болотах Калининской (Тверской) области. Приостановив движение по Волоколамскому шоссе, противник усилил нажим на правый фланг нашей 16-й армии. 14-го октября неприятельские силы обложили Тверь. Бои разгорелись в районе Тургинова, на стыке двух фронтов — Западного и Калининского (бить в стык — излюбленный прием немецкой тактики). К югу от Москвы армия Гудериана шла в обход Тулы. Падение древней столицы, которая для каждого русского человека есть символ самой России, казалось, является вопросом дней: быть может, 16-го октября, как и намечалось по первоначальному плану немецкой ставки.

Все вышло по-другому, однако. 16-го октября 1941-го года — выдающаяся дата второй мировой войны. Но не потому, что Москва пала. Напротив, в тот день Москва поднялась. Поднялась против большевизма, приведшего Россию на край пропасти, и против немцев, замысливших погубить Россию. 16-ое октября и был день кризиса, великий и исторический день войны, народной драмы.

В «Истории Великой Отечественной Войны», которую теперь пишут в Москве, дата эта не будет отмечена, можно предугадать заранее. Намек на события того дня, тем не менее, можно найти даже в советской литературе. В дневнике Владимира Ставского «Фронтовые записки» имеется любопытная запись, помеченная 18-ым октября 1941 года, — в тот день он приехал в Москву с фронта: «Москва суровая и грозная. В Союзе писателей группа литераторов собирается уезжать, ждут вагонов. Большая часть писателей уехала. Здесь же одно лицо из окололитературной братии с таинственным видом пытается завязать разговор: «Вас тут не было. А 15-го октября что тут бы-

ло! Что тут было!» Автор «Фронтовых записок», разумеется, не рассказывает, что же такое было и даже намеренно сдвигает дату.

Намек находим и в книге советской писательницы Маргариты Ветлин. Американка по происхождению, она приехала в 1932-ом году, в качестве туристки, в Москву и вышла там замуж за театрального режиссера Андрея Ефремова. Вместе с мужем и двумя детьми она провела два года в эвакуации. Книга «По русским дорогам» — дневник эвакуантки. Ветлин разговаривает с приятельницей Светланой, женой писателя Бориса Черного, и та бросает такую фразу: «После нашего отъезда из Москвы, 16-го октября, я потеряла вкус к отъездам в последнюю минуту». На этот раз дата не передернута, но и Ветлин не расшифровывает намек: почему-же именно «в последнюю минуту».

Генри Кассиди в книге «Московская хроника» пишет: «В течение трех дней после 15-го октября было немало волнений». Это правильно: 16-го волнения начались, 17-го пошли на убыль, 18-го сошли на-нет, Москва обновилась, переродилась, действительно, стала суровая, грозная и — спокойная. Правильно намечая хронологическую линию, Кассиди, однако, скользит по поверхности. Книга его потрясающе-легкомысленна. Так, он рассказывает, что московский комитет ВКП, «начиная с 13-го октября», приступил к мобилизации коммунистов и сформировал четыре коммунистических дивизии. В те дни, когда коммунисты и комсомольцы рвали свои членские билеты, наспех очищали свои квартиры от марксистской литературы, какая могла быть мобилизация? Если бы московский комитет и объявил такую мобилизацию, он вряд ли смог бы набрать коммунистов хотя бы для одного полка. Коммунистические дивизии формировались в июле. Под Ярцевом, у Смоленска, они частью разбежались, частью попали в плен. Никакого влияния на исход

битвы под Москвой они не оказали. Происхождение волнений в Москве Кассиди видит просто-напросто в том, что у населения сдали нервы: «Русские — люди, как все другие. Вполне естественно, что такое напряжение сил должно было вызвать у них подавленность, вроде той, какую вызвали первые бомбардировки». «Но великий и крепкий режим, — продолжает Кассиди, — умеет справляться с подобными испытаниями и стоять выше опасностей ситуации. При виде абсолютного спокойствия и уверенности, проявленных правительством, население быстро успокоилось». Таким образом, по Кассиди, народ Москвы пал духом и только благодаря спокойствию правительства был водворен порядок. На деле все произошло как раз наоборот: перспектива совершенно искажена. Надо отметить, что 16-18-го октября Кассиди в Москве уже не было: накануне, вечером 15-го октября, он вместе с американским посольством выехал в Куйбышев. К тому же, только близко живя с народом, можно было понять, что тогда происходило — что погибало и что рождалось. Иностранному корреспонденту, ограниченному комнатой в гостинице и питающемуся информацией отдела печати Наркоминдела, такая близость к народу, конечно, недоступна.

Пишущий эти строки благодарит судьбу, позволившую ему видеть Москву 16-го октября. Оставив Ярополец, мы отошли к северу, на правый фланг, в район Тургинова. На марше командир роты вызвал меня и спросил:

— Москву хорошо знаете?

Еще бы! Правда, я родился не в России, а в Сибири, в таежной деревне в предгорьях Саян, от Москвы пять тысяч километров. Но много лет уже, как Москва стала мне родным городом: там я учился, там был влюблен. Мое счастье и мое несчастье... все там!

Конечно же, знаю Москву, ее кривые переулки, ее горбатые мосты, ее центры и ее заводские окраины.

— Ведь я, товарищ капитан, можно сказать москвич...

— Так вот, поедете в Москву, — сказал он, вручая мне командировочное предписание за подписью начальника инженерной службы 16-ой армии. — Возьмете с собою трех человек... пожалуй, хватит и двух... возьмете Юхнова и Приказчикова. Первым делом явитесь в Болшево и попросите помощь людьми. Может быть, даже дадут машину. А дело вот какое: в Москве где-то... а где, мы не знаем, это вы сами должны найти... есть картонная фабрика, которая получила задание вырабатывать противотанковые мины специально для нашей армии. Отыщете фабрику, — запомните, картонная, — получите партию мин, три тысячи. От Наркомата обороны, главного военно-инженерного управления, должны дать средства переброски. Послезавтра к вечеру, — к вечеру 17-го октября, — все это хозяйство должно быть вот здесь, в селе Степанчикове.

Капитан раскинул карту и показал село на берегу Ламы, севернее Яропольца, по направлению к Твери. Оно лежало как раз на стыке двух фронтов, где нажимали немцы. Командарм 16 приказал срочно заложить там мощные минные поля. На это дело бросали нашу роту.

Так 16-го октября я попал с фронта в Москву.

На рассвете 16-го октября, когда мы, трое курсантов, добрались попутными машинами до Московского военно-инженерного училища, окрестности Болшева являли безрадостную горькую картину. Вырубленные леса, изрытвленные поляны... В лесах — противотанковые завалы: величаво-громадные сосны повалены вдоль и поперек, одна на другую, белые срезы оплы-

ли смолой. В полях окопы, размытые осенними дождями, слегка припушенные снегом, выпавшим накануне. Желтели бурой глиной брустверы, на дне траншей накапливалась ржавая вода. Туманная сырость стелилась над морщинистой, больной землей.

Пустые, мрачные стояли казармы. Ворота — деревянная рама, оплетенная колючей проволокой — были откинуты напрочь, на песке, смешанном со снегом, виднелись широкие рубчатые следы грузовиков. На учебном плацу одиноко торчал столб и валялась кобыла с обломанными ножками.

Комнаты штаба... Пустые стены. На полу пыльные, замусоренные квадраты: напоминание о вынесенных столах, под тумбочками которых не подметали. Второй этаж... Голые, сквозные полки библиотеки. Лохмотья плакатов в залах агитационного пункта. Некоторые из этих плакатов были написаны по заданию комиссара Юхновым, художником по профессии. Высокий и грузный, в пилотке, топорщившейся на голой и круглой, как глобус, голове, он подошел к стене и, ухватившись за край, с треском сорвал кумачевую ленту, на которой меловыми буквами было написано: «Да здравствует Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) — партия Ленина-Сталина!» Топча кумач порыжелыми, обожженными у костра солдатскими сапогами, Юхнов насмешливо крикнул:

— Я тебя породил, я тебя и убью!

По коридору пролетел окрик:

— Э-гей! Кто там ходыт?

Мы различили голос лейтенанта Бериташвили, коменданта училища. Он нас узнал, обрадовался.

— Какой люди? Какой машина? — блеснул он косыми миндалинами глаз, когда я передал записку командира роты с просьбой о помощи. — Никого нет, пустой училище. Полковник Варваркин? Нет, он еще не уехал, он — в Москве. А-а! Войди ты в мое положе-

ние... бросают мне взвод ишаков и говорят — охраняй училище!

— Поедем в Москву, в инженерное управление, — сказал я товарищам. — Электричка ходит по старому расписанию?

— Ва! Какой может быть электричка? Провода давно сняли. Ходит паровичек... может, сегодня и тот не ходит. В Тарасовку иди, на Ярославское шоссе, там попутных машин в Москву много...

К Тарасовке — три километра от училища — вела глинистая проселочная дорога. На душе было сладостно и тоскливо: Москва! Недавно щеголеватые столичные курсанты, мы возвращались солдатами-фронтовиками. На фронт мы поехали в нарядных голубых шинельках, которые прежде разрешалось надевать только в отпуск в Москву. Не прошло двух недель, как шинели покрылись желто-зелеными пятнами, — от мелинита, этой чортовой ядовитой взрывчатки. Юхнов спал у костра и спалил полу шинели, а Боря Приказчиков, отогревая ноги, прожег сапоги так, что вылезали портянки. Ночуя в жарких и вонючих избах, вповалку, среди онуч и мокрой одежи, мы быстро набрались прогорклого запаха солдатчины.

Широко, торопливо шагая, я оглядывался на товарищей. Улыбка теплилась на мясистом, тяжелом лице Юхнова. Он был мой давний знакомый. Лет десять назад нас свел случай в Пудоже, на Олонецком озере. Меня туда заманили старушечьи сказки, а его — художника — остатки церквей, деревянное русское зодчество. Он и родом был той-же олонецкой стороны, сын кержака-старовера. Мшистая тишина леса располагала к откровенным разговорам: мы сблизились, подружились. Юхнов задыхался в казарменной атмосфере, давно сгустившейся в стране. В построенном по ранжиру советском обществе художникам отводилось определенное место: писать портреты вождей и мар-

шалов, оформлять демонстрации 1-го мая и 7-го ноября. Юхнов не хотел равняться по ранжиру: он тосковал по свободе. Казарму советскую он проклинал, и тогда, в приозерном ельнике, сказал: «Хоть-бы она в войне сгорела!» Теперь, по дороге в Тарасовку, он напомнил мне эти слова:

— Ты помнишь, Михалыч, я говорил про казарму... кажись, горит!

Подбородок его двоился от улыбки.

— Похоже, — ответил я. — Только как бы и мы с тобой тут не сгорели.

Юхнов хотел что-то сказать, но перебил Боря Приказчиков:

— Вы — как хотите, а я должен в Москве домой зайти.

Боря Приказчиков был гигантского роста, белокурый и белолицый детина. Имел от роду 18 лет. Учился он в другом, нормального призыва подразделении, но для пользы службы, которая бывает ведома лишь одному начальству, его перед отъездом на фронт перебросили в нашу роту. «Детку», как мы его прозвали, любили в роте: простой, бесхитростный, он мыслями был уже в Москве, в маленькой квартирке где то на Электрозаводской улице, у Преображенской заставы. Поглядывая на прожженный сапог, он улыбнулся и по-детски мечтательно сказал:

— Приду, скажу мамашке — давай портянки новые! Байковые! Вот ногам будет мягко ходить...

— Какие там крики? — прервал я Детку. — Похоже, драка.

Взбежав на пригорок, мы увидели темносерую выпуклую ленту асфальта. Невдалеке зеленели крашеные железные крыши Тарасовки. На околице шумела, пенилась толпа. Вздымался разноголосый гул, прорезаемый короткими пронзительными выкриками.

Посередине шоссе стояла грузовая машина с откинутыми бортами. Тяжелый брезент коробился, откинутый на передок, на верх кабины. Платформа была завалена мешками, боченками, ящиками. В богатстве этом копался, широко расставив ноги, богатырского вида парень, ростом не меньше нашего Детки, но здоровее, плотнее и шире в плечах.

Мы спустились с пригорка, подошли ближе.

Богатырь-парень подхватил, как ребенка, боченок, из днища которого, повидимому, от удара каблуком вылетела доска.

— Масло! — громовым голосом объявил он, и толпа, глядя на желтую выбоину в боченке, отозвалась:

— Ма-а-асло!

Передав кому-то на руки боченок, парень поднял джутовый, туго набитый куль. Он был доволен своей работой: улыбался, поводил широкими плечами. Ветер шевелил и зачесывал назад спадавшую на лоб прядку волос.

— Сахар! — шрапнелью лопнул над толпой крик парня.

— Са-а-ахар! — хлестал волнами у его ног стон многолюдного сборища.

Народ плотным массивом сбивался вокруг машины. Каждый норовил протиснуться поближе к маслу, сахару. Тарасовские бабы, как все подмосковные огородницы и молочницы, привыкшие к толкучке дачных поездов, сутолоке базара, были шустры, остры на язык.

— Все они, толстомордые, так-то... кусочек хлебца да вагон масла! Ишь чего он в машину наворотил...

— Кралю то свою, небось, кормить надо.

— У него, поди, их не одна, а три-четыре. Они ить, дьяволы, со старыми-то женами поразводилися. А новых... у каждого по полдюжине!

Юркий, как вьюн, мелкорослый человечек, по виду железнодорожник, поддержал бабий разговор:

— Кондуктора наши из Уфы приехали. Рассказывают набежало туда населения — два миллиона! И все жены этих... ответственных! Деньги, страшно поверить, гражданка, пачками в чемоданах везут. Цены в Уфе не-во-о-обра-зи-мые! Местному жителю стало не подступиться, ложись и с голоду помирай. Вот чего они в этой эвакуации понаделали.

Бабы заверещали:

— Давно бы надо распотрошить чемоданчики ихние.

— Взяться бы всем народом... везде бы поустраивать им вот такие остановки.

Железнодорожник — петушиным кукареком:

— Станция Березайка... вылезай-ка!

Шныркие, узко посаженные белые глазки его остановились на пожилом и тучном человеке в брезентовом дождевике и каракулевом картузе, стоявшем около машины.

— Вам, гражданин, до Уфы?

— Вы же знаете отлично, нет, не до Уфы. Еду в район Буя-Данилова. И продукты предназначаются не какой то там «крале», как вы изволили выразиться, а бригаде рабочих, отправленных от нашего треста на оборонительную стройку. Вот же, вот они, документы. Я уже показывал. И товарищ милиционер смотрел.

Над жестким воротником брезентового дождевика торчали круглые оттопыренные уши, дергалась пухлая щека, меченая белым рубчиком давнего, жиром заплывшего шрама. Глаза косились на тарасовского сельского милиционера, который безучастно, с ухмылкой, посматривал, как грабили машину, остановленную на большой дороге.

— Документы! — ненавидящим белым взглядом

посмотрел железнодорожник. — Видали мы твои документы! Ты сам их отпечатал. Тебе что... своя рука владыка! Директор треста! Печать то до се у тебя в кармане?

Перекатились смешки, одобряющие возгласы. Дождевик устало махнул рукой и, шевеля толстыми губами, отошел в сторону, сел на обочину шоссе. Внимание толпы целиком сосредоточилось на богатыре-парне, который очищал платформу грузовика.

— Консервы! — весело, широко осклабился парень и потянул по платформе ящик, до верху насыпанный плоскими баночками. Машину нагружали второпях, кидали товар в навал, не упаковывали.

Несколько банок упало на асфальт. Поднялась свалка, крики. Бабам не терпелось разживиться. Но устроители заставы, мытищенские железнодорожники и рабочие подлипкинского артиллерийского завода, сгружали продукты, намереваясь делить их в организованном порядке.

— Хоть одной баночкой попользоваться! — смеялась бабенка, пряча под фартук консервную банку. — Дележка начнется, нам ни фига не достанется. Деповские все заберут себе. Нам, бабы, надо свою заставу устанавливать. Поймали бы леща не хуже этого...

Юхнов, улыбавшийся всю дорогу, тут совсем развеселился. Мы стояли на травянистом холмике. Пилотка у Юхнова съехала на затылок, глянцем светился выпуклый лоб. Круглые медвежьи глазки маслянились, обтягивались веселыми лучистыми морщинками.

— Будет что то в Москве сегодня! Мы в аккурат попали! — толкнул он меня под бок и зло-весело заговорил: — Остервился народ, Михалыч! Война эта кое-кому боком выйдет. Мы не сгорим, не думай... Народ, он и горит да не сгорает! А вот они сгорят! Понимаешь теперь, почему они по всем Женевам кричали: — Мы против войны! Мы за мир длительный и

прочный! Чуяли, что в войне они не сумеют с народом справиться. Наутек пустились, с-с-сукины сыны!

Внезапно Юхнов предложил:

— Давай, Михалыч, заберем машину! Действуем...

Не дожидаясь согласия, он — крупный ростом, тяжелый на ходу — раздвинул тараторок-баб и врезался в массив толпы. Народ разглядывал его прожженную, испятнанную шинель, которая была неоспоримым доказательством, что он не наркоматский военный, а фронтовой. Военными наркоматчиками Москва кишела, их возненавидели заодно со всеми наркоматчиками. Как обрезанные, смолкли разговоры. В наступившей тишине Юхнов сказал:

— Мы приехали с фронта, из армии Рокоссовского. Из Москвы, с фабрики, мы должны везти противотанковые мины. Машину нам должны были дать вот здесь, в Болшеве, в инженерном училище. Но мы приехали, не нашли никого... пустые казармы. Машина нам необходима. Мы забираем эту.

Крики одобрения:

— Правильна-а!

— Пущай берет!

— А ну, посунься от машины... закрывай борта!

Юхнов хозяйски, с полным сознанием правоты дела, отворил дверцу кабинки.

Дождевик кинулся к нему:

— Товарищ, вы не имеете права. Продукты... ну, понимаю, толпа, стихия. При таком остром недостатке продовольствия возможны эксцессы. Однако, машина... она никак не относится к продовольствию. Машина трестовская, вот у шофера и путевка на нее.

Шофер, сидя на закрылке грузовика, курил огромную из газетной бумаги цыгарку. По его лихим улыбающимся глазам видно было, что сочувствует он толпе, а не хозяину.

— Не сопетите, гражданин, — холодно отрезал Юхнов. — Не хуже вашего понимаю, что машина трестовская. Да и продукты... тоже трестовские, разумеется. Вы примазались к трестовскому богатству, а теперь вас вежливо просят... отлепитесь!

Дождевик тряс студенистыми щеками:

— Это безобразие, товарищ! Кто примазался? К какому богатству? Вы думаете, что вы — военный, так вас помилуют за такие бесчинства? Когда то и я был военным... видите, на моем лице память от белой шашки... ордена имею...

— Начхать мне на твои ордена, вошь пузатая! — гаркнул Юхнов и подошел в упор к Дождевику. — Отъелся на народной шее, паразит проклятый! Придавить тебя, что-ли?...

Не вступись я, он хватанул бы директора кулаком-свинчаткой.

— Брось, Никола, — потянул я Юхнова, и он, увидев, что Детка с шофером заводят машину, отступился от Дождевика.

— Бывай здоров, товарищ орденоносец! — засмеялся в лицо ограбленному директору богатырь-парень, защелкивая борта теперь уже нашей машины.

Юхнов усаживался в кабинку, тяжело вминая пружины клеенчатого сидения. «В войне они не сумеют с народом справиться...» — крутолобый кержак вырывался на свободу. Ненависть Юхнова к приспешникам сталинского режима медвежьей силой вырывалась из нутра. Ненавидел он не головой, но всем телом, чревом, кишками. «Какая в нем твердость!» — подумал я, невольно любуясь решительностью повадки Юхнова. — «Добрячий командир из него на войне получится... если только он воевать захочет».

Детка оказался заправским шофером. В училище он проходил нормальный курс, не ускоренный: курсантов обучали и управлению автомобилем. Прав он

не имел, но в те дни их в Москве и не спрашивали. Машина и шоферские способности Детки нам крепко пригодились не только в памятный день 16-го октября, но и впоследствии на фронте.

Дождевик тяжело и хрипло вздохнул, когда мы все трое разместились в просторной кабине грузовика. Детка тронул рычаги. В серых — цвета усталой стали — глазах директора треста затеплилась простая и человеческая мольба:

— Товарищи, не оставаться же мне посреди дороги. Электричка не ходит. Доставьте хотя бы в Москву, до дому. Позвольте, я наверху в кузов сяду.

Не успел я ответить согласием, Юхнов хмыкнул:

— Нет, не позволим.

Детка тронул рычаги. К машине вдруг подбежала женщина. На руках у нее был сынишка лет трех-четырех в пушистой заячьей шапке. Девочка постарше, закутанная в белый полушалок, бежала и остановилась рядом с матерью.

— Товарищи бойцы! Не оставьте меня с детишками!..

Низенькая, но складная, веселая бабенка, не вынимая рук из-под фартука, где она прятала не одну банку консервов, нагнулась к испуганной бледной девочке:

— Светланка, ты тоже едешь? Папашка то где?

— Не знаю, — ответила девочка.

— Муж мой — писатель, — сказала женщина. — Поэт Борис Соснин. Может, слышали? Писательские семьи срочно эвакуируются в Татарию — в Чистополь, под Казань. Ночью мужа вызвали срочно в Москву. «Ну, если сегодня ехать, то я быстренько вернусь за вами...». А тут, видите — такое началось... Теперь звонит: — Бросай все, как есть, бери ребятишек, лови попутную машину и приезжай на Курский... Накидала я в чемодан, что под руки попало, побежала в поселко-

вый совет — сказать, что уезжаем, чтобы за домом присматривали... мебель, все таки, какая ни на есть, остается, библиотека. В поселковом совете пусто. Кинулась в милицию — ни души! Все наши начальники ночью сбежали, один милиционер — вот этот, что здесь стоит — на всю Тарасовку остался. Двери настеж, шкафы открыты, бумаги на столах разбросаны. Все как с ума посходили сегодня!.. Не оставьте меня, товарищи! Подбросьте до Курского.

На тонкое красивое лицо жены поэта легла желтая с прозеленью усталость. Только крылатились, как у украинской дивчины, полудужья густых бровей.

— Это наши, тарасовские, — сказала бабенка, подходя к кабинке. — Хорошие люди, вся деревня подтвердит.

Богатырь-парень разостлал по кузову брезент, устроил сидение. Принял из рук женщины детишек и помог ей самой взобраться. Потом, спрыгнув на землю, кинул ей несколько банок консервов:

— На дорогу!

Дождевик — плачуще:

— А я то как-же? Позвоните, по крайней мере, в Москве, что я нахожусь в беспомощном состоянии. Пожалуйста, вот телефон. Буква «Д», Миусы. Номер...

— Позвоним, — сказал я.

— Прошу вас, — угодливо, через силу, улыбнулся Дождевик. — Я директор московского треста «Союзплодоовощь». Когда-нибудь, при случае, и я окажу вам услугу.

— Директор «Союзплодоовощи»? — Медные глазки Юхнова позолотели, замигали в них желтые искорки смеха.

— Ну да... конечно же... я — директор «Союзплодоовощи»! Вы обо мне слыхали! Вот видите... мы, вероятно, знакомы даже.

Надавленные каракулевым картузом, оттопыренные уши директора порозовели от радостного волнения. Нервной усмешкой сморщились губы Юхнова. Из глаз, иных, полезла мохнатая свирепость. В последнем — сдерживаемом — негодовании он прошипел шерстяным голосом:

— Слыхал... слыхал... проваливай отсюда!

Детка нажал на педаль. Пулеметно загрохотала тронувшаяся машина.

— Он тебе, что, знакомый? — спросил я.

— Жу-улик! — разразился Юхнов. — Директор «Союзплодоовощи»... кто из московских художников не слыхал о нем! Видал, шрамами гордится, орденами. А в душе за свою задницу дрожит... привык к насиженному месту! Ты думаешь, они... такие вот... когда революцию делали, о России заботились, о народе? Наплевать им на Россию, только бы до власти дорваться. Только бы володеть и княжить... Директор «Союзплодоовощи»! На нашем брате-художнике наживался! Понимаешь, в его подчинении, кроме всяческих овощных совхозов, консервных фабрик, так же зеленные лавки, фруктовые магазины... словом, все, что относится к плодоовощи. Лет пять назад объявили поход за культурную торговлю. Этот фрукт решил художественно оформить свои магазины. Нанял для начала одного художника, моего приятеля. Тот подсчитал, какая работа, сколько стоит, написал проект договора. На пять тысяч рублей. Директор прочитал и спрашивает: «А если семь поставить, не много будет?» Приятель смекнул: — Наше дело, отвечает, такое, что точной оценке не поддается. Комиссия будет принимать работу, согласится и на семь. Подписали на семь тысяч. Полторы — в карман директора. Прнятель мой раздул кадило: в «Союзплодоовощи» магазинов много, работы хоть завались. Приятель ведет дело с этим мошенником, а работу дает нам. Прошло время, все магазины оформлены. Директор «Союзплодоово-

щи» вызывает приятеля: «Ты — художник, так придумай же еще что-нибудь в смысле оформления. У моей жены скоро день рождения, подарки, гости, большой расход... деньги нужны!» — Ка-акой жулик! Никуда он не в Буй-Данилов ехал — нагрузил машину да двинул в тыл, от войны подальше. А то ведь фронт... вот он, к Москве подходит!

Детка лихо вел машину по раскатанному глянцевитому асфальту. Задерганный мотор рычал. На шоссе — у Мытищ, у Северянина — кипели толпы. Как крысы с тонущего корабля, бежали из Москвы директора заводов, крупные советские чиновники, работники центрального аппарата, захватывая поезда и автомобили. Народ, не имеющий ни автомобилей, ни привилегий на проезд по железной дороге, перехватывал беглецов, избивал, устраивал им неожиданные остановки, станции «Березайка — вылезай-ка».

Промчавшись мимо сельско-хозяйственной выставки и студенческого городка, наша машина выкатила на площадь Ржевского вокзала. Тут я невольно зажмурился: в глазах пестрило от плакатов. Бумажная метель кружила на Мещанской улице.

На перекрестках, в ожидании зеленого сигнала, мы с любопытством разглядывали плакаты. Бросалось в глаза, что почти все художники изощрялись на исторические темы. На одном плакате танкист, поднявшийся из башенного люка, смотрел вдаль, приставив козырьком ладонь, а за ним подымалась величавая тень древне-русского богатыря, который точно так же осматривал степные просторы. Другой художник изобразил скачущего красноармейца-кавалериста, на которого любовно смотрит старый донской казак. Третий нарисовал картинками эволюцию русского оружия: от оглобельки Васьки Буслаева до современного автомата. Под рисунками — стишки:

Били мы врага копьем,
Били мы врага ружьем,
И теперь стальным оружием
Бьем врага, где обнаружим.

Теперь, когда немцы подошли к стенам Москвы, эти стишки звучали, как тонкая и ядовитая насмешка.

— А-а! вот это хорошо! — показал Юхнов на большой и острый, выразительный плакат, на котором стояла, вскинув руку, простоволосая седая женщина; надпись: «РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!». — Не глядя на подпись, узнаю: Ираклий Тоидзе, его работа. Помнишь, какие он дал иллюстрации к «Витязю в тигровой шкуре».

По тротуару, близ нашей машины, прошли двое молодых военных. На-ходу они тоже разглядывали плакаты. Послышалось, как один усмехнулся:

— Не знаешь, не то она тебе мать, не то — мачеха!

И пошли дальше, смеясь...

Бенгальские огни, пускаемые пропагандой, не отогревали сердец, замороженных от рождения. Прошлое не приходило на помощь настоящему. Мосты между ними были взорваны, сожжены. Долгие десятилетия большевики подрывали русскую историю, основы народной жизни. Если считать от «Великого Октября», и то между 1917 и 1941 гг. стоял 24-летний молодой человек, давно достигший совершеннолетия. Это был Иванушка, не помнящий родства. Родина ему была не мать, не мачеха — пустое место. Машина пропаганды работала без остановки, выпуская плакаты, воззвания, листовки, лозунги, афиши, обращения, призывы. Бумажным мусором, как помойку, заваливали пустоту души.

Нам не составляло труда подвезти жену Соснина: от Первой Мещанской рукой подать до Курского вокзала.

Клубы пара вырывались из широко распахнутых дверей Курской станции метрополитена. В молочно-белом пару толпа пассажиров выкатывалась эскалаторами прямо на асфальт и растекалась по привокзальной площади. «Букашки» — трамваи и троллейбусы, ходившие под буквой «Б» по Садовому кольцу — подвозили к приземистому зеленому вокзалу беженцев. Широкие ступени вокзала были завалены чемоданами, плетеными корзинами, узлами. Женщины, старухи, дети сидели кучками вдоль деревянного забора, тянувшегося от вокзала к станции метро. На щелеватом похилившемся заборе, прикрывавшем железнодорожные службы, шуршали пестрые лоскуты бумаги с присохшим на них клейстером, — обрывки все тех же плакатов, афишек, «Окон ТАСС».

Шагая через чемоданы, обходя нагромождения домашней рухляди, отправился я с Людмилой Сосниной на поиски ее мужа. В этот день среди беженцев было много московских писателей. В купоросно-синем крылатом плаще сидела, распустив черные волосы, усталая от страстей и любовей, худенькая и слабенькая поэтесса; муж ее, композитор, недавно погиб на фронте. Пробежал с чемоданчиком толстый критик. На рукаве у него была красная повязка: «Начальник эшелона».

— Кирпотин! Кирпотин! — крикнула Соснина. Он не отозвался. Кинув мне на руки девочку — в придачу к чемодану — она бросилась вслед за ним внутрь вокзала.

В толпе, пенившейся шляпами, кепками, зимними мохнатыми ушанками, беретами, шляпками женщин, ныряла фуражка военного коменданта, пробиравшегося к выходу на перрон. На него наседала молодая женщина в меховой шубке, перехваченной красной повязкой по рукаву:

— Товарищ, я буду вынуждена жаловаться пред-

седателю Моссовета. Вы же знаете, имеются указания — детей отправлять в первую очередь.

Начальница детского эшелона хваталась за комендантскую шинель, будто опасаясь, что его оторвет, закрутит и поглотит кипень вокзальной толкучки. Между тем, с другого бока на него напирал Кирпотин, прижимавший крохотный чемоданчик к груди, как ребенка.

— Товарищ, вы получили записку от замнаркома? Писателей приказано погрузить немедленно! Или приказ замнаркома вам не приказ?

Упоминание «замнаркома» не подействовало на коменданта. Кирпотин переменил тон. Конфиденциально — так, как один плут поверяет другому — он проворковал с улыбкой:

— Товарищ, вы думаете, что я не знаю? Я все знаю... у вас с ночи был заготовлен состав для писателей. Куда он делся?

Кирпотин был мастер на всякие плутни. Когда то он заворачивал делами в РАПП'е (Российской ассоциации пролетарских писателей) в компании с Л. Авербахом, В. Киршоном, расстрелянными за «вредительство в области идеологии и культуры». Но, ловкий и скользкий, он вывернулся, стал заворачивать делами и в новом Союзе писателей. Когда-то он был главарем того направления в критике, которое ныне отвергалось, как вульгарно-материалистическое. Он быстро перестроился: написал книгу «Наследие Пушкина и коммунизм», заостренную против вульгарного материализма. На вокзале 16-го октября он пускал в ход все плутовские подходы и выверты. Но и это не действовало на коменданта. Выведенный из терпения, комендант побагровел, остановился и, точно раскалывая полено, махнул руками:

— Нет и нет! Ни паровозов, ни вагонов... жалуйтесь хоть самому наркому!

Станционный сторож открыл широкую дверь на перрон. В раствор было видно, как из правительственного салона, окна которого были затянуты кремовыми шторами, выходили известные всей Москве сановники — цекисты в зеленых шубах и с каракулевыми воротниками, дипломаты в голубых шинелях с широкими серебряными погонами.

— Вот видите... — пробормотал комендант и быстро пошел навстречу.

Кирпотин тоже нырнул на перрон и, пожимая руку одному из дипломатов, присоединился к шествию.

Под сводами большой многооконной залы ожидания вдруг воцарилась тишина. Из черной раззявленной глотки радио-рупора посыпались стеклянно-звонкие удары клавишей — позывные московского радиовещания. Начальными тактами песни «Широка страна моя родная» предварялись важные правительственные сообщения.

— Товарищ Пронин будут выступать, — сказал старик-станционный сторож. — Два раза уже объявляли. — Задрав бородку, он заглядывал в пасть высоко подвешенного громкоговорителя.

В рупоре механическим грамофонным голосом заговорило:

— ... граждане, через четверть часа, в девять часов пятьдесят минут, перед микрофоном выступит председатель Московского совета товарищ Пронин.

Диктор смолк. Короткое мгновение держалась тишина. Люди стояли, подняв лица к высоким сводам, будто там шел по канату, балансировал над пропастью, бледный отчаявшийся циркач, и толпа чувствовала, что он вот-вот сорвется.

Тишина лопнула:

— Опять через четверть часа!

— Другой раз отлаживают... до кех же пор?

— Тебе-то што? Не до тебя он будет говорить, а

до народу. Ты за мальченкой бы лучше смотрела. Обмочился, не видишь!

— А я-то не народ, что-ли? Старый ты чорт! Ты сам, поди, под себя мочишься, а тоже попе-ерся! в икувацию!

— Вот выступит Пронин и скажет: — Товарищи, мы оставляем Москву... — Но знаешь, мне кажется есть большая правда... помнишь, у Максимилиана Волошина: «Умирать, так умирать с тобой, и с тобой, как Лазарь, встать из гроба».

— Интеллигентщина... Мистицизм... Э! Генька Фиш провожает свою черноглазую. Недурна она! Как ее... Таня Смолянская? И волосы — смоль! Э-э, как он пыжится рядом с ней... Фиш — афишируется!

— Нужда меня заставила, судобушка, экуироваться. Кабы не погнали, стал бы я по вокзалам хлюстаться? На своей печке подох бы, с места не тронулся. А пришли красные армейцы... всю деревню, хошь — не хошь, иди! Дошли до Москвы, сидим третью неделю. Харч, какой был, кончился, а без харчу — погибать!

— Так и так одна дорога! Слышишь, что говорят... сдают Москву.

Тут мы столкнулись с Сосниным. Кудрявый, взлохмаченный, он подбежал к жене, беспокойно расширяя круглые, воспаленные глаза под толстыми стеклами.

— Милочка, слышала... немцы в Можайске!

— Боря, вот ты... пропал и пропал, бросил одну с ребятишками, — потерянно заголосила Людмила. — Да... — спохватилась она. — Вы не знакомы?

Не будучи знаком лично, я давно любил Соснина, как поэта. В особенности, его поэму, в которой он воссоздал Москву времен царя Грозного, изобразил, точно маслом по холсту, фигуры народных зодчих — строителей собора Василия Блаженного.

— Господи, у меня сердце зашлось, — продолжала Людмила. — Вот объявили по радио — через двадцать

минут выступит Пронин. Ну, как объявит — начинается бой в Москве? Москву ведь ни за что не пожалеют! Баррикады, Боренька, ты видел... баррикады на улицах строят! Тут всех нас перебьют, на вокзале-то... На вокзале всегда — главный бой! Уж сидели бы мы лучше в Тарасовке...

Соснин нагнулся к девочке, поправил полушалок, затянул концы потуже. И весело оскалился, тряхнул кудрями:

— Кирпотин смылся! Прибежал, ухватил жену и на перрон, к какому-то эшелону. Второпях, пока хватал вещи, выпустил из рук маленький чемоданчик... с драгоценностями. Поминай, как звали! Под ноги, туда-сюда, нет чемоданчика, смылили!

— Кто же теперь нашим начальником? При писательском эшелоне?

— А никто! У военного коменданта не протолкаться. Обещает после обеда дать вагоны. Только, я думаю, Милочка, ты права — не поедем! Давай, подымайся, пойдем искать попутную машину... да домой, в Тарасовку!

— Где вам теперь найти попутную машину! — сказал я. — Мы сегодня по случаю обзавелись грузовичком... объездим по своим делам, управимся и наш парнишка-шофер отомчит вас опять в Тарасовку. Пошли к нашей машине.

На вокзальной площади кучился народ. Все ждали, что сейчас скажет председатель Моссовета. Нетерпеливые кидали взгляды на башенные часы. Большие, заостренные, как мечи, стрелки подходили к десяти. В назначенную минуту в рупоре захрипело, забулькало. Из шума, треска выделился равнодушный голос диктора:

— Внимание, внимание.

Ветровым шелестом пронеслось:

— Пронин! Пронин!

Но то был не Пронин. Диктор объявил:

— Передаем постановление Московского совета о подготовке к отопительному сезону.

Растерянность отразилась на лицах слушателей. Вместо трижды объявленного и дважды отложенного выступления председателя Моссовета начали читать какое-то давнее постановление, наугад выхваченное из первой подвернувшейся под руку папки. Некоторое время народ слушал глухое монотонное чтение. В тяжелой тишине выметнулись злые крики:

— Ищи ветра в поле!

— Куда там! Его в Ташкенте искать надо.

— Ихнему брату самолеты готовые держат в Тушине.

— Вот те и правители... Бросили народ — делай, как знаешь.

— Народ, гражданка, свое знает... Вы не слыхали, что на заводах деется? Я только что с Изолита, от Преображенской заставы. Ого-го!

На заводах высоко взметнулись волны народного возмущения. Поутру 16-го октября по заводам было объявлено, чтобы рабочие шли получать заработную плату вперед за два месяца. Никто еще не знал, что немцы в Можайске, но по объявлению почувствовали: плохи дела с Москвой. Каждому стало понятно: правительство не уверено, что удержат столицу. В создавшейся обстановке нечего было и думать об организованной эвакуации населения. Между тем, потеря квалифицированных заводских кадров была недопустима. Двухмесячный аванс решено было выдать затем, чтобы рабочие не оставались в Москве, под немца, а, имея на руках хоть какие-то деньги, могли выбираться своими средствами, кто как может. В расчет принималось, конечно, и то, что такая мера подогреет симпатии рабочего люда к правительству: аванс бросали, как подкуп, взятку.

Когда рабочие пришли в конторы получать зар-

плату, они нашли там только плачущих машинисток, картотетчиц, делопроизводителей. Директора, бухгалтеры, кассиры бежали. В партийных и профсоюзных комитетах — никого: брошены столы, шкафы, бумаги. При каждом заводе имелся ОРС — отдел рабочего снабжения. Верхушка, захватывая грузовики, опустошала орсовские продовольственные склады. Автомашины катили по Ярославскому шоссе, шоссе Энтузиастов (бывшей Владимирке), пробирались слободскими уличками на восточные окраины города. На заставах, установленных рабочими, потрошили чемоданы, находили пачки денег, перевязанные шпагатами, в банковской упаковке. Повсюду происходили сцены, подобные той, какую мы видели на Ярославском шоссе, у Тарасовки.

Волнение перекинулось от заводов на всю столицу. В громадном и сложном аппарате обломились зубья ведущей шестерни: машина застопорила. На тротуарах было черно — шевелились люди. Погрузив Сосниных, мы тронулись от вокзала по Садовой. Неподалеку, в сереньком свете дня возвышались стеклянные стены наркоматских зданий — земледелия и путей сообщения. Наркоматы по утрам всасывали тьму-тьмущую служащих, теперь там не работали, лепились в окна, кишели в вестибюлях, выбегали на улицу. Наэлектризованная толпа жадно ловила слухи. Публику, однако, сдерживало то, что ждали Пронина: выступит и объяснит, в чем дело, чего ждать, к чему приготовиться. В эту минуту народу надо было в кого-то верить, кому-то довериться: верили в Пронина, голову столицы. Но оказалось, что Пронина тоже... ищи ветра в поле! Накопившийся заряд разрядился. Трахнула молния.

На Садовой, рядом с Курской станцией метрополитэна, тускло блестели витрины большого «Продмага». За стеклами громоздились деревянные раскра-

шенные муляжи колбас, окороков, горки пустых конфетных коробок. Внутри шла небойкая торговля мелкой рыбешкой — снетками, яичным порошком, который выдавали по карточкам на «мясные» талоны. Наискось пересекая широкую улицу, к магазину бежали четверо молодых парней. Меловые лица, горящие глаза... — так бегут в штыковую атаку. Не добегая до тротуара, один развернулся и надорванным голосом крикнул:

— Громи!

Булыжник полетел в витрину. Посыпалось стекло. Повалились окорока и колбасы. Красный деревянный шар, изображавший головку сыра, упал на тротуар и, игрушечный, покатился по асфальту. Толпа дрогнула, обожженная внезапной и злой решимостью.

— А-а-а!

Точно сговорившись, сотня людей — бледных, искривленных криком — ворвалась в магазин. Продавщицы побежали вдоль прилавков, стиснулись в узкой двери. Широкозадая директорша, сбрасывая на ходу белый халат, нырнула по черному ходу. В безрассудной слепой ненависти народ колотил зеркальные простенки, опрокидывал бочки с протухшими снетками, хлюпал по рассолу, растекавшемуся лужей по плиткам клетчатого пола.

— А-а-а-а-а-а-а!

— А-а-а-а-а-а-а!

Возрастающим снежным комом катился крик по широкой улице, огибавшей кольцом Москву. Волны, как в наводнение, подымались, пенились, разливались перекатами по городу. На Тверской, Мясницкой, Покровке, Маросейке... хряпали удары, взлетали булыжники, кирпичи. Вспыхивали пожары, несло клубы черного дыма.

Для Юхнова все это было точно праздник. Еще в Тарасовке он развеселился, как подвыпивший. Дура-

чился всю дорогу. Увидит на шоссе толпу, которая грабит машину, — высунется из кабинки, помашет пилоткой. В толпе заметит скучного ограбленного трестовика — приставит к носу расшеперенную пятерню и вывалит язык, подразнится. Обнимая меня, орал в ухо:

— Михалыч, сколько лет мы с тобой знакомы? Десять, если не больше? Не позабыл еще нашу олонецкую сторонку? Ты, чорт, сибиряк, пень таежный, а мне-то она родная. Э-эх...

... Расплескалось в изумрудном плаче
Озеро олонецкое Лаче...

— Ты, Михалыч, не думай, я тоже знаю из стишков. На эти олонецкие озера я, может, двести сажен холста исписал...

Детка хрустел педалями. Отвалившись к дверце и ворочая круглыми, как картечины, глазами, Юхнов хрипло голосил песню. Ветер рвал слова песни, крутил в душе Юхнова пьяную, радостную метелицу.

По асфальтовому шоссе перебегали люди. Кое-кто тащил выхваченные пригоршнями из бочки селедки, — рассол сочился меж пальцами. Один, более удачливый, шел с непокрытой головой и оттопыренными карманами: в карманах белелись пачки масла, торчала коробка какао, под мышкой — бутылка вина, а кепка нагружена до верху рисом. Обнажая в улыбке зубы, он ответил на вопрос Юхнова:

— Из Селекта!

Детка повернул от Садовой налево — к Сретенке. Магазин «Селект» все годы, даже при свободной торговле, когда карточки были отменены, оставался на положении закрытого распределителя. По соседству с Лубянкой (НКВД) и Кузнецким мостом (Наркоминделом), магазин обслуживал избранную публику — наркомвнудельцев, дипломатов, коминтерновцев, лау-

реатов сталинской премии. Теперь народу выпала удача познакомиться с кладовыми «Селекта».

По Лубянской площади третий день не ходили трамваи. Улицы перегораживались баррикадами. Бойцы нестроевого рабочего батальона кололи пешнями асфальт и в открывшиеся песчаные дыры врывали толстые бревна — сваи. Бревенчатые рамы закладывали туго набитыми песком кулями. Бойцы-строители были одеты пестро — в шинелях, бушлатах, деревенских домотканных армяках. На одном торчала несуразно высокая папаха из рыжей телячьей шкуры. Он показывал на темные фигурки, бежавшие от Охотного ряда на взгорье Лубянской площади:

— Ванька, казаки скачут! Видал?

В сыром воздухе мокро хлопнул выстрел. Плескались крики:

— ы-ы-ы-ы! а-а-а-а!

Возле другой баррикады мужики стояли, сворачивали цыгарки и хохотали. Мальчишка в форме «ремесленника», обминая песок, топтался на желтом сыпучем навале и оделял бойцов табаком из продолговатой фунтовой пачки.

— Одну захватил, ей бо, одну! — божился он. — На Петровке в табачном... разбили подчистую. Там сигары были, этто да-а! Мне не досталось. Одна пачка! Кабы другую имел, отдал бы вам с полным удовольствием.

— Войско, говоришь, на Петровке? — спросил мужик.

— Истребительный батальон, — утвердительно кивнул мальчишка. — И, вытерев рукавом пухлые губы, вымазанные липкой патокой, добавил: — Я пошел, а то не позволяют в кучи собираться. Паникеров стреляют на месте.

Донесся цокот копыт, клокочущий конский храп, раскатистые и гневные окрики:

— Па-ачему толпа? Что здесь происходит?

Отряд автоматчиков. Наискось срезанные петлички показывали, что это бойцы особого — истребительного — батальона. Всадник в фуражке с голубым верхом и красным околышем, скакавший впереди, натянул поводья, приостановился. Привстав на стремена, из-за вскинутой конской морды, он посмотрел вниз по Кузнецкому мосту. Круто повернул и поскакал по Стретенке.

Нехорошее чувство подсказывало, что дикому и слепому разгулу, вызванному, конечно, внутренними причинами, предательством «руководящей» верхушки, помогают так же действовавшие в толпе немецкие агенты. На перекрестке, высунувшись из кабинки, я перекинулся словом с Сосниным — он стоял в кузове, темный лицом, со сдвинутыми бровями. Но после Лубянки, на Никольской улице, он вдруг захохотал и кулаками забарабанил по кабине. Крылатые брови Людмилы — потихоньку плакавшей — переломились и запрыгали от смеха. На балконе третьего этажа стояла полная растрепанная дама. У ее ног лежали ворохом книги, выметенные из комнаты. Она нагибалась, брала книгу и с силой раздирала. Клочки бумаги летели на прохожих, которые останавливались и, смеясь, задирали головы. Хлопали, падая, пустые переплеты. На красном коленкоре переплетов был оттиснут черным круголобый, с остренькой бородкой, силуэт Ленина...

Детка правил машиной не очень уверенно, однако, отчаянно. Не сбавляя скорости на поворотах, он делал бешеные виражи. На одном углу мы насилу ускользнули от встречного грузовика, — Детка завернул руль до отказа. На другом перекрестке чуть не изувечили старуху, — Детка притормозил так, что покрышки завизжали на изрытвленном асфальте.

— Тише, ты! Как-никак руководствуй машиной! — буркнул я.

Детка, выпрямляя машину, рванувшуюся на сторону, оскалился:

— Не могу руководствовать! Еле в руках держу... вырывается!

Зато мы скоро облетали Москву, побывали в инженерном управлении (Детка тем временем отвез Сосниных), отыскали фабричку. Она находилась в Кутузовской слободе. До войны производила картон, а теперь — противотанковые мины. Делами там вершил военпред, военный представитель, стариковатый капитан-сапер. На фабрике работали почти исключительно женщины, и даже у наружных дверей стояла, охраняя проходную, круглолицая деваха с винтовкой и в красноармейской стеганой телогрейке.

В крохотной застекленной клетушке, служившей военпреду кабинетом и спальней, стояли кровать, застланная плащпалаткой поверх одеяла, стол и в углу— покатая, сколоченная из досок горка, на которой были выставлены мины. Не входя, мы с Юхновым глядели на нехитрое убранство конторки, пока вахтер ходил с нашими документами к военпреду в цеха. В конце полутемного коридора, разгороженного на такие же клетушки, освещенного тусклой желтой лампочкой, поминутно открывалась и закрывалась дверь, — там, дальше, были цеха, оттуда несло приторно-сладковатым запахом смол, древесных стружек.

Вахтер толкнул изнутри дверь, скрипящую блоками и, придерживая ее рукой, пропустил военпреда вперед себя в коридор. Военпред увалисто подошел к нам, держа в руках наши документы. Крестьянский облик лежал на нем, на его простом лице с белесыми, выгоревшими от солнца усами. Прикрытые выпуклыми надбровными дугами, глубоко сидели умные, по-мужицки хитроватые глаза.

— Из Шестнадцатой армии?

Военпред недоверчиво сощурился.

— Из Шестнадцатой, товарищ капитан, — ответил я, различив на воротничке военпреда вкось прикрепленную зеленую фронтовую шпалу.

— Не капитан, военинженер третьего ранга, — поправил он. Бровь, похожая на пшеничный колос, поползла кверху и обнажила серый глаз, другой щурился, окруженный черствыми излучинками. — А что это я подпись не разберу на вашем документе?

— Подполковник Бурков подписал, начальник инженерного отдела штаба армии.

— А-а, помню, помню. Приезжал сюда. Такой низенький, чернявый.

— Простите, товарищ военинженер, вы его с кем-то путаете. Он, наоборот, такой, что я ему подмышку головой достану. И не черный, а блондин.

— Тьфу ты, чорт! И верно, спутал! Теперь припоминаю, припоминаю...

Открылся и другой глаз, излучинки сгладились. Отдал документы, коснулся рукой кончика уса, улыбнулся дружелюбно.

— Так что же вам... мины?

— Три тысячи, товарищ военинженер. Мы ездили в Хрустальный переулок, там нам обещали транспорт к вечеру, как только автобат из рейса вернется. Велели ехать сюда и заранее подготовить все для погрузки.

— А вы на них не надейтесь, — наставительно сказал военпред. — Обещать то они обещают, да ведь не вы одни, кому-нибудь другому тоже транспорт требуется. Надо было одному из вас там остаться и не слезать с них, — машины придут, сразу захватывать. Вас трое? Пусть один возвращается в Хрустальный, один остается здесь — готовить материал к погрузке, а третий... вы на машине? вот хорошо!.. третий сгоняет за капсюлями для мин. Капсюли у нас в другом месте. Я сейчас ордер напишу.

Детка поехал за капсюлями. Юхнов — в Хрустальный переулок. Я остался на фабрике. Военпред провел меня в свою конторку и показал образцы противотанковых мин, которые вырабатывала картонная фабрика.

— Б-5, бумажная пятикилограмовая, — сказал он, передавая мне в руки круглую картонную коробку, пропитанную водонепроницаемой смолистой смесью. Нутро коробки, напоминавшей многократно увеличенную аптечную облатку, было залито плавленым толом.

Военпред был наблюдателен. Тотчас заметил, что мина Б-5 не произвела на меня впечатление.

— Не нравится?

— Громоздкая, товарищ военинженер. Иногда приходится, знаете ли, минировать под обстрелом, особенно закапывать некогда. Отодрал пласт дерна, сунул под него мину и дальше, — мина должна быть плоская. Такую Б-5 не вдруг подсунешь, а и подсунешь — останется бугор, издалека видать, что мина. Нет маскировки, скрытности. В переноске неудобная, ручек нет, таскай в обхват. Капсюльное отверстие одно, второго — потайного капсюля не вставить, — немец подползет, разминирует ее в два счета. Вы простите, товарищ военинженер, может, я не имею права наводить такую критику?

— Нет, вы молодец! — засмеялся военпред. — Дело знаете. Это я люблю. Немецкую Т-V видали? Плоская, с ручками, вставляй хоть три капсюля — сверху, в ребро и с донышка. Хороша? Ну, чего губы тянете, признавайтесь!

— Очень уж тяжела... Капсюль такая бабаха медная... Ни к чему!

— А я скажу... хороша! — оживился военпред. — Недостатки есть, но все-таки мина как мина. Не наша кустарщина! Взгляните на эту уродину. ЦМ, так называемая «цилиндрическая мина».

Подставив ладонь, я принял обрубок чугунной трубы, запаянной на концах и так же залитой плавленым взрывчатым веществом. История цилиндрической мины была курьезна: на одном из московских заводов обнаружили большой запас труб, приготовленных для водопровода и канализации. Пустили трубы в дело — родился новый тип мины. Цилиндрическая мина была мало действенна и крайне неудобна в обращении.

— Насчет действия, куда ни шло, — сказал военпред. — Важно то, что цилиндрическую мину будут выпускать, пока не кончатся на заводе трубы. Кончатся трубы, попадется другой случайный материал, начнут лепить другой тип мины. На фронте саперам — путаница. Курсанты не в счет — народ грамотный, быстро освоитесь с новой миной. А рядовой сапер? Дорого нам обойдется кустарщина.

Инженерные войска Красной армии в начале войны были вооружены убого. В сравнении с нами немцы были богачи. Например, они имели стандартные комплекты полевых укреплений. Как только танки пробивали брешь и пехота захватывала позицию, подбрасывались каркасы огневых точек, готовые колья для проволочных заграждений, большей частью железные, прилагались даже изготовленные фабричным способом таблички: «Форзихт — минен», «Осторожно — мины». Немецкие мины были сделаны не из случайного материала, отличались замысловатостью, иногда излишней, и большой убойной силой, широким радиусом действия. Шрапнельная пехотная выбрасывала от земли металлический, начиненный шрапнелью стакан, который рвался в воздухе на уровне груди, шрапнель ранила бойцов на значительном расстоянии; капсюли эта мина имела трех сортов — нажимной, натяжной и терочного действия. Каждый немец имел малую лопатку, которая при надобности могла употребляться, как мотыга; носилась она в черном чехле великолепной ко-

жи, а в нашей армии... Никаких готовых комплектов для полевой фортификации. Нехватка малых лопат — бойцы гибли от того, что нечем было окапываться на поле боя. Подрывники нуждались в таких пустяках, как обжимы. Мины ЦМ и Б-5 были символами нашего убожества.

Встретившись с человеком, близко стоявшим к производству войскового инженерного оборудования, и, видать, неглупым, я осмелился спросить:

— Почему же такая кустарщина в войсковой инженерии? Ведь теперь, при обороне, инженерные войска — фортификаторы, подрывники, минеры — имееют значение первостепенное, может быть, даже решающее.

Военпред не ответил. Он присел на кровать и молча, с напряженно собранным лицом, начал свертывать папироску. На кровати поверх одеяла была накинута плащпалатка, побывавшая под дождями и утратившая яркость зеленой окраски.

— На каком фронте воевали, товарищ военинженер?

— А вы откуда знаете, что воевал?

— Фронтовика всегда отличишь... Вот и плащпалатка у вас поношенная.

— На Северо-Западном направлении. В Новгороде получил тяжелое ранение. Вышел из госпиталя, влип в военпреды. Истинно влип, как кур во щи. Ведь я техник-строитель, в Литве на рубеже работал, а теперь вот попал на фабрику.

Помолчал, затянулся папиросой. Опять недоверчиво сощурился на меня. Набрал в свою высоко поднятую грудь табачного дыма, и, выпуская его, сказал со вздохом:

— Да-а... Литва-Литва... В Литве нас война накрыла.

Недоверие его таяло, как струйка табачного ды-

ма, запутавшаяся под навесом белесых усов. Воспоминания первых дней войны нахлынули на военпреда.

— Были денечки! Ведь я и под Иелгавой участвовал...

— Второй раз про Иелгаву слышу.. Бой на кладбище?

— Двухдневный бой!

Военпред оживился. Брови взлетели, он как-то смешно замигал, повидимому, разгоняя ударами ресниц щекотку, возникшую в углах глаз.

— По случайности попал я в Иелгаву... Наш уэнес[1] строил оборонительный рубеж на границе, на берегу Немана, там, где он переходит в Восточную Пруссию. В субботу 21 июня меня командировали в Паневеж. В лесу около Паневежа уже месяц... пожалуй, даже больше месяца... находился на полевом КП[2] штаб ПрибОВО,[3] проще говоря, штаб Северо-Западного направления, потому что наши войска стояли на боевой ноге и все мы ждали, что вот-вот выступим на территорию Германии. Побывал я в Паневеже, возвращаюсь обратно, и вот война! Не мы выступили на ихнюю территорию, а они — на нашу, такая заварилась каша. Нечего и думать искать уэнес, там, где мы стояли, уже немцы. Всякая связь потеряна. А что то делать надо. Правда, я не строевой, давно в запасе, от гражданской войны за винтовочку не держался. Ну,

---

[1] УНС — Управление Начальника Строительства — название полувоенных организаций, которые были созданы перед войной для возведения оборонительных сооружений на новых границах в Литве, Западной Белоруссии и Украине. Командный состав в УНС-ах был военный, рабочая сила — колхозники.

[2] КП — командный пункт.

[3] ПрибОВО — Прибалтийский Особый Военный Округ. Штаб Округа располагался в Риге, но в апреле 1941 года переведен на фронтовое положение в леса Паневежа.

а все-таки, думаю, как же так... немцы! Прибился к одному полку, даже номера не знаю, кажется, 830-й дивизии. Дивизия боевая! Народ молодой, бойцы отборные. Возле Иелгавы есть большое кладбище, там дивизия и залегла. В проходах между могилами, — представляете, среди мрамора и гранита, — вырыли стрелковые ячейки. Круговую оборону заняли. Держались истинно геройски. Кровью истекли, а не сдали позицию. Наша авиация, надо прямо сказать, подкачала, не прикрыла с воздуха. Понятное дело — «Юнкерсы» задавили нас. Мрамор и гранит с землей смешали. Мало кто с этого кладбища выбрался. Меня и пуля царапнула там, и оглушило бомбой, землей засыпало. Очнулся, кругом мертвяки лежат, из могил гробы взрывами повыворачивало, белые кости торчат. Тяжело раненые стонут, дух отдают. Немецкие солдаты ходят — грабят и докалывают. Притаился я, а ночью выбрался. Лесами, овражками — попал к своим. Тогда Одиннадцатая армия из окружения лесами выходила, — на нее и наткнулся.

Военпред затянулся, обжигая губы, и притушил догоревшую папиросу о подошву сапога. Поднялся с кровати, хрустнув простуженными коленями.

— Да-а... Войну-то мы собирались вести на чужой территории, а пришлось вот оборонять Москву... Так, какие-же вам дать мины? Вы просите ЯМ-5? Три тысячи я не наберу. Наша фабрика выпускает, в основном, Б-5, картонные. ЯМ-5 вырабатываем сверх положенного, в деревообделочном цеху.

— ЯМ-5 побольше, сколько наберете, — попросил я.

ЯМ-5, ящик минный пятикилограммовый, — плоский, продолговатый, сколоченный из досок, — был лучшим типом противотанковой мины в том потоке кустарщины, самодельщины, которым наводнялись наши войска.

— Сколько наберу, все ваше, — пообещал военпред и пошел распорядиться о подготовке к погрузке.

«Приятный», — подумал я, глядя вслед военпреду, на его увалистую походку, несколько сгорбленные покатые плечи. Так ходят за плугом... На-ходу, за стеклянной перегородкой, он оглянулся и кивнул мне, — мелькнули пучки усов, раздувавшихся на простом мужицком лице. В деревнях встречаются служивые солдаты, которые бреют щеки до старости, давая волю лишь усам. Почему-то таким мне представился отец военпреда. Он был несомненно сын пахаря и солдата.

Несколько минут спустя присланная военпредом работница повела меня в склад. На платформе мы распахнули брезенты. Приступили к укладке мин, отдельными партиями для каждого грузовика. Помогавшие мне работницы стояли цепочкой от темных глубин склада до платформы. В цехах гудело, пыхало, взвизгивало, скрежетало, — и там шла налаженная работа. Как будто фабрички и не коснулись события, какие происходили в этот день в Москве.

— Директор-то ваш где? — спросил я.

Работницы переглянулись, смеясь.

— А мы его арестовали.

— Как это... вы?

— Вот так... мы! Женщины, которые тут, при складе.

Говорила работница, укладывавшая на платформе мины. Она приостановилась и разогнула спину. Блеснула смеющимися глазами:

— Которые в цехах работают, те, что видят? Взаперти! А нам и двор, и улица, как на картине. Мы первые заметили: подъехала машина, остановилась в переулке у забора. Директор с кассиром — в контору: деньги вынимать из кассы. Вчера-бы вынули, да, верно, не гадали, что наутро такие дела по Москве начнутся. На машине — вещишки, женушки, детишки.

Парамонов... секретарь парткома... сидел-сидел, да тоже вслед кассиру: испугался, как бы его деньгами не обошли. Тут мы их и забастовали! Как они вынесли чемодан с денежками к машине — подняли крик, окружили. Они, понятно, отбиваться, ну, наши из цехов повыскакивали. В деревообделочном — столяра, хоть и старики, а все мужчины. Ухватили бегунов, поволокли в контору. А тут и наш Иван Тимофеевич, военпред, подъехал, — он эту ночь ночевал в Москве. Позвонил, куда надо, — забрали, конечно, голубчиков.

Рассказчица была кругленькая, как куропатка, в синем халате, туго перетянутом кожаным ремешком, — бойчее других и моложе. Тонкий румянец красил ее лицо.

— Не оберешься смеху! Парамонова тянут, и коленкой, коленкой под задницу. Кричат: — На фронт его! На фронт отправить! Потеха...

— Хороша потеха! — холодновато сказала пожилая работница с отечными желтыми щеками. — Ты думаешь, их мало, Парамоновых? На каждой фабрике есть свой секретарь парткома. Все дымом пустят, доведут до точки. Плакать надо, а тебе все хаханьки.

К платформе подошел военпред. В пониклых прокуренных усах таилась улыбка, вызванная донесшимся до него обрывком разговора. В события 16 октября он не вмешивался: передал арестованных приехавшему из Наркомвнудела представителю и тем положил конец делу. Не произносил речей, не агитировал. Он и не мастер был на речи, и не нужны они были народу. Характерно, что и представители НКВД ограничивались только изъятием арестованных: не начинали следствия о «беспорядках», не приступали к рабочим с допросами. На улицах истребительные отряды свирепо разгоняли сборища, но на заводах наркомвнудельцы действовали тихо, осторожно, не раздражая народ, как бы предоставляя события самим себе. Исход

дня показал, что это была наилучшая тактика. По заводам и фабрикам сама собою восстанавливалась работа. Народ чутьем понял, что в войне ему не на кого надеяться, — только на самого себя. Простые люди почувствовали, что если они не спасут Россию, — ее не спасет никто. Повсюду без агитации — без парткомщиков, без профсоюзников — приступали к работе.

— ЯМ-5 все выбрали? Подсчитали? — спросил военпред.

— Все, товарищ военинженер, — ответил я. — Восемьсот штук с небольшим.

— Это уже кое-что... Вы не обедали? Пойдемте.

Столовая помещалась в соседнем здании на втором этаже. В комнате для «итээров», инженерно-технических работников, отделенной тесовой перегородкой, стояли квадратные столики, в отличие от длинных и грубых столов общей обеденной залы. Топорщилась пружинами ветхая кушетка. Военпред бросил фуражку на рогач вешалки и повалился на кушетку, ударяя кулаком по бунтующейся пружине.

— Ну, так как оно там у вас, под Волоколамском? Рассказывайте.

Под пшеничными бровями засветилась голубоватая белизна.

— Так-же, как и тут у вас, в Москве.

Военпред улыбнулся и легонько похлопал ладонью по валику кушетки.

— Тогда, значит, все в порядке.

— Ничего себе, порядок! — не удержался я. — Это в Москве то сегодня?

— А что сегодня? — притворился военпред. Веерочком собрались в углах глаз хитроватые морщинки. — Ничего, работаем...

— Да ведь на улицах почти бунты. Утром и у вас на фабрике...

— Пустяки-и! Поверьте моему слову, пустяки.

Только теперь-то и начнется настоящая работа. Бунты... это же было-бы смерти подобно. Кому это выгодно? Кто, вы думаете, сеет сегодня панику?

— А вот... Парамонов... мне ваши работницы рассказывали.

— Положим... Но и немецкие агенты! Паникеров уничтожать на месте. Такой дан приказ — расстреливать на улице, на тротуаре. И я подписываюсь — правильно!

— Правильно-то оно правильно, да ведь народ... всех не расстреляешь. На Ламе мне пришлось видеть бойцов — бредут и бредут. Без шапок, шинели нараспашку. Винтовку редко-редко у кого увидишь — побросали. А прислушаться, что говорят: — Народ разве удержишь? Народ удержать нельзя... Вот что говорят!

Желтоватые остистые брови военпреда сошлись вкрутую, лицо окрасилось багрянцем, подпухло. Он поставил ладонь ребром и рубанул по красненьким цветочкам на обивке валика.

— Нельзя! Народ не удержишь, если он сам себя не удержит. Народ, это такая штука с подковыркой... не поймешь в нем, что к чему. На вид, в Москве сегодня плохо дело: к великому беспорядку. А я даю голову на отсеченье — наоборот, к порядку.

Над крышей столовой промахнул самолет. Военпред откинулся и посмотрел в окно, прислушался, как убывает рев удаляющихся моторов.

— Пешка, — сказал он и уставился в потолок, словно еще ждал самолета. — Хорошая машина. Одна пошла. Должно быть, на разведку.

Помолчал. Усмехнулся каким-то своим мыслям. Накрутил на палец ус и дернул слегка.

— Пешка... Полетает-полетает, высмотрит, что надо. Под брюхом у нее фото-аппарат пристроен, лен-

та движется. На фотографии видать, как на ладони: где немцы накапливаются, откуда ждать удара. А разведка-то, может, другая нужна... не на той стороне, а на этой, в своем народе. Бес его знает, к порядку оно или к беспорядку? К победе или плохому концу?

— Такой машины не придумано, чтобы в душе у народа высматривать, — сказал я. — Темная душа, скрытная. Народ безмолвствует — верно это на все времена, и для семнадцатого века, и для двадцатого. Безмолвствует... и никто не знает, о чем он думает.

Наблюдательный остроглазый военпред прищурился. Наш разговор поворачивался такой стороной, которая не поддавалась ни его, ни моей зоркости. Однако, по тому, как подрагивали его усы и барабанили пальцы по кушетке, я заметил, что военпреду было интересно продолжать беседу. Тем более, что в столовую мы опоздали — повариха подтапливала плиту, разогревала остатки обеда.

— А ни о чем не думает, — сказал военпред почему-то весело. — Не знаю, какого рода вы, а я — крестьянского. О чем думал мой отец? Весной, к примеру, выйдет в поле, возьмет комочек земли, разотрет в ладонях: — Подоспела землица, пора пахать. Народу одна дума: пахать, волочить, сеять... Политикой некогда заниматься. Политика, лозунги, призывы, пропаганда — все это народу ноль без палочки. Пропаганда скользит по поверхности, не достает до дна. Дно-то у нашего народа глубокое, большая толща. Наверху волны бушуют, набегают одна на другую, сталкиваются и разбиваются... Идеи, мысли, течения. А внизу «мысля» простая: в мирное время — работай, в военное — воюй.

— Насчет «воюй»... это как сказать! Не очень! — возразил я. — Вы спрашивали, как оно у нас там, под Волоколамском? Простите, отвечу прямо: разброд! форменный разброд! Какая, к чорту, победа!

— Не говорите так, не говорите. Ничего неведомо и никакой разведки произвести нельзя.

Пропасть лежала между партией и военпредом, членом партии. Военпред, конечно, изучал и «Краткий курс истории ВКП(б)», и «Вопросы ленинизма» Сталина, имел тетрадку с конспектами, выступал на семинарах и теоретических конференциях, но... все это была поверхность, вершки. Корнями он держался в народной толще и потому, сам того не сознавая, думал не так, как предписывали марксистские тезисы. В представлении марксистов народ не что иное, как известное количество рабочих рук, контингент людей, принадлежащих к определенным, классифицированным и тарифицированным профессиям. Двести миллионов людей, населяющих пространства от Белого моря до Черного, от Пинских болот до Чукотской тундры, не рассматривались большевиками иначе, как резервуар людской силы, необходимой для выполнения пятилетних планов. Но имелись и в партии люди, которые были ей органически чужды. Они питались глубинными соками, прикасались к живому началу — народной душе. В октябре 1941 года они почувствовали, что спасение России придет не от Сталина, не от большевизма, — от народа. Все зависело от одного: насколько глубоко вошли в толщу народа яды большевизма; насколько исказилась под влиянием большевизма национальная сущность народа; насколько ослабли в народе те психологические рефлексы, которые вырабатывались в нем за тысячелетнюю его историю. Не ослабли, найдется народ в последнюю минуту, обретет сознание, произойдет в народе внезапная реакция, — спасена Россия! Нет, — пропала!

— Заждались, — сказала подавальщица, неся на деревянном подносе тарелки, в которых плескалась заправленная капустой водица. — Куда вам поставить? За какой столик сядете?

— Сюда, к окошку, — поднялся военпред.

За переплетом рамы виднелась полоса Можайского шоссе, дома Кутузовской слободы и громадные серые Триумфальные ворота, сооруженные в честь героев Отечественной войны 1812 года. По шоссе — к Москве и к Филям, деревне, примыкавшей вплотную к слободе — катили грузовики, легковушки. В потоке прикрытых брезентом газиков, остроносых, забрызганных грязью эмок попадались тупорылые осадистые многоместные машины «ЗИС-101» новой модели. На Можайском шоссе, у Барвихи и Жуковки, в те дни располагался штаб Западного фронта.

Военпред, собирая ложкой капустные лепестки, прилипшие к щербатому краю тарелки, сказал:

— Жуков или, скажем, наш командующий, Рокоссовский, вы думаете они знают, чем все это кончится? Ничего не знают! На Ламе какой рубеж построили — оставили. Теперь наспех строят узел обороны в Истре, на озерах. А я так думаю... если в народе, в сердце солдата не воздвигнута позиция, то на земле хоть какую строй, крепкую — распрокрепкую, — не поможет!

— Странно вы рассуждаете, товарищ военинженер! Отступать дальше некуда, докатились до точки, до самой Москвы. А в народе... когда же она, эта позиция, воздвигнется?

— Воздвигнется, непременно воздвигнется, — убежденно сказал военпред. — Докатились до точки... должно было докатиться! А, может, сегодня как-раз и воздвигнется! Не верю, и ни за что не поверю, чтобы народ так и оставил войну, поддался бы немцу. Наша нация... она какая? Мы-же отвека солдаты! Дед мой на Турецкую ходил, на Шипку лазил. Отец германскую отвоевал, под Эрзерумом сражался, полный бант крестов имеет. Народ военный. Нас голыми руками не бери — уколешься.

Из-под выпуклых надбровных дуг он смотрел за

окно на Триумфальные ворота. Катили машины на фронт и с фронта. Каменные скрещенные флаги 1812 года осеняли Можайское шоссе, опять ставшее фронтовой дорогой.

Приготовив к погрузке мины, я по совету военпреда — как старший группы — отправился помогать Юхнову добывать машины. Хрустальный переулок, где помещалось Главное инженерное управление Красной армии, был запружен грузовиками, легковушками, мотоциклетами. Из полутьмы ворот — длинного сводчатого туннеля — выбегали офицеры связи, разъезжавшиеся отсюда во все концы трехтысячеверстного фронта. В кабинете ОД — оперативного дежурного — я увидел командиров в полушубках с белыми пушистыми воротниками, прибывших с Северного фронта. Капитан в драной-предраной шинели, только что прилетевший с юга, рассказывал, что утром сегодня противник овладел последними кварталами Одессы. Другой передавал, что завтра-послезавтра следует ожидать падения Таганрога.

— Товарищи курсанты, — невольно нахмурился Оперативный, когда мы с Юхновым подошли к столу, — вам человеческим языком было сказано: транспорт под ваше хозяйство получите вечером. Что вы опять пришли? Беспокоитесь? А чего? Не беспокойтесь, генерал-майор Котляр приказал для Шестнадцатой армии отгрузить в первую очередь. Идите, гуляйте, смотрите Москву... Да вы москвичи?! Э-эх вы! К женам, к женам ступайте! Штыковым боем подзаймитесь с ними! Отпускаю вас до восьми вечера.

Оперативный с чувством ударил в ладонь кулаком и ухмыльнулся. Юхнов в тон шутке откозырял:

— Есть заняться штыковым боем! Незадача только... моя жена в эвакуацию уехала. А твоя родня, Коряков?

Юхнов еще утром, пока я толкался на Курском вокзале, разузнал все московские новости. Наменял гривенников и влез в телефонную будку на полчаса. Обзвонил всех знакомых и дознался, что жена эвакуировалась в Тифлис, куда уехали Кончаловские и многие другие московские художники.

Мне же не посчастливилось: сколько я ни звонил — из уличных автоматов и от военпреда — никто не отвечал. Только в одном месте подошла к телефону старушка, прошамкала что-то невразумительное. Даша Лычкова, студентка московского университета, девушка, которая мне была, как сестра, давно собиралась с университетом в эвакуацию, в Ашхабад. Между тем, старушка передала, что она вовсе никуда не уехала, а поступила в госпиталь, — в какой именно госпиталь, старушка не знала. «Миша, вы позвоните вечером, Дашуня вам будет очень рада, а у меня на кухне молоко горит», — прокричала старуха, и я в сердцах, с замороченной головой, повесил трубку.

Отпуск до восьми вечера... куда идти? Возвращаться на картонную фабрику? Незачем, достаточно позвонить и сказать, когда пригоним машины. Юхнов предложил:

— На Кузнецком мосту — мастерская Всекохудожника. Пойдем туда. Наверняка застанем кого-нибудь из приятелей.

Хрустальный переулок был в центре Ильинки. Квартал этот мало изменился после революции, его почти не перестраивали. Как и прежде, стояли здания бывших банковских контор, толстые сплошные стены товарных складов. Белые облупленные львы караулили подъезды, старинные ворота. Богатейший квартал, московское Сити. К кованным шиповатым воротам воображение подставляло сторожей в пахучих жарких овчинах, к подъездам — рысаков, запряженных в легковые санки, купцов в просторных бородах и поддев-

ках. Из дали минувших лет пахнуло особым воздухом Ильинки, смесью запахов, сочившихся из складских помещений, в которых хранились ивановские и тверские ситцы, восточные пряности, цветные смолы и москательные специи, бесценные древесные породы, туркменская каракульча. Неисчислимыми богатствами ворочала в старину Ильинка! Немеркнущее золото кремлевских башенных орлов сияло над нею, и была она вещественным воплощением русской силы и русской гордости.

Картина, которую создавало воображение, была навеяна полотнами старых художников. Ни мне, сибиряку, ни Юхнову старая Москва была неведома. Юхнов вырос на севере, в староверческом Каргополе, выбрался отуда в двадцатом году, когда Москва кишела мешочниками, беспризорниками, кожаными комиссарскими тужурками и совслужащими в потертых пальтишечках. Ходил он в лохматой волчьей куртке и под выпуклым лбом вынашивал лохматые мысли о жизни, искусстве. Учился во Вхутемасе, Высших художественно-технических мастерских, бывшей Школе живописи, ваяния и зодчества. Новая эпоха изгоняла такие слова, как «ваяние», «зодчество» — в них чудилось колдовство, ворожба, идеалистическая зараза. Не говорили: «Н. Н. пишет картину»,—нет, «делает» картину. Делать картины, делать книги... художники, поэты стояли в шеренге каменщиков, ткачей, штукатуров — строителей социализма. Поэты стыдились называться поэтами, и наиболее талантливый из них, изо дня в день рифмуя партийные лозунги, гордился: «Я — ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный». Круглыми глазками Юхнов всверливался в кипень новой жизни, чутье подсказывало, что все это — пена, выплывшие наверх пустяки. Ниспровергнув все на свете, ниспровергатели приближались к последнему ниспровержению — самих себя. Так случилось с поэтом-ассенизатором: он

ставил «nihil» надо всем и, наконец, поставил «nihil» и над собственной жизнью — «точку пули в своем конце». Когда-то должна была покончить самоубийством и вся новая — ленинско-сталинская — эпоха.

Юхнов не прилепился к футуристам: не строил абстрактных деревянных конструкций à la Татлин, не клеил на полотна клочки шерсти, тряпочки и ржавые подковы. Не пристал и к ахровцам: не соблазнялся делегатками в красных платочках, ни матросами в черных бушлатах, опутанных пулеметными лентами. Душой он прирос к олонецким изумрудным озерам, к нерубленой синеве лесов — колыбели детства. Былинным эпосом веяло и от картин Юхнова. Леса так леса — темные от земли до неба; озеро — как море, покрытое белыми гребешками; солнце рядит в золото сыпучие снега. Леса живут непрестанным и медленным круговоротом: из поверженных полусгнивших стволов выбиваются новые поколения, могила одних служит другим колыбелью. Так жили и люди в олонецкой стороне. Юхнов написал картину «Отец и сын» — оба крепкие, как лесные корни. Сын был бородат, как отец, имел такие же тяжелые и строгие глаза, будто выточенные из черного камня. Художник давал почувствовать: сын, хоть убей его, не отступится от отцовской веры, передающейся из сердца в сердце, из века в век — целое тысячелетие. Критика, признавая формальные достоинства картины, охаивала ее «мировоззренчески», клеймила автора, так непростительно затянувшего «идейную перестройку». Комиссия по закупке картин для музеев систематически отклоняла полотна Юхнова. Он вынужден был тратить жизнь на магазинные рекламы, работать на... директора «Союзплодоовощи».

Третьяковская галлерея, не говоря уже о провинциальных музеях, заполнялась портретами Сталина и других окружавших его полубогов. Предприимчивые портретисты богатели, получали ордена, строили пыш-

ные дачи. Так сделал карьеру Александр Герасимов. Не более десяти лет назад он приходил в продранном пиджачишке в столовую Товарищества художников и занимал трешницу на обед: под будущие гонорары. В тридцатом году ему пришла идея: писать вождей. Написал картину — «Сталин на трибуне XVI партсъезда». Пошел в гору. Теперь он делал только портреты Сталина, иногда — в придачу — портрет сталинской фаворитки, одетой в кружевные пачки и приподнявшейся на пуанты. Александр Герасимов стал «Народным художником СССР», «лауреатом сталинской премии»... миллионы в банке, повара и лакеи, четыре автомобиля.

Иной раз с портретами вождей происходили забавные казусы. Художник Налбандян написал портрет Лазаря Кагановича, наркома железнодорожного транспорта. Не с натуры — по фотографической карточке. Притащив холст в приемную наркома, художник попросил Кагановича, проходившего мимо, взглянуть на портрет и черкнуть на листке из блок-нота: «Не возражаю, чтобы работа тов. Налбандяна была помещена в Третьяковскую галлерею». Но портрет был написан плохо. Критик Осип Бескин, председатель закупочной комиссии, разошелся: анатомические детали не выверены, освещение взято неверно, перспектива искажена... не годится даже для провинциального рабочего клуба, не то, что для Третьяковки. Тогда-то Налбандян и объявил свой козырь. Положив на стол листок из именного блок-нота наркома, он спросил не без ехидства:

— Лазарь Моисеевич, значит, меньше вашего понимает в искуссстве?

Конфуз, полный конфуз! Критики, не сходя с места, перестроились: в портрете нашли несуществующие достоинства, Налбандяна расхвалили, как растущего, чрезвычайно талантливого художника. Налбандян, как и Герасимов, разбогател, полез на верхушку.

В Москве тем временем жили и работали живописцы, которых не влекла верхушка, — их очаровывали глубины. Был один из них — с дарованием гения и суровостью монаха-чернеца. Быть может, в мировой современной живописи нет другого такого мастера — по совершенству рисунка, чувству формы и, главное, по тому внутреннему зрению, которое только и отличает великого художника от посредственности. Живописец этот не мастерил портретов вождей — он писал Русь. Не украшали его орденами, не богател он на «сталинских премиях», не носил звания «Народного художника СССР», но был народным художником по существу, певцом души народной. Картины его оставались в мастерской, но должно же, должно было притти время объявиться душе народа. Юхнов, почитавший его, как учителя, неотступно думал о том дне, когда рухнут кремлевские полубоги, разлетится, как пена под ветром, окружающая их шушера и выйдет на свет настоящая — почвенная, глубинная — правда. Правда народа, который 1000-летним опытом обогатил свою душу, выработал свои обычаи, нравы, традиции, построил — бревно к бревну, камень к камню, копейка к копейке — большой и богатый дом — Россию!

... Истребительные батальоны очистили улицы столицы. Под вечер, когда мы шли от Ильинки на Кузнецкий мост, Москва — по крайней мере, в центре — была уже тиха, безлюдна. Ветер гнал по улицам бумажный мусор — обрывки плакатов, лозунгов, воззваний. На панелях, под окнами, валялись разлохмаченные книги. Книги эти были напечатаны миллионными тиражами, — теперь в них никто не нуждался. Большевистская пропаганда напоминала большую и шумную ярмарку: марксистские идеи распространялись по дешевке — всем! всем! всем! Широко распространенные, эти идеи, концепции, принципы, лозунги и призывы отныне не имели цены, как банковские билеты в период

инфляции. То было величайшее банкротство — идейное банкротство большевизма. Отрицатели отрицали самих себя. Дворники, подметавшие мусор, находили партийные и комсомольские билеты, из которых были вырваны фотографические карточки и листки, обозначавшие владельца.

Шагая под горку по Кузнецкому мосту, Юхнов предвосхищал удовольствие: сейчас он расскажет приятелям про директора «Союзплодоовощи». В мастерской Всекохудожника, однако, было не до разговоров: там шла горячая работа. На столах и на полу были разостланы темно-красные бархатные полотнища. Юхнов заметил приятеля. Он стоял на четвереньках и, нагнув побагровевшую, в седых лохмах, голову, выводил кистью на бархате золотые слова:

За Родину! За Сталина!

Юхнов тронул его за плечо. Тот вскочил, обрадовался.

— Николай Федорович! Воюешь?

— Воюю, скоро победим... — невесело улыбнулся Юхнов. — А ты?

Приятель поскреб пятнистыми позолоченными пальцами грязносерую щетину на невыбритой щеке.

— У нас аврал. Другие сутки не спим, со знаменами мудохаемся.

— Караул, ребята! — крикнул с лесенки толстый, как шарик, директор Всекохудожника. — Щербаков звонил по телефону, едет за знаменами.

Подбежал к Юхнову, толчком сунул маленькую руку.

— Николай Федорыч, ты тут народ, пожалуйста, не отвлекай. Понимаешь, запурхались мы, запурхались. Позавчера приехали из наркомата обороны, привезли бархат — на тридцать знамен. Не простые знамена, с рисунками. И чтобы через день было готово. Да что вы, помилуйте, где я художников наберу на такую рабо-

ту? — Приказ товарища Щербакова... понятно? — А теперь звонит, вот-вот сам приедет.

То были первые гвардейские знамена, предназначавшиеся для минометных частей, вооруженных «катюшами». Изобретение Костикова тогда только-только входило в действие: механизм, смонтированный на грузовой машине и мечущий — по наклонно приподнятым рельсам — реактивные снаряды. Официальное название «катюш» — гвардейские минометы. Полки, вооруженные ими, не вступая в бой, уже назывались гвардейскими: получали особые знамена, знаки отличия, полуторный оклад жалованья. Предполагалось, что первые знамена будет вручать сам Сталин. Ближайший помощник Сталина, Щербаков, начальник политического управления Красной армии, заботился, чтобы знамена были сделаны на славу.

— Тряхнул бы стариной, Николай Федорович, — сказал директор Всекохудожника. — Вот тебе кисти, краски... помоги.

— Нет уж, — уклонился Юхнов. — Я забежал на минутку, мне ехать надо.

Юхнов повел меня по зале, длинной, как вокзальная платформа и накрытой стеклянным сводом. Художники, торопясь, разрисовывали знамена. На одной стороне — значек с дубовым венком и словом «Гвардия», номер и наименование воинской части. На другой — лозунг, клич, призывающий на битву: «За Родину! За Сталина!»

— Тут явная путаница — одно противоречит другому...

Юхнов усмехнулся, прижмурил мелкие, позлащенные солнцем заката глаза. Потомок староверов, он хорошо знал Писание и при случае любил — передо мною, невеждой в этом отношении — процитировать. Наставительно подняв палец, он извлек из кладовой памяти подходящую строку:

«И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?»

— Откуда это? — спросил я.

Юхнов остановился. Буграми выперло на лбу раздумье. Где именно это сказано? Неужели он забыл то, чему в детстве учился — сперва от деда, потом от отца? Нет, нашелся...

— Апостол Павел, первое послание к Коринфянам.

В мастерской возникло волнение. Директор шариком покатился к выходу. Задребезжали тонкие остекленные двери. Послышался скрип сапог. В залу вошла генеральская, зеленого сукна, шуба, увенчанная высокой каракулевой папахой. Не желая тянуться перед генералом, мы отошли к стене.

Щербаков был плечистый, грузный. «Кувшинное рыло», — шепнул Юхнов, глядя на пухлое лицо с младенческим цветом кожи. Но это кувшинное рыло залезло в ряд полубогов, окружавших верховного идола — Сталина. Щербаков был главным распорядителем на ярмарке пропаганды. В тридцатых годах его посадили в Союз писателей: муштровать, идейно перестраивать литературу. По его указке отправляли в ссылку писателей, живописцев, травили таких художников, как Лентулов, Павел Кузнецов. Теперь Щербаков руководил политической работой в Красной армии, был начальником Советского информационного бюро. Директор Всекохудожника масляным колобочком вертелся около него:

— Выполнено ваше задание, товарищ генерал. Все силы были мобилизованы. Результат налицо — готово!

— Показывайте.

Перед ним развернули бархат, отяжеленный золотой бахромой. Дубовая листва, живая и светлая, как-бы омытая дождями, зеленела на гвардейском венке.

— Недурно. Переверните.

Всмотрелся. Неопределенно хмыкнул. Задумался.

— Где у вас тут телефон?

В мастерской директор Всекохудожника имел только маленькую конторку, отгороженную фанерными щитами. Художники, канительщицы, обшивавшие знамена, несколько человек военных, приехавших с генералом, все притихли. Трещал телефонный диск, стучал рычаг, раздавались крики:

— Кремль! Кремль!

В Кремле была своя телефонная сеть. Не имея кремлевской «вертушки», соединиться почти нельзя. Только имя Щербакова, его властные грубоватые окрики и какой-то условный магический номер помогли ему пробиться через сложную систему коммутаторов и соединиться... впервые в жизни я видел человека, который запросто разговаривал с божеством по телефону.

— ... насчет знамен, Иосиф Виссарионович. Они готовы... Да, конечно, как было сказано — за родину, за Сталина... Может, оставить так? Художники не успеют сегодня... К утру? А вы поедете? Нет?.. Ехать мне одному?.. Хорошо. Так и сделаем... Есть. Так и сделаем. Есть.

Положив трубку, генерал облокотился на стол. Ладонью потер лоб. Тяжело отодвинул кресло, поднялся. В сдвинутой на затылок серой папахе вышел в залу.

— Небольшая переделка, — сказал он, обращаясь к директору. — Немного, всего на одной стороне. И чтобы к утру готово было. Что? Полукругом — крупно, широко — расположите: За Родину! Нет, нет, только это... одно... За Родину!

Тонкие хромовые сапоги, скрипя, вынесли папаху и шубу из залы. В мастерской стояла тишина, как над раскрытой могилой, в которую только-что опустили гроб. Юхнов, прикусив губу, удерживал смех. У всех животы распирало от смеха. Мы скользнули в вестибюль, рванули дверь на улицу. Из глоток вырвался неудержимый, клокочущий хохот. По отлогому скату

улицы полз, шурша, и попался под ноги Юхнову лоскут бумаги. Юхнов наступил и только тогда мы заметили, что это — половинка разодранного портрета Сталина. Наступили оба тяжелыми, окованными железом солдатскими сапогами и растоптали лицо идола.

Вечером мы пригнали на фабричный двор табун машин. Началась погрузка. В кузове грузовика, укладывая мины, Юхнов похохатывал, вспоминая катастрофу со знаменами. Когда нагруженная машина отъехала, он вытер рукавом потный лоб и спросил:

— Тебе, Михалыч, так и не удалось никого из своих повидать?

— Жду, должны сюда приехать.

Вечером, когда я позвонил, Даша только пришла из госпиталя. Она обрадовалась. Прижав ладонью трубку, крикнула что-то из коридора в комнату. Пообещала:

— Приедем, сейчас приедем...

Даша — я знал — не хотела оставаться в Москве. В июле ее мобилизовали на оборонительные работы. На Ламе она копала противотанковые рвы, тянула колючую проволоку. Попадала под бомбежки, даже артиллерийские обстрелы. В августе была ранена. Крохотным осколком повредило глаз. Полтора месяца пролежала в глазной клинике акад. Авербаха. Операция сошла удачно, глаз удалось спасти. Только она вышла из больницы, ей выпало много хлопот. На Москву по ночам налетали немецкие бомбардировщики: приходилось нести дежурства, сидеть на крыше и отбрасывать на асфальт пышущие огнем зажигательные бомбы, которые немцы кассетами высыпали над городом. Днями надо было ходить в университет: он отправлялся в Ашхабад, и всех студентов, оказавшихся в наличии в Москве, вызывали помогать упаковывать библиотеки,

драгоценные коллекции, инструментарий. Ко всему, старшая сестра, муж которой, артиллерийский инженер, воевал на фронте, везла целый детский дом, сотен восемь ребятишек, в Вятку; Даша помогала ей в сборах, погрузке, отправке этого крикливого, разноголосого, плачущего и поющего хозяйства.

На Коровьем валу Даша имела комнатку. Вместе с ней жила ее подруга, Литли Лопатина. Литли была внучка Германа Лопатина. Она родилась в Генуе. В 1927 году приехала с матерью в Россию. В эмигрантских кругах она росла в Италии, к эмигрантским кругам прибилась и в Москве. Подружилась с Джованни Джерманетто, Луиджи Поляно, наконец, с самим Эрколи, ныне — Пальмиро Тольятти. Эрколи устроил ее на работу в Коминтерн. В те дни она занималась радиоперехватом: ночами слушала итальянские передачи и к утру составляла сводку для Эрколи. Литли была против того, чтобы Даша эвакуировалась: «Оставайся, мы будем драться на баррикадах!». При Коминтерне составился интернациональный отряд — оборонять Москву, колыбель мировой революции. Бойцы интернационального отряда собирались на Страстном бульваре, копали в песке стрелковые ячейки, перебегали, ползали, рассыпались цепью, кричали «hourra». Ночами подруги пускались в споры. Даша говорила, что если все едут в эвакуацию, то и она поедет. Литли в темноте, подымая от подушки голову, кричала о дашиной безидейности и беспринципности. Даша отвечала смеясь, без злобы: «Вот и хорошо, что беспринципная... будем спать!..»

В воскресенье 5-го октября, как раз перед боевой тревогой, Даша приезжала ко мне на свидание в Болшево. Грустно-весело рассказывала про ночные споры и под конец сказала:

— Так устала, так устала... Уехать бы скорее к чорту на кулички! В Ашхабад, в Дюшамбе, на Памир... под Крышу Мира!

На складской платформе, наполовину очищенной от мин, появился вахтер и сказал, что меня ожидают две гражданки. То, что Даша не уехала, а осталась в Москве, я приписал влиянию Литли. «Интересно послушать, — подумал я, — что скажет Литли о московских делах сегодня». Потому что с кем другим могла приехать Даша?

В тускло освещенном коридоре я издалека увидел дашину «гномку», клетчатый пушистый башлычек. Даша с легким смехом подбежала и, жмурясь, обняла. Откинувшись, не снимая рук с плеч, с шершавой шинели, посмотрела на меня безмолвно и улыбчиво. Башлычек, как нельзя лучше, шел Даше: лицо в пушистом обрамлении принимало детский ласково-простодушный вид и оттого новую прелесть приобретали недетски-спелые губы и темные блестящие глаза. По надбровью просекался тонкий розовый шрамик, но он не был сильно заметен, терялся в тени крупных каштановых локонов, выбивавшихся из-под башлычка.

— Ты не догадывался, кого я привезу к тебе? — спросила Даша.

Возле перегородки, наполовину стеклянной, стояла девушка. Нет, не Литли. Она сдержанно улыбалась, чуть обнажив голубоватую подковку зубов. Боже мой! Волна чего-то легкого, светлого и немного щемящего поднялась во мне, подкатила к сердцу.

— Воротничек!

Девушка протянула узкую руку в перчатке и, пролепетав сперва что-то глазами, живо повторила:

— Воротничек...

Даша толкнула меня под локоть:

— Ее зовут Ольга.

— Ольга Магерина, — одновременно сказала девушка.

Взвешивая ее маленькую руку в синей нитяной перчатке, я смеялся от удовольствия:

— Магерина... Оля, значит? Вот так неожиданность... Воротничек!

В начале лета, за две-три недели перед войной, я занимался днями в бывшей Румянцевской библиотеке, ныне «Ленинке». Над Москвой, по синеве, еще не потемневшей, плыли весенние белогрудые облака. Перепадали дожди. На мокром солнце блестел за окном зеленый скат холма, на котором стояло старинное, в колоннах, здание библиотеки, внизу — лиловый асфальт Моховой улицы, крыши домов, а за ними зубчатая кромка стены, квадратная Кутафьевская башня. Дни были в солнечных пятнах и яркой зелени, мне же предстояло проходить нескончаемую, монотонную, в сплошном сером цвете, пустыню науки, именуемой «Основами марксизма-ленинизма». Передо мною лежала книга Берии «К вопросу о зарождении большевистских организаций в Закавказье», но я читал ее только глазами, подремывая и скучая. Очнувшись, увидел по другую сторону стола, напротив, девушку. В глаза мне ударила золотая пыльца волос, взвихренных на склоненной макушке. Неведомо куда отлетели «большевистские организации». Девушка была в закрытом темно-синем платье с кружевным воротничком. Через низко припавшую к книге голову виднелся выгиб спины, по которому сбегали кругленькие, обшитые синим пуговицы. Перевертывая освещенную солнцем страницу, она подняла лицо и посмотрела на меня, как на пустое место. Навстречу ей я метнулся взглядом, но она тотчас склонилась, замкнулась в книгу. Непонятно почему, я резко встал, собрал и сдал на кафедру книги и, унося в памяти неподвижные — большие, серые — глаза, поехал в институт, в Сокольники. Вместо института долго бродил по сокольническому лесу и что-то бормотал из Пастернака, кажется:

Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,
У которой суставы в запястьях хрустят,
С той, что пальцы ломает и бросить не хочет,
У которой гостят и гостят и грустят.

Несколько дней потом искал встречи с девушкой в белом кружевном воротничке. Должно быть, она сдавала экзамены и не приходила в «Ленинку». Даша посмеивалась над моими огорчениями:

— Так, как же с Воротничком? Познакомился?

Вместе с Дашей мы увидели ее в библиотечном вестибюле. Познакомиться не удалось: она стояла перед зеркалом, уже одетая, в бежевом летнем пальто, и, закинув руки, поправляла поднятые над ушами и завернутые в большой узел волосы. Даша проводила ее взглядом и по-детски выпятила жаркие смуглокрасные губы, которые не подмазывала никогда.

— Воротничек ничего себе... Чего же ты растерялся? Придумал бы какой пустяк, подошел сейчас и познакомился.

Было это в субботу 21 июня, а наутро, в воскресенье, я не растерялся. Девушка в воротничке... — положим, она была уже не в воротничке, а в лиловой вязаной кофточке с пушистыми помпонами... — сидела и читала толстую медицинскую книгу, полную желто-красных картинок. Взяв комплект газеты «Труд», я сел напротив и открыл страницу, где была напечатана одна из статей Лиона Фейхтвангера о том, что делают немцы в оккупированной Франции. Необыкновенные эти статьи я читал месяц назад, когда они только появились, но теперь с притворным волнением ахнул и придвинул газету к Воротничку:

— Подумать только! Вы читали?

— Что это? — холодновато спросила она.

Весной, когда советско-германскую дружбу, казалось, не омрачало ничто, — Москва гнала в Германию

нефть и пшеницу, Берлин посылал в Россию авиационные моторы будто-бы нового образца, — в газете «Труд» появились статьи об ужасах немецкой оккупации. Так как игра в дружбу еще продолжалась, нельзя было напечатать статьи, скажем, в «Известиях», «Правде», «Комсомольской правде» — правительственной или партийной прессе. Придумали трюк: напечатали в «Труде», органе профессиональных союзов. Для советского читателя, знающего, что профсоюзы в СССР зависят от партии и вся пресса унифицирована, было ясно, что публикация таких статей — знак близкого разрыва с Германией.

Не все читали «Труд», третьеразрядную газету. Девушка впервые увидела статьи Фейхтвангера. Пока она впивалась в строчки, ахала, подымала на меня влажные напуганные глаза, я посматривал, как розовеет, наливаясь кровью, мочка крохотного ушка, прикрытого золотистой прядью. Вызывающе и ярко синело в больших приоткрытых окнах небо. Девушка, милая в своей ласковой простосердечности, спрашивала: «Что же это такое будет? Война?» — и я отвечал что-то вроде: «Не страшно! Немцы, даже победители Европы, не представляют для нас опасности. Германия израсходовала свои рессурсы, а у нас нетронутые силы. Вероятно, подошел момент, когда мы сможем раздавить Германию и стать единственными хозяевами в Европе», — механически повторял то, что недавно слышал на лекции по международному положению в нашем Институте философии, литературы и истории. Все это — механическое — казалось однако, таким незначащим по сравнению с блеском дня, молочно-синего, жаркого, пестрого от солнца и зелени. Одновременно, между слов, как бы в другом музыкальном ключе, я говорил глазами: «Поедем кататься на лодке... Посмотри, как играет блестками Москва-река...» Девушка понимала безмолвную просьбу и по теплу, согревшему ее глаза,

я догадался об ответе. Только мы поднялись, отодвинули стулья, как и другие читатели начали вскакивать из-за длинных столов. Бросая на столах книги, тетради, белую россыпь листков, все устремились к выходу. Кто-то спрашивал:

— Пожар? А... что? Пожар?

— Нет, какой там пожар?

— Не знаю.

— В чем дело, товарищи?

На круглом, залитом асфальтом дворике гудел радиорупор, прикрепленный к дереву. Взволнованно, заикаясь, Молотов говорил о войне. Девушка побледнела:

— Ой! Коля... Мама...

Взяла меня под руку, пояснила:

— Брат мой старший — летчик-истребитель. И мама... она врач-хирург... тоже состоит на военном учете.

Не катанье на лодке — война нас сдружила. Просто и доверчиво, — в один миг привыкнув друг к другу, — пошли мы по улице Фрунзе (бывшей Знаменке), Арбату. На улицах шумели тысячные толпы. Народ кинулся к булочным и сберегательным кассам. Накупали хлеба, будто можно было запастись на пять лет войны. Вынимали вклады, будто не верили в состоятельность государства. В булочных скоро не стало хлеба, в сберегательных кассах ограничили выдачи ста рублями. На Арбате мы простились до завтра, до встречи в «Ленинке». Но дома меня ждала повестка — на призывной пункт. Только по дороге в Болшево я вспомнил, что не знаю ни адреса, ни имени Воротничка.

Без малого четыре месяца кружила на русских полях война. Проводы на фронт, бомбежки, оборонительные работы, эвакуация... — ветром войны разметало людей на все стороны. Много дорог разминулось, но много и скрестилось. Не все росстани, случались и

встречи. Нечаянные, негаданные... в такие вот дни, как 16 октября в Москве.

— Даша, милая, как же ты Воротничек нашла? И почему ты в Москве? Я считал, ты давно в Ашхабаде.

— Не поехала. Правду сказать, еще утром сегодня поспорила с Литли. Понимаешь, просыпается она и говорит: — Имей в виду, Дашуня, наш Коровий вал — на направлении главного удара. Немецкая группировка — танки Гудериана — идет от Калуги, выходит прямиком на линию Большой Калужской. Каждому понятно, разгорится бой за переправу — Крымский мост. Ты видела, какие там возводят укрепления? Настоящий тет-де-пон! В тактическом отношении наш район... да что говорить, энергетическая база столицы. У нас — МОГЭС! Конечно, немцы направят сюда свои главные оперативные силы.

— Прямо, как генерал чешет, — засмеялся я.

— Литли есть Литли, — сказала Даша. — Как увлеклась — откуда что берется! Теперь у нее роман с войною... ну, и военная терминология. Сперва я посмеивалась, а сегодня... нехорошо... обозлилась: — Тебе, говорю, быть может, хочется, чтобы эти гудериаины в самом деле по Москве ударили? Как она взъелась, пошла и пошла! Баррикады, интернациональный отряд, колыбель мировой революции, беспринципные эвакуанты... Взяла я рюкзак, белье положила, книжки и — на Моховую, узнать в деканате, когда погрузка нашего эшелона. А на улицах такое поднялось — глаза разбежались, голова кругом пошла. Не знаю почему, на улице вдруг решила: — Не поеду в Ашхабад... не поеду! Из-за одного того, чтобы видеть, как все это будет в Москве, не поеду! Побежала в больницу и нанялась сестрой. Курс санитарной подготовки в университете проходила, латынь знаю... видел бы ты, как доктор мне обрадовался!

— Не один доктор... теперь и Литли обрадуется. Будет хвалиться — перевоспитала беспринципную Дашу.

— Не говори! Литли пешком из Москвы ушла.

— Пешком? Ушла? Не понимаю.

— Такой день сегодня — все перепуталось! Понимаешь: на радиоперехвате она работает ночами. После, как я ушла, она еще заснула. Поднялась, когда на улицах уже во-всю кружила завируха. Первая мысль у нее была — вошли немцы, начинается бой у этого... как его... тет-де-пона. Накинула кожанку, выскочила за ворота. Народ бежит, где-то стреляют, но не часто... — ничего не понять. Пошла в магазин — позвонить по автомату. Вызвала Марию Эрколи... жену, они — подруги. Ну, буоно джорно и все такое... ты же знаешь, как Литли разговаривает по-итальянски — точно вся в петушиных перьях! Жена Эрколи сказала, что муж и она улетают и что Литли должна немедленно итти в гостиницу «Селект» — там жили коминтерновцы — и тоже лететь на «дугласе». А тут глупая история... Публика в магазине услышала итальянскую речь. Приняли Литли за шпионку, чуть не избили. Подоспели истребители — тем и спаслась. На «дуглас» из-за этого опоздала, пыталась пристать к эшелону — не приняли. Дома узнала, что я звонила из больницы, пришла ко мне... плачет! Дала я ей рюкзак — пошла пешочком по Владимирке...

— Хватит она горя в эвакуации, — покачал я головой.

— Конечно, хватит, — согласилась Даша.

В больнице Даша встретила Ольгу Магерину. Та была студентка-медичка, работала сестрой второй месяц. Даша тотчас же рассказала ей историю с «Воротничком». Посмеялись. Даша, увлекавшаяся в дружбе, потащила Ольгу к себе домой. Тут и я позвонил — обе помчались в Кутузовскую слободу.

— И вы не ухали из Москвы? — спросил я Ольгу. — Ведь... если не ошибаюсь, вы не москвичка?

— Не ошибаетесь. Я из Моздока, есть такой маленький городок на Тереке. Только там у меня никого не осталось. Брат мой воюет под Ленинградом, его подбили в воздушном бою, — получила письмо из госпиталя. Мама тоже на фронте, на Харьковском направлении.

Даша, охваченная огневым румянцем, указала восхищенными глазами на подругу:

— Она и сама бесстрашная. Такое делает... что твоя фронтовичка!

— Ну уж и фронтовичка, — смутилась Ольга. — Ничего особенного. Как все работают, так и я работаю.

— Не все, не все!

В конце коридора хлопнула дверь, военпред вышел из цеха.

— Вы чего же... стоя? Проходите хоть в мою конторку. Присаживайтесь... стул-то один, ничего — на кровати.

Он выдернул ящик письменного стола, взял какую-то вещицу и резко вдвинул снова, побежал в цеха. Даша, сидя на кровати, рассказывала про Ольгу и глазную больницу:

— В нашей больнице делают... ну, почти чудеса! Привозят танкистов — обгорелых, слепых. Им восстанавливают зрение. По методу Авербаха — пересадкой мертвой роговицы. Для операций нужны глаза... от мертвых! Недалеко от нас клиника Склифасовского. Надо итти туда, в большой морг, и у покойников вырезать глаза. Никто, понимаешь, никто не берется за это дело. Была одна сестра, пожилая, она не боялась, — недавно уехала с детишками в эвакуацию. Из молодых сестер ни у кого не хватает храбрости. Да и у

меня... бр-р-р-р! — Даша в шутку затряслась, как от озноба. — Ни за что не пошла бы. Как ты не боишься, Ольга?

Морг... Подземелье под серыми сводами... В клинику Склифасовского со всей Москвы везут самоубийц и всех несчастных, погибающих каждый день в уличных катастрофах. На оцинкованных нарах лежат шафранно-желтые удавленники; толстые и синие, набухшие от воды утопленники; подплывшие кровью тела, перерезанные трамваями. Некоторые трупы подымают в анатомический театр: оттуда приносят в ящиках головы с содранной кожей; распиленные ноги и руки с раздерганными, как мочало, посиневшими мышцами; багровые, черные, сизые внутренности. В страшный мир покойников, окутанный приторно-сладким туманом, спускается девушка. Она одна... — служителю морга в сером халате и с серым помятым старческим лицом до нее нет дела, он постучал ключами и ушел. Девушка всматривается в мертвецов, подходит и... вырезает глаза. Похоже на дурной сон...

— Ты чудачка, Даша, — скупо улыбнулась Ольга. — Разве я говорила, что не боюсь? Хоть и медичка, на пятый курс перешла, в анатомичке много занималась, а тут боюсь... еще как боюсь! Вчера подхожу к одному, а он смеется! Нет, правда... оскалился, зубы белые-белые! Как же не бояться? А другой, рядом с ним, лежит, привалился к холодному железу, — в морге нары такие цинковые, — и на лице у него застыла улыбка. Будто у них другой мир, которого мы не знаем.

Ольга сдернула с руки перчатку. Держа за тонкий нитяной палец, покрутила ее и опять надела. Даша сидела, сдвинув пушистые брови над темными глазами. В тишине я смотрел, не отводя глаз, на девушек. Простые, как все и как многие — милые, мне же единственные на свете! В последующие годы войны — на

фронте в лесах Приильменья, на берегах Вислы, в долинах Саксонии — много раз возвращался я памятью к встрече с девушками. Все более утверждался я в мысли, что именно они, Даша и Оля, помогли мне пройти тяжкий путь от Москвы до Дрездена. То, что я видел в октябре 1941 года — разброд на Волоколамском шоссе, бегство московской верхушки — давило меня, погружало в темный омут отчаяния. Военпред был незнакомый человек, член партии, откровенность опасна, но в разговоре с ним сама собою вырывалась мутная волна горечи. Только Даша и Оля, сами того не зная, облегчили, просветлили меня. На их белых, таких родных лицах, с таким светом в глазах, я увидел ту «скрытую (latente) теплоту патриотизма», о которой говорит Толстой, описывая людей 1812 года. Несчастья России всегда внушали и внушают русским людям только очень маленькое количество простых идей, и по мере того, как я старался — потом, на фронте — понять их, я видел, что идеи эти все упрощаются и упрощаются и в конце концов сводятся к одному: любовь к России. Не размышляя, а подчиняясь простому, как небо и земля, чувству, девушки прошли сквозь мятель 16 октября и нашли свое место, свою позицию для защиты России, для облегчения тяжких страданий матери-родины. Мятель захлестнула меня, но тонкая девичья рука взяла и вывела: нам — госпиталь, тебе — фронтовая дорога, иди по ней и не вихляйся!

— Как странно, — продолжала Ольга. — Пересаживают мертвую роговицу — она оживает. Взять живую — помрет, не привьется. И так повсюду! Мой дядя — агроном, в Тимирязевской академии. Как-то я рассказала ему про роговицу, он задумался: — Ну, а зерно, говорит... падает в землю, погибает и подымается. На грани смерти и жизни. Таинственная черта — какие-то таинственные переходы.

— Ну их, с покойниками! — нетерпеливо и раз-

драженно сказала Даша и полыхнула на меня глазами. — Ты... ты почему мне не пишешь? Вот что скажи!

— Эва! Письма! У нас там и почты-то нет. Такая идет кутерьма. Кто куда едет, кто за чем идет... не разобраться. При штабе армии, может быть, и имеется почта, а в Яропольце не было. Поставили нас к мостам на Ламе, — стояли, вчера отошли.

Даша всплеснула руками:

— Ты — в Яропольце?!

— Не в самом Яропольце, — в Юркиной. Может, помнишь, мостишко ветхий, деревушка в полутора верстах.

— Конечно, помню. Мы там проволочные заграждения тянули. Ольга, подумай-ка, он попал на позиции, где меня ранило. Ну, как они, наши позиции? Накопали мы порядочно...

— Оставили мы вчера ваши позиции.

— Как-же так. Совсем без боя?

— Без боя. Наверное, и еще отступим, Волоколамск отдадим. На Истре — ты знаешь, там озера — что-то такое строят, только и это без пользы. Военпред, вот, что приходил сюда, в конторку, говорит: докатимся до точки, до самой последней точки, а потом двинем вперед. Тоже вроде Ольги: сперва погибнем, потом подымемся. Понимать это как-то трудно.

— Понимать тут нечего, — ответила Ольга. — Тут верить надо. Мы привыкли верить только в то, что видим. В одной пьеске, я видела, встретился инженер с монахом и спрашивает: — Кстати, что это такое, ваш Бог? Монах говорит: — Бог — это все, что есть, а чего нет — это тоже Бог. Инженер смеется: — О несуществующем не может быть и мысли. Ваш Бог... имеет ли он вес, объем, величину? — Так и теперь. Где наша победа? Нет у нее ни веса, ни объема, ни величины. Победы не видать, она не существует, о ней не может быть и мысли. Но надо поверить в... невидимое.

— Верить в победу, как верят в Бога? — засмеялся я. — Или в победу... от Бога?

— Не знаю, — пожала плечами Ольга. — Я в Бога не верую. А только есть... вот во всем этом... — она широко повела руками — ... какая-то тайна.

Вошел, грохоча сапогами, Юхнов.

— Машины нагружены. Где военпред? Надо, чтобы он подписал путевку.

Машины выезжали из фабричных ворот и выстраивались на обочине шоссе. Прикинув в уме расстояние от Москвы до станции Подсолнечной, оттуда до села Степанчикова, я с радостью подумал, что мы успеем приехать — подбросить мины — к полудню, не то, что к вечеру, как приказывал командир роты.

Дверь проходной была открыта настеж: шла смена. Вахтер, присвечивая фонариком, проверял пропуска. Кто-то спрашивал, смеясь, про Парамонова. Давешняя работница сыпала горохом: «Коленкой, коленкой его под задницу!..» Как те, что работали на фабрике днем, так и те, что шли в ночную смену, были захвачены общим настроением освобождения от старого, вчерашнего и ожиданием нового, завтрашнего.

Большой день — поистине исторический — пережила столица. День кризиса, день перелома. Москва не перешла из одних рук в другие, но из одного качества в другое. При тех обстоятельствах сталинская тирания не могла обрушиться, но рухнула сталинская идолатрия. Как бы советские историки не доказывали, что генералиссимус Сталин вел военную игру, как гроссмейстер — шахматную, т.е. двигал миллионами пешек, возводил их в туры и королевы, продвигал или сбрасывал с доски, день 16 октября показал, что Сталин, сам Сталин — пешка, не более, чем статист в той драме, которая разыгрывалась не только на трехтысячеверстном фронте, но вообще на пространствах России. Драма не имела героя, — или героем ее был весь

народ. Повернувшись спиной к большевизму, народ очутился лицом к лицу перед немцами. От этого поворотного пункта начинается иной ход войны. Наступление армий фон-Бока, развивавшееся по календарному плану, неожиданно застопорилось. План был хорош, основателен и аккуратен, но он провалился. Потому что никаким планом — ни немецким, ни советским — нельзя было предугадать — ни во времени, ни в пространстве — реакцию народного сознания, народного инстинкта. План не учитывал ту неизвестную моральную величину, которая вообще никогда не поддается учету, и немецкие генералы, составители плана, конечно, никак не ожидали, что в середине октября вдруг окрепнет сопротивление Красной армии *). Правда, немцы, остановившись, накопят силы и месяц спустя — 16 ноября — вновь перейдут в наступление. Месяц — срок недостаточный, чтобы народ после разброда смог построиться в боевые ряды, наши войска еще раз отступят к Москве. Но это будет последний раз. Народ построится и 5 декабря перейдет в наступление, которое окончится разгромом немцев под Москвой. Придет первая победа, о которой знали только верующие сердца.

...Разрубая ночную тень, вспыхивали и тотчас же гасли фары. Клокотали заведенные моторы. Даша обняла меня крест-на-крест три раза и поцеловала. Не вы-

---

*) Кассиди в «Московской хронике» отмечает: «Внезапно сопротивление Красной армии окрепло на двух флангах. Немцы успели овладеть Калининым (Тверью), но их продвижение было остановлено тут же, в пригороде. Тула отказалась сдаться. Немецкий центр, не подпираемый флангами, не осмелился продолжать свое продвижение к Москве. В середине октября первое генеральное наступление на Москву было остановлено».

пуская ольгиной руки, я отворил дверцу кабинки и стал на подножку. Когда колонна тронулась, когда смолкли прощальные возгласы девушек, я все еще чувствовал пожатие узкой руки в нитяной перчатке. Передо мною лежала четырехлетняя фронтовая дорога. Была ночь. В небе, немом и черном, шарили прожектора. Москва стояла, огражденная голубыми мечами.

16 НОЯБРЯ

16 ноября 1941 года германские войска, развернув против Западного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мото-пехотных дивизий, начали второе генеральное наступление на Москву. Противник имел целью, путем охвата и одновременного глубокого обхода флангов фронта, выйти нам в тыл и окружить и занять Москву. Он имел задачу занять Тулу, Каширу, Рязань и Коломну — на юге, далее занять Клин, Солнечногорск, Рогачев, Яхрому, Дмитров — на севере и потом ударить на Москву с трех сторон и занять ее.

Из Оперативной сводки Советского Информбюро от 13 декабря 1941 г.

День 16 ноября был морозный. Над полями и перелесками Подмосковья вился тонкий, сухой ветер, стряхивая с берез иней, наращивая голубые наструги вдоль проволочных заграждений, заваливая сыпучим, игольчатым снегом противотанковые рвы и берега Ламы. По прифронтовой дороге Клин-Волоколамск, прикрытой правым флангом 16-ой армии ген.-лейтенанта Рокоссовского, текла, шипя, поземка, и овеянные мелкой снежной пылью, двигались к передовым позициям войска. В серой рассветной дымке шла тяжелоногая пехота: волочила на лямках поставленные на лыжи станковые пулеметы, горбилась под тяжестью круглых минометных плит, длинных противотанковых ружей.

Тянулись обозы, скрипя полозьями. Пыхтели, гремели цепями на колесах полуторки-газушки; в радиаторах закипала вода. Щелкали копытами, засекаясь, кони: пробегал на рысях эскадрон. Люди на дороге смотрели кавалеристам в след и, с трудом раздирая иззябшие губы, говорили: «Доваторцы...»

— Отдохнем, что ли, Михалыч?

Юхнов остановился на пригорке и, оглянувшись на меня, приподнял жердину, другим концом лежавшую на моем плече. На жердине, на толстых лохматых веревках, висели два небольших, но тяжелых, плотно сколоченных ящика. Поставив ящики на снег, Юхнов отвернул полу шинели, достал кисет и, повернувшись к ветру спиной, скрутил цыгарку. Присел на ящик и прищурился маленькими медвежьими глазками на большое село, лежавшее внизу, под косогором, в красноватом свете раннего, только-только вылезавшего солнца. По дороге, расчищенной от сугробов, стекали к селу люди, лошади, повозки, производя тот особенный, негромко рокочущий шум, который всегда сопутствует передвигающимся войсковым частям.

— Братья-славяне! Глянь-ка, Михалыч, какое тут шествует войско!

Из ложбинки подымалась упряжка мулов, тянувшая пушку, за ней другая, третья... Мулы шли понуро, черные спины их дымились легким паром, длинные острые уши торчали одеревенелые, покрытые белым инеем. Обмерзшие колеса пушек не крутились, замороженные мулы с трудом брали горку. Орудийная прислуга хваталась за колеса, пособляя мулам, переругивалась на гортанном, клокочущем языке. Так горцы на Кавказе протаскивают на руках по обрывистым, каменистым дорогам арбы.

— Теряева слобода?

Верхом на подседланном рыжем конишке, командир батареи остановился и, обращаясь к Юхнову, по-

казал плеткой в сторону разбитого, наполовину выгоревшего села. На молодом командире была ватная телогрейка с отложным воротником; химическим карандашем на воротнике были начерчены фиолетовые квадратики — лейтенантские «кубари». Из-под шапки-ушанки, надетой набекрень, свисал кудрявый обиндевевший чуб; опушенные белым брови и ресницы, казалось, были наклеены на широком, медно-красном, точно ошпаренном лице.

— Она самая, — ответил Юхнов и посмотрел с любопытством на лейтенанта. — Где это вы таких братьев-славян набрали? Армяне, что ли?

— Азербайджанцы. На персидской границе, говорят, стояли. А вы — курсанты? Поди, табачком, богаты?

Юхнов достал кисет. Лейтенант, сутулясь в седле, набил и запалил короткую трубочку.

— Мне их третьего дня на марше дали. По-русски ни-бе-ни-ме, а пушки... видишь, мортиры горные. Где же тут, под Волоколамском, горы? Ну, бывайте здоровы!

Мохнатый конишка шарахнулся от плетки, махнул куцо обрезанным хвостом и, кидая снежные ошметки из-под копыт, поскакал под откос, куда сползала на мулах батарея. Провожая глазами коротко-стволые, зевластые мортиры, Юхнов засмеялся:

— Вот тебе и резервы, Михалыч... воюй, как знаешь! Последние... оскребыши! Помнишь, военпред на московской фабричке говорил: «докатимся до точки». Куда уж дальше? До того докатились, что горную артиллерию от персидской границы к Москве стянули... а какая от нее тут польза?

— Неужели ты думаешь, что еще отступим? Такие морозы ударили, такие снега... может, вымерзнут фрицы, как тараканы?

Цыгарка Юхнова вспыхнула синим огоньком и по-

гасла. Бросив окурок в снег, он поднялся, натянул на уши пилотку, распяленную на крутолобой, как чугунное ядро, голове; зимнего обмундирования — шапок, валенок, полушубков — нам еще не выдали.

Юхнов был высок, кряжист. Ноги его тяжело переступали по снегу; ветер заметал следы. Он старался шагать ровно, чтобы ящики не качались на жердине, не сползали на меня. Ночью нас с Юхновым разбудили, выдали буханку хлеба, два ящика тола, моток детонирующего шнура и моток бикфордова, коробку капсюлей и велели итти в монастырь Иосифа Волоцкого, в полутора километрах от Теряевой слободы, заминировать там электростанцию и взорвать, «если будет необходимо».

По крутому спуску, среди фыркающих грузовиков, скрипа полозьев, говора, понуканий, матерной ругани, мы подошли к селу. Теряева слобода, где в октябре стоял штаб Рокоссовского, была разрушена бомбардировками. В утреннем морозном тумане, наполовину занесенные снегом, то оголенные ветром, чернели пожарища. Деревянные избы выгорели, остались только печи с их неожиданно-странно высокими трубами. В розово-янтарном свете солнца трубы торчали, словно воздетые к небу руки.

Тонная бомба развалила белый, пузатый собор, стоявший на взгорье посередине Стрелецкой улицы. Одна стена упала. В зубчатом проломе зияло нутро церкви: дощатый помост на козлах, лохмотья бумажных плакатов, кумачевые лозунги. Сбочь дороги, в канаве, лежал припушенный снегом кусок стены. От написанного на нем, жидко замазанного известкой, образа какого-то угодника осталась лишь длинная борода, лба же не было, как не было и ног. В руках он держал исковырянную осколками грамоту.

— Бьют, так бьют! — проговорил со смехом Юхнов. — Даже и угодники летят вверх тормашками!

— Что это за Бог? — раздраженно отозвался я. — Даже своих святых не может оградить от бомбы!

— Бог, видать, тоже драпанул, ото всего отступился. Живите, сыны человеческие, как знаете.

Юхнов приостановился — переменить плечо. Злыми медвежьими глазками он посмотрел на двигавшиеся по улице войска. Месяц назад, в октябре, поля Подмосковья были усеяны тысячами бойцов, отбившихся от частей, побросавших оружие, обродяживших. Теперь же, в ноябре, люди, машины, орудия текли по дорогам, как по каналам среди снеговых сугробов, — все к фронту, к фронту. Будто там, на фронте, образовалась пустота, гигантский резервуар, вакуум, начавший всасывать — с ветром и свистом — войска. Невидимая помпа, тяжело дыша, выкачивала новые и новые пополнения, теперь уже из глубин России. Вслед бронзовым, тонколицым азербайджанцам, по Стрелецкой улице шла пехота — казаки, киргизы, буряты с бесстрастными желтыми лицами и косыми, запухшими в трахоме глазами.

Юхнов покачал головой:

— В Покровском вчера меня баба спрашивала: «Татар на позиции гонют... русских-то мужиков, должно, всех уж перебили?» — Русской пехоты, отвечаю, много на Волоколамском шоссе стоит — сибирские дивизии прибыли. «И под Волоколамском, говорит, выбьют, на семя и то не останется!» Понимаешь, Михалыч, убежденно так сказала! Бабы знают, у них чутье звериное. Кончится наш народ в этой войне... конец России!

— Опять затянул похоронную! Не ты ли говорил, что народ, как феникс, горит да не сгорает?

— Оно так, конечно. Большевики сгорят, а народ подымется из пепла. Только... какое то время и народу, всей России, в пепле полежать придется.

— У чьих же ног?

Юхнов помолчал.

— У немецких, Михалыч.

— Что же делать теперь прикажешь? К немцу, что ли, подаваться?

— Может, и к немцу.

— Ну, видать будет... Пока что, давай, подымай жердину.

Подымая комель жердины, Юхнов бросил через плечо:

— «Видать будет», это, братец ты мой, не тактика...

В центре слободы, на мосту, перед которым верещала речушка Сестра, — мелкая, в булыжниках, белых камнях, она пересекала село и впадала в Ламу, — мы увидели Шурку-Интенданта, курсанта нашей роты, бывшего до войны студентом института коммунального хозяйства. Шурка охранял заминированный мост. С винтовкой за спиной, со штыком в кожаном узком чехле на поясе, он стоял у перил, на опрокинутом ящике из-под взрывчатки, и весело переругивался с группой бойцов, остановившихся на мосту и скаливших на Шурку зубы.

— Нету, все роздал, даже и самому не осталось! — выкрикивал Шурка.

Подойдя ближе, мы тоже расхохотались. На дуле винтовки, чтобы в ствол не набивало снегу, у Шурки был натянут тонкий желтенький презерватив; обычно бойцы затыкали дула тряпочками или бумажками. В октябре, в Яропольце, Шурка забрался в аптеку, — старый еврей-аптекарь, эвакуируясь, заколотил окна и двери досками, — и отыскал среди медикаментов коробку с презервативами. Притащив находку в роту, он объявил, что рота зачислена на «резиновое довольствие» и выдал каждому из нас по полдюжины. Фамилия «Яковлев» с того дня осталась только в ротных списках: курсанты звали его — «Шурка-Интендант».

— Ха-а, вот еще Божьи странники! — крикнул Шурка, только мы подошли к мосту, добавив к «Божьим странникам» непечатное слово; матерщина у него была вроде смазки для разговора.

— Ты, вижу, совсем иссобачился, — засмеялся я. — Как она, жизнь?

— Живем... ни во святых, ни в окаянных. А вы куда?

— В монастырь... под угодников мину подкладывать! А у тебя из жратвы ничего не найдется? Нам дали буханку хлеба — вот и питайся!

Шурка потер перчаткой круглое, светловолосое, опаленное огненными ветрами лицо..

— Валяйте в избу, там Детка кур теребит.

В переулке, поодаль от моста, чудом уцелела темная бревенчатая избушка. Углы ее подгнили, одна стена падала и была подперта рогатиной, врытой в землю. Крыша ввалилась, обнажив печную трубу, к которой наверху была примазана глиной черная, треснутая, с выбитым дном, чугунка. Неровно, клубами, валил дым, отлетал от избы, подхваченный ветром, то, напротив, прибитый ветром, змеился по щелеватой, ощерившейся дранками крыше.

Мы поставили ящики на завалинку. Юхнов шагнул в сени и, не обметая снега, налипшего на сапоги, рванул скобу тяжелой, обитой войлоком и соломенными жгутами двери. Клуб морозного пара вкатился в избу, но его вышибло встречным напором тепла, кислой вони. Метелица закружилась в избе: белый и черный пух, лежавший горкой на полу, взметнулся к потолку, точно столб подчерненного сажей снега. Юхнов отшатнулся и остановился на пороге. Воздушным потоком, казалось, будет вынесено все, что только было в избе — вынесено и поглощено той невидимой помпой, которая, шипя и свистя, качала и качала, стремясь наполнить бездонную, страшную пустоту, неиз-

вестно где и как образовавшуюся, которую чувствовали, однако, не только люди, двигавшиеся по прифронтовым подмосковным дорогам, но и в глубине России.

— Двери закрывайте! Кто там, черти-дьяволы! — послышался сквозь метель басовитый, ломающийся голос Детки. — Всю избу выстудите!

Пушинки, как хлопья снега, медленно падали, оседая на стол, где, средь немытой посуды, стоял медный самовар, тусклый и помятый от полувекового употребления, на скамейки, тянувшиеся по стенам, широкую, занимавшую пол-избы русскую печку. Ноги по-щиколотки в пуху, стоял у печки Детка, держа в одной руке, за ножку, недощипанную курицу.

— Юхнов, Коряков... какими ветрами?

— Теми самыми, какими и всех носит, — притворил я дверь. — К тебе вот, за курами!

По пуховой пороше, не снимая с плеч вещевых мешков, мы прошли в передний угол. У стола, разложив на подоконнике и на скамейке промасленные тряпочки и части разобранного затвора, чистил винтовку молодой солдат с шишковатым, стриженым под нолевку черепом. На печке сидел, свесив ноги, солдат постарше. У трубы сушились портянки, стираная рубаха рукавами вниз.

— Кур у меня пол-но! — сказал Детка. — Мы с Шуркой только курятиной и питаемся. Поделили должности — ему на посту стоять, а мне по курятникам лазить. Вот ты, Коряков, скажи: приходишь ты в пустой двор и видишь — десяток кур дремлют на жердине. Как бы ты стал действовать?

— Подкрался бы на цыпочках и первую с краю палкой по голове.

— Неправильно! Первым делом, бей петуха! Курица — дура, она без петуха ни шагу. Притаится и будет сидеть на нашесте, пока всех их по порядку не

перебьешь. Вот уж правда — лейтенант говорил — на все своя тактика!

Стриженый солдат брал на тряпочку кирпичной пыли и ожесточенно тер по заржавевшей магазинной коробке.

— А у гусей взаимная выручка хорошо организована, — сказал он, не подымая головы. — Одново разу я пристрелил гуся на улице, подхожу, чтобы забрать. А остальные гуси — поперед меня, окружили убитого, хлопают крыльями, кричат, хотят поднять и унести товарища. Кто клювом толкает, кто крыло под него подсовывает... Удивительное дело, какая у них сплоченность, у гусей!

— То-то и оно, — сердито проговорил солдат на печке. — Гуси, и те за свою нацию держатся! А мы... подлая наша русская нация, расползлась, как навозная жижа! Вот и пусть заберет нас немец... Под немцем не станешь баловать — я немца знаю, я три года у него в плену сидел. Он всем нам подкрутит гаечки!

Мы с Юхновым переглянулись. Из-за печной трубы, в полутьме, высовывалось крупное одутловатое лицо с желтыми глазами и серебристой щеточкой усов. Солдат кашлял: грудь его прожгло морозами.

— Ты понимаешь-ли, что говоришь? — щелкнул затвором стриженый. Обернувшись к нам молодым скуластым лицом, он добавил: — Вечно недовольный гражданин! Мы с ним из одной деревни, он мне вроде дяди приходится. Вески, Калининской области, — никогда не бывали? Первеющий кузнец на всю округу...

И — к печке:

— Кабы не был ты мне родня, пристрелил бы я тебя на месте, как немецкого агитатора.

— Пристрели-ил! — засмеялся старик и закашлялся. — Тебе и стрелять-то нечем... винтовку ржа съела! Да и на тебе самом зараза — оловянная чума.

Детка, ощипав курицу, взял темную, почерневшую

от времени и свечной копоти деревянную икону, положил ее ликом вниз на скамейку и принялся кромсать на кусочки мясо, — варить похлебку.

— Оловянная чума... отроду такой не слыхивал.

Кузнец повернулся к Детке:

— Не слыхивал? Глянь на него, вот он чистит винтовку. Прогнал шомпол по стволу — тряпочка красная. Потому у железа такая ржавь — красная! А у меди, наоборот, зеленая. У олова — белая.. Каждый металл заболевает по-разному, и на олове, — например, оловянной монете, — появляется белый, рыхлый порошок, который быстро съедает всю монету. Это и называется — оловянная чума! К нам в Вески каждое лето инженер-химик приезжал на дачу, — ученая голова! Он металлы лечил, как, скажи, человека лечат...

Юхнов тронул меня за рукав:

— Будет тебе на огонь-то пучиться, Михалыч! Пойдем...

В печке плясал оранжевый огонь. Детка с треском ломал лучину и подкладывал к чугунку, в котором пузырилась закипавшая вода. Отвалившись вещевым мешком на бревенчатую стену, я невидящими глазами смотрел в печку и чувствовал, как во мне самом то вздымались пляшущие языки огня, то ползла сухая снежная поземка. Горные мортиры на мулах... «Докатимся до точки»... Россия... или Русланд? Оловянная чума... У каждого металла своя ржавь... — а какая ржавь у человека? Все мы чем-то больны — я, Юхнов, Детка, Шурка-Интендант, «молодые люди сталинской эпохи»... Почему во мне, — только останусь один или просто задумаюсь, — начинает что-то безмолвно плакать, подвывать протяжно и жалобно, вроде ветра в трубе? Будто у меня — дупло в груди, вакуум, пустота, нет внутренней крепости, всегда какая-то утечка, точно меня внутри выдувает ветром... «Ни во святых,

ни в окаянных»... Заколдованный пляской огня, я прислушивался, как билось, опадая и набухая, сердце, и казалось, что-то щелкало внутри, тик-так, тик-так, точно в будильнике, который, отщелкав минуты, щелкнет вдруг по-новому, громко, зазвонит, и то будет утро, миг пробуждения, понимания, ясности, начало нового дня..

— Пошли...

По Стрелецкой улице — широкой и вымощенной булыжником — мы вышли на берег пруда, отделявшего слободу от монастыря. Было время, когда в монастырь, на поклон мощам преп. Иосифа Волоцкого, съезжались толпы богомольцев, — в Теряевой слободе тогда шумела ярмарка. Наезжал веселый, горластый народ — перекупщики, мазы, прасолы. В конце улицы, ближе к монастырю, еще стояли, средь воронок, вырытых фугасками, низенькие толстостенные лабазы красного кирпича, и хотя слобода давным-давно ничем не торговала, от замшелых стен — в морозном воздухе — веяло тонкими запахами пеньки и льна, конопляного масла, кожи.

Мороз прокалил воздух до синей искорки. Пруды, — три пруда, подковой лежавшие у монастырской стены и разделенные плотинами, по одной из которых проходило шоссе Клин-Волоколамск, а по другой проселок, — были одеты сизым голым льдом. На окраинцах лед белел пузырями. Поземистый ветер ударялся о лед и свистал камышами. Сквозь морозный туман мы увидели главы колокольни и собора; в первых лучах утра блестели золотом кресты.

— Морозит?

Под откосом плотины, на подветренной стороне, сидел на чурбаке Михаил Попов, тоже курсант нашей роты. Рыжеватый, с острым, как у лисы, лицом, он был в белой заячьей шапке.

— Морозит, — отозвался Юхнов. — Тебе, видать,

и мороз нипочем... в такой шапке! Где раздобыл такую?

— У мужика за пачку махорки выменял. Проходил тут один мужик вчера — от немцев вырвался, через фронт перебрался. Говорит, что немцы вот-вот наступать начнут.

— Откуда он знает? — раздраженно спросил Юхнов. — Немцы что, на военный совет его приглашали?

Попов вопросительно, ищуще посмотрел на Юхнова.

— Причем тут военный совет? Посмотри, земля высохла, промерзла, затвердела. Между тем, снегу не так уж много. Что это означает? А то, что танки, автомобили и даже мотоциклы могут двигаться не только по большакам, но и по проселочным дорогам, даже просто по полям. Если наступать, то только сегодня-завтра... послезавтра будет поздно. Пойдут метели, большие снега...

— Начнут наступать — отступим!

Из-под лохматой шапки на нас смотрели серые — настороженные, пытливые — глаза. В Попове меня всегда — еще летом, в военном училище, когда нам случалось ночами стоять вдвоем на посту, охранять водокачку или склад боеприпасов, или ходить патрулем по лесной дороге, — смущала какая-то подколодная скрытность, загадочность. Порою, в его разговорах чувствовались пораженческие нотки, но он — в отличие от Юхнова — никогда не говорил прямо, что «война проиграна», «пришел конец России». Я подозревал в нем «сексота» — доносчика, информатора.

— Отступим и вся недолга! — повторил Юхнов с ожесточением. — Земли у нас — шестая часть мира! Помнишь, Михалыч, один паренек еще в июле предсказывал — отступим к Таймыру и образуем Таймырскую советскую социалистическую республику...

— Никола! — прервал я. — И — к Попову: — А на той плотине кто стоит?

— Пашка Люхов.

— Большие у тебя тут фугасы заложены?

— Три мешка толу в порошке, мин бумажных-пятикилограммовых десятка два.

— Ты не взрывай, пока мы из монастыря не прибежим, — засмеялся я. — Не оставляй нас на той стороне. Вплавь нам не добраться, а по берегу такой пруд на коне за полдня не обскачешь.

Юхнов сердито глянул на меня и, не прощаясь с Поповым, поднял жердину и зашагал по горбатой плотине. По сторонам на льду играл синими переливами свет утра.

Вдоль древней стены грубой каменной кладки мы подошли к монастырским воротам. Широкие, кованного железа ворота были распахнуты настежь. Виднелся вымощенный булыжником двор, серый от крупной, зернистой изморози, по сторонам белокаменные здания — бывшие службы монастыря, а посередине высилась громада собора, восьмиярусная колокольня, наклонившаяся точно колокольня Пизы. У широких, слегка заметенных снегом ступеней стояла зеркально-черная эмка, а на паперти — полковник с медными пушечками крест-на-крест в петличках, с парабеллумом в длинной деревянной кобуре, старик в порыжелом, обтершемся бобриковом пальто и девочка лет четырнадцати в синем пальтишке, озябшая, с заиндевевшими кудерьками волос, выбившимися из-под вязаного берета.

— Колокола шестнадцатого века, — показал старик на кружевные ярусы колокольни, и следуя движению его руки, полковник поднял было лицо кверху. Но, увидев нас, он остановился и строго крикнул с паперти:

— Кто такие?

Юхнов приставил ногу:

— Курсанты II-й роты Московского военно-инженерного училища. По приказу подполковника Буркова — заминировать в монастыре электростанцию и взорвать «в случае необходимости».

Полковник захохотал, циркулем расставил ноги.

— Бурков... Я — полковник Гонтаренко, начальник артиллерии 16-й армии. Ко мне!

Мы опустили ящики с толом на землю и поднялись на паперть. Полковник расстегнул хрустнувшую целлулоидом планшетку и ткнул пальцем в зеленую, испещренную красными и синими стрелками и кружками, оперативную карту-двухверстку. Рука у него была шестипалая.

— У меня тут двадцать артиллерийских полков стоит. Здесь вот, видишь? Здесь... и здесь!

Полковник был пьян, от него несло острым отравным зельем, не знаю, денатуратом ли, политурой, но чем-то пахнущим падалью. В тоске я смотрел не на карту, а на желтый костяной отросток, криво приросший к большому пальцу полковника. Издалека, из густого тумана, доносились до меня пьяные выкрики:

— В слу-учае необходи-имости... Паникеры! Не бойцы вы, а пани-ке-ры! Кто командует нашей армией? Я спрашиваю, кто командует?

Юхнов вытянул руки по швам:

— Генерал-лейтенант Рокоссовский.

— Правильно. Так вот, слушайте, что я вам скажу. На войне надо верить в генерала — верить так, как люди раньше в Бога верили! Верно я говорю, папаша?

Старик повел плечами:

— Рябинин моя фамилия.

Невидимый будильник где-то во мне, внутри, опять начал щелкать: тик-так, тик-так... или то в сердце открылась рана, кровь сочилась и капала? Полковник

говорил: «Командующий армией обратился к войскам с приказом: ни шагу назад! На озерах у Истры — последняя линия обороны перед Москвой, от нее ни шагу!» Двадцать артиллерийских полков... — видели мы твою артиллерию! Мулы и мортиры с персидской границы... Приказ генерала... Но что генералу делать на войне, кроме как отдавать приказы? Приказы, воззвания, плакаты, лозунги... — бумажным мусором не завалить пустоту души. Но — как заполнить дупло в груди? На что солдату внутренне опереться? Опереться, стоять и — выстоять!

— Товарищ полковник, мы ковер нашли... в кабинете у директора детдома. Пригодится вам в землянку.

На крыльцо белого двухэтажного дома, рядом с собором, вышли лейтенант в новенькой шинели, перетянутой по плечам скрипучими ремнями, и шофер-солдат. Пригнувшись, шофер тащил тяжелый свернутый ковер; у лейтенанта в руках были два старинных пистолета и деревянная шкатулка узорчатой резьбы. Полковник повертел в руках шкатулку, щелкнул курком кремневого пистолета и, простившись со стариком, потрепав по щеке девочку, полез в машину. Шофер привязал ковер сбоку, к закрылке. Машина тронулась. Полковник высунулся из окна:

— Двадцать артиллерийских полков... Никакой необходимости!

Юхнов посмотрел, как эмка выкатилась с монастырского двора, и круглые медвежьи глазки его запрыгали от смеха:

— Нет, ты слышал, Михалыч? Верить в него, как в Бога! Понимает ли он, что это значит — верить? Верить в Бога, ведь это — как птица, взлетая, верит в свои крылья! Вера не здесь, — Юхнов постучал пальцем по голове, а — здесь... в кишках! Верить надо кожей, кишками...

— Почему же, собственно, кишками?

У старика был тихий, приятный голос. Подняв на него глаза, я увидел за ним — в просвете между собором и покосившейся колокольней — розовое, совершенно чистое небо.

— Кишками? — Юхнов запнулся, лоб вспух буграми. — Нутром, то-есть, а не головой, не разумом.

— Но вера не противоположна разуму, — возразил старик.

Потомок олонецкого начетчика-старовера, Юхнов ввязался бы в спор о том, что есть вера, но взгляд его упал на ящики со взрывчаткой, и он резко спросил старика:

— А вы, соб-ственно, кто такой будете?

— Учитель музыки.

В монастыре Иосифа Волоцкого, оказалось, до войны был детский дом. Тут жило тысячи полторы детей, подобранных на улицах в 1932-33 гг., когда — после голода на Кубани и Украине, после массовых высылок «кулаков» в полярную тундру и пески Туркестана — по всей стране опять прокатилась волна беспризорничества. В октябре, когда немцы пошли от Белого к Волоколамску, детский дом второпях эвакуировали. Дмитрий Федорович Рябинин, учитель музыки, был оставлен затем, чтобы собрать девочек-воспитанниц, работавших летом, во время школьных каникул, по окрестным деревням, трикотажным артелям и ткацким фабрикам, — собрать и тронуться вместе с ними вслед всему детдому на Урал. Многие деревни, однако, были уже под немцами, и первая девочка, которую удалось найти, была Тоня Панина, стоявшая с нами на паперти. Все лето и осень она проработала на прядильной фабрике близ Волоколамска. На рассвете сегодня ее на дороге обогнала машина полковника Гонтаренко. Полковник, видать, не был злым человеком: остановился, спросил, куда идет, и — подвез до монастыря.

— Электростанцию взрывать! Опять, стало быть, отступать собираетесь?

— Никто отступать не собирается! — огрызнулся Юхнов. — Вы же слышали — двадцать артиллерийских полков перед нами. И новая сила идет — разве не видели на дороге?

В душе у Юхнова тоже вилась снежная поземка. Метель замела дороги: куда идти? Не было уверенности: по той ли тропке, по которой надо, идем? Только Юхнов был постарше меня и потверже характером: у меня внутри что-то безмолвно плакало, в нем-же росла угрюмость, раздраженность и — решимость. «Крутолобый кержак»... — я завидовал его «кишкам», его «нутру» олонецкого раскольника-старовера.

— Послушай, как тебя зовут... Тоня? — обратился я к девочке. — Тоня, возьми вот эту курицу и свари, пока мы тут одно дело будем делать. Если найдется, добавь картошечки.

Тоня пошла варить обед. Старик Рябинин показал нам электростанцию — кирпичное строеньице в дальнем углу монастырского двора. Не успели мы, однако, перетащить туда взрывчатку, как в воротах послышались громкие голоса, конский топот, металлический перестук оружия и снаряжения. Передом на игреневом иноходце ехал коренастый, скуловатый командир в белом полушубке и лохматой крестьянской папахе; правой рукой он держал повод, а левая висела на перевязи.

— Доватор! — шепнул я Юхнову.

Командир 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майор Л. М. Доватор пользовался в те дни легендарной славой: поздней осенью 1941 года его казаки—«доваторцы» совершили глубокий рейд в немецком тылу, в районе Смоленска. Теперь штаб корпуса стоял в селе Степанчикове, где наша рота закладывала минные поля.

— Иноходец под ним тысячный, — сказал Юхнов.

Конь был рыжий, но грива и хвост седые. Живыми карими глазами Доватор окинул двор, шатровые башни по углам и, сопровождаемый штабными офицерами, медленно объехал собор и за собором — кладбище, где под могильными плитами лежали архимандриты и иноки. Бросив повод на луку седла, генерал поводил рукой, давал указания, и только он машистой иноходью выехал из ворот, появилось роты две солдат, которые принялись пробивать пушечные амбразуры в древней, с выкрошившимся кирпичем, стене, укреплять ворота, устраивать пулеметные гнезда на башнях, оборудовать позиции для зенитной батареи, рыть узкие — зигзагом — щели, чтобы спасаться от бомбежки.

Командир роты в стеганой телогрейке, с лицом еще серым от летнего загара, пояснил:

— Приказано строить укрепленный узел обороны. Кавалерийский полк будет сидеть тут, в тылу врага, делать вылазки, налеты на штабы, коммуникации, и опять запираться в крепости.

Круглые, как картечины, глазки Юхнова потемнели. Не отвечая, он повернулся и скрылся в полутьме электростанции, за чугунным маховым колесом. Минут пятнадцать-двадцать мы работали молча: привязывали толовые шашки к генератору, маховику, распределительному щиту, соединяли заряды детонирующим гексогеновым шнуром, передающим взрыв на семь километров в одну секунду, делали зажигательные трубки, обжимая капсюли, за неимением щипцов-обжимов, просто зубами. Наконец, Юхнов прервал молчание:

— Михалыч, какого ты мнения о Попове?

— По-моему, он сексот.

— Сексот?

— Когда-бы я ни оставался с ним наедине, он все-

гда пытался вынюхать, нет ли во мне симпатии к немцам, не жду ли я их, как освободителей, не собираюсь ли я к ним, при удобном моменте, переметнуться.

— Но ведь и я говорил тебе, что нам — народу, всей России — придется в пепле, у немца в ногах, поваляться. По-твоему, я тоже... сексот?

— Пустые слова... Порой, вспоминается мне твоя выставка, картина «Отец и сын». Вот русские люди — крепкие, как лесные корни! Борода у отца, как деготь, и у сына — вороная борода. Глаза у обоих тяжелые, строгие, точно каменные. Такого сына убей, на костре сожги, живьем в землю закапывай, он не отступится от отцовской веры. Не отступишься и ты — ни к большевикам, ни к немцам. Ты озлоблен, на людей кидаешься, как собака: директора «Союзплодоовощи» на Ярославском шоссе за малым не избил, а сейчас вот ни за что ни про что на старика-музыканта окрысился... В тебе нутро бунтует, кишки взбудоражены. Ты не хитришь, не скрытничаешь, как Попов. Тому только и дело, чтобы ниточку из человека потянуть, выпытать всю подноготную да в Особый отдел донести.

— Странно, мне никогда не приходило в голову, что Попов служит сексотом в НКВД. Какого он социального происхождения? В сексоты обычно вербуют «бывших людей» — кулаков, торговцев, родственников «врагов народа». Тебе не кажется, что Попов просто-напросто ищет единомышленника... компаниона в «нырики»?

Заминировав электростанцию, мы замкнули ее, написали на дверях: «Опасно — мины» и пошли обедать. Было уже за полдень. Красное, в синеватой окалине, солнце двигалось низко по горизонту, над слоистыми, как снеговые наструги, облаками. На дорогах, за стенами монастыря, слышалось, ползли обозы и дул, посвистывая, северо-восточный ветер, но тут, в затишке,

было безветренно, мирно, и по кустам можжевельника, над могилами, порхали — непотревоженные — красногрудые, зобастые снегири.

Учитель музыки жил рядом с собором, в полуподвале белого двухэтажного дома, на котором, как на торговом лабазе, висела жестяная вывеска: «Волоколамский историко-краеведческий музей». Тоня, отслоняясь от раскаленной плиты, снимала ложкой грязную пенку, накипавшую в чугуне. Она была совсем девочка: на простеньком лице еще не вырезались губы, грудь едва прорисовывалась под ситцевым, в брусничных пятнышках, платьицем. В дверях, ведших в другую комнату, стоял старик Рябинин, худой и остролицый.

— Проходите, пожалуйста, в мою комнату. Тоня, как там у тебя... подвигается?

— Курица старая — не уваришь...

Толстые, полутораметровые стены. Потолок сводчатый, низкий, как в боярских палатах допетровской Руси. Вместо резьбы и живописных узоров, однако, в серый цемент потолка были вделаны железные крючья: при монахах тут, верно, была кладовая. В квадратные оконца, на уровне с землею, виднелся угол крепостной стены, заросший репейником, и башня, похожая на киргизский шатер.

— Никола! — воскликнул я. — Глянь, тут целая библиотека!

Книжные полки тянулись по стенам низкой и полутемной комнаты. Книги лежали горками на подоконнике и письменном столе у окошка. В углу стояла узкая железная кровать, застланная серым одеялом. К спинке кровати голубенькой ленточкой была подвязана иконка, и старик Рябинин, перехватив мой — брошенный на иконку — удивленный взгляд, заслонил ее собою, а потом, как бы невзначай, набросил на спинку кровати свое потрепанное, порыжелое пальто.

— Чем другим, а книгами мы в монастыре богаты, — отозвался Рябинин. — Не знаю, известно ли вам, что монастырь был основан в 1469 году, при содействии Волоколамского князя Бориса Васильевича, и основатель его, Иосиф Волоцкий, сам был одним из замечательных древне-русских писателей.

— Автор «Просветителя», — вставил я. .

— Именно! — обрадовался Рябинин. — А вы с трудами Иосифа Волоцкого знакомы?

— По курсу древне-русской литературы в институте проходили.

— Иосиф же положил и начало громадной библиотеке. Он сам переписал Евангелие, Триодь постную, Богородничник, Псалтырь, Каноник. В библиотеке и по сию пору хранятся книги, писанные рукою Нила Сорского, рукописи Иоанна Дамаскина, митрополита Даниила. Когда-то сюда из столицы ученые приезжали для научно-исследовательской работы. Как литератор, вы, может быть, помните, что Степан Шевырев писал об Иосифовом монастыре в своей «Истории русской словесности».

— Не припоминаю, — смутился я.

Рябинин подошел к полке и, достав нужную книгу, — некогда знаменитый курс лекций С. П. Шевырева в Московском университете (1856 г.), — отыскал страницу:

> «В 18-ти верстах от Волоколамска красуется обитель Иосифова, огражденная башнями и стенами, как все древние наши обители. В нижнем соборном храме своем она хранит гробницу своего основателя. Когда вы подъезжаете к ней по Клинской дороге, от села Шестакова, которое некогда ей принадлежало, за десять верст уже виднеются ее белые и величественные столпостены. Три пруда, обширные, как озера, к ней прилегают. Один из них носит название Гурьевского, потому, вероятно, что рыт при славном архимандрите Гурии, первом основателе епархии Казан-

ской; другой перед самой обителью не носит названия и, вероятно, вырыт при самом Иосифе. В народе до сих пор есть предание, что Иосиф рыл эти пруды руками народа и платил всякому рабочему по 25 копеек ассигнациями в день. Когда народ выразил ему неудовольствие за эту плату, тогда Иосиф вынес народу огромный ворох меди, и велел брать из него каждому, загребая сколько угодно. Но сколько люди ни загребали, все выходило не более 25 копеек ассигнациями у каждого. Тогда все рабочие признали эту плату законною и более не требовали.

...В прудах в светлые дни отражаются стены, башни и храмы монастыря с красивою колокольнею, которая легкостью и стройностью зодчества напоминает колокольню Пизы. Ризница монастыря хранит два посоха, одежду и вериги Иосифовы. Библиотека имела 705 рукописей, из которых 236 обитель уступила ученым Троицкой лавры. Налево стоит густой сосновый бор, вероятно, развалина того леса, середи которого чудесный бурелом провалив многовековые сосны, указал место, где быть обители Иосифовой. Бор скрывает в версте от обители ту пустыньку, куда уединялся Иосиф от братии для богомыслия и уединенной молитвы, по примеру всех пустынных отходников Востока и древней Руси».

— Не угодно ли собор осмотреть, пока курица ваша варится? — предложил Рябинин. — В соборе — музей. Антирелигиозный, правда, но все-же музей, и потому много там осталось нетронутым, как было в давние-давние времена, до революции! Даже и кресты не сняты!..

Громко стуча подкованными солдатскими сапогами по белым плитам паперти, мы вошли в светлый и мертвый храм. Купол был полон солнца. Полуденные лучи косо падали на золото резных, витых царских врат. На колоннах, подпиравших своды храма, стояли в голубых одеждах, с пергаментами в руках, святители и праведники Православной церкви.

Нерешительно, с оглядкой на Юхнова, я снял пилотку с головы. Вспомнилось, как горластой толпой, в шапках, мы — школьники, студенты — вваливались в соборы, скажем, собор Василия Блаженного в Москве, где размещался Центральный антирелигиозный музей, и экскурсовод, приняв у входа группу, начинал, точно грамофонная пластинка, говорить заученные фразы о «религии — опиуме народа», «мракобесах-церковниках», «черноризной реакции». Не скажу, чтобы мы с жадностью прислушивались к речи экскурсовода-робота, но мы и не оскорблялись ею: просто-напросто разбредались по храму, тыкали пальцами в древние иконы, в шутку становились перед престолом, затягивали козлиным голосом:

Со святы-ыми упоко-ой...
Человек он был такой —
Любил выпить, закусить
И другую попросить!

Последние годы, перед войной, учась в ИФЛИ и работая в Ясной Поляне (музей-усадьба Льва Толстого), я начинал понимать, что церковь — существенный элемент нашей национальной жизни. «Партия Ленина-Сталина» в эти годы взяла новый курс: по кино-экранам проносился на боевом коне князь Александр Невский, по страницам романов проходили Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, все трое — первосвятители Русского Православия. Новый курс не противоречил моим размышлениям о церкви. Русские святые представлялись мне не как «святые», а как государственные люди, оставившие глубокий след в истории России. Отдавая дань времени, одна моя приятельница, студентка исторического факультета, написала курсовую работу на тему: «Иосиф Волоцкий». В XVI веке, когда русское государство только складывалось, — пи-

сала она, — Иосифлянская идея монастыря, основанного на дисциплине и регламентации, поддержка Иосифом царевой власти, власти — защитницы правоверия, более того, обожествление государства, все это необычайно способствовало возвышению и укреплению московской Руси. Такой подход к церкви был чисто внешний: церковь воспринималась, как часть русской культуры, государственности, — и только. Конечно, последние годы я не тыкал пальцем в иконы, не паясничал перед престолом, как в годы детства, но холодно, рационалистически относился к церкви, как исторической силе, которая сыграла свою роль и — отошла. Мистическая сторона церкви была для меня закрыта.

Впервые в жизни — в холодный, освистанный ледяными ветрами день 16 ноября 1941 года — вошел я в церковь нерешительно, робко, в неясном душевном смущении. Юхнов, только переступил порог, завладел стариком Рябининым: как профессионалы-знатоки, они переходили от иконы к иконе, которые принадлежали кисти Герасима Черного, иконописца XVI столетия. Почти в полусне — в том странном состоянии, в котором, быть может, находится зародыш в матке матери — я почему-то смотрел не на иконы, а на старика-музыканта. Белая, острая голова его, с седой бородкой клинышком, казалось, была отлита из серебра. Говорил он тихо, мягко, но, порою, твердо возражал, не соглашался. От него шла волна теплоты, участливости, готовности услужить, но — без услужливости, заискивания, раболепства. «Вера не противоположна разуму», — возразил он Юхнову. Он прав, вероятно, но прав и Юхнов, который не верит в разум, а верит в нутро, «кишки». Несчастье нашего поколения в том, что мы, воспитанные на принципах материалистической, марксистско-ленинской педагогики, придавали слишком большое значение «разуму» и пренебрегали «сентиментами»... Любовь? Половое влечение есть реальный факт

и естественная потребность, — без черемухи!.. Родина? Пустяки — пролетарии не имеют отечества!.. Народ? Абстракция — движущей силой истории является борьба классов и классовая солидарность крепче национального единства. Род отцов... — экая мистика, штучки-дрючки! Мы эмоционально нищи — обеднены! Правду сказал старик: оловянная чума съела. Пустота, дупло в груди... Потому то и расползлись, как навозная жижа! О-о-о! — протяжно, жалобно, как никогда громко, завыл ветер в моем дупле.

Посередине пустынного, в колоннах, храма я стоял молча, глядя на солнечные пятна на полу, и вдруг собор наполнился тысячеголовой толпою, замелькало множество восковых свечей, зажглись тяжелые — на цепях — лампады, вышли священники в золотых ризах, и дьякон взмахнул орарем:

С нами Бог,
Разумейте языцы,
И покоряйтеся,
Яко с нами Бог!..

Почти физически ощутил я присутствие молящейся толпы в храме. Вырастая на голову над толпой, стоял отец, сибирский пахарь и зверолов, — смоляная борода чернее рубахи, — а поближе к амвону стояла мать в платочке, с узелком в руке... Кругом — несчитанная наша коряковская родня. Тысячеголовая толпа, она вся мне была родная, — мой народ, по плоти, по крови, по нутру, по духу! Подняв глаза к узким стрельчатым окнам, я увидел, как по бледно-голубому морозному небу неслись — свиваясь и развиваясь знаменами — облака, и весь я наполнился радостью, что и сто, и двести лет назад так же тут летели облака, и тот же ветер пел над главами собора, квадратными башнями монастыря.

Видение жизни, вернувшейся в монастырь, не оставляло меня и тогда, когда мы вышли из собора. Бойцы из корпуса Доватора долбили кирками мерзлую землю, таскали чурбаки и, в клубах кирпичной пыли, проламывала бойницы в крепостной стене, но внутреннему моему глазу предстояла иная картина: над прудами веселым летним утром плывет колокольный звон, от Теряевой слободы по плотинам валом валят богомольцы и затопляют монастырский двор, в толпе шныряют проворные служки, а из собора плывет ладанный дым и доносится зычный бас протодьякона...

— Какая прелесть, наши церковные песнопения! — сказал я за столом, на котором дымилась белая, разваренная курица. — В Институте для практики в старо-славянском языке нам давали читать отрывки из служебных книг. «Благослови, душе моя, Господи, и вся внутренняя моя имя святое Его...» — когда-когда это было сказано! Архаичен язык, а ведь в этой-то архаичности, пожалуй, и заключена необоримая сила. Ничто ей не преграда — ни время, ни пространство...

— Ни движение! — воскликнул Рябинин, смеясь. — Потому что, вдуматься по-настоящему, церковь представляет собою взрывчатую и полную динамизма силу.

Дружба наша со стариком Рябининым, — моя и Юхнова, — росла не по часам, а по минутам, и к концу обеда мы уже знали, что он бывший священник, даже автор какой-то работы по свято-отеческому преданию. Ему было немногим более шестидесяти. Биография его была типична для русского интеллигента, выросшего на рубеже двух столетий. В молодости, студентом-естественником Петербургского университета, он, как и все, увлекался марксизмом, преподавал в рабочих кружках, за малым не угодил в сибирскую ссылку. Борьба марксистов с народниками, однако, пробудила в русской интеллигенции интерес к философии,

проблемам духовной культуры: марксизм не только преодолел народничество, но подготовил почву для преодоления марксизма. Начало XX века ознаменовалось переходом большинства русской интеллигенции от марксизма к идеализму — возвратом к религиозному содержанию русской культуры, христианству, Православию. Некоторые бывшие марксисты, как Сергей Булгаков, Сергей Дурылин и многие другие, среди них наш знакомый, стали священниками. Большевистская революция 1917 года была срывом культурно-религиозного ренессанса в России. Булгаков эмигрировал во Францию, Дурылин жил в нищете в Москве, подрабатывая случайными статейками по вопросам искусства, а некоторые, как Д. Ф. Рябинин, забрались в глушь, стали учителями, счетоводами, плотниками.

— Кстати, о языке молитв и песнопений, — сказал Рябинин. — Вы вспомнили псалом Давида, написанный три тысячи лет назад. А видели ли вы молитву митрополита Сергия, нынешнего местоблюстителя патриаршего престола в Москве? Молитву, которую он написал этим летом, как только немцы вторглись в Россию. Мне ее один боец показал и дал переписать. Удивительным языком написана!

Рябинин взял с письменного стола и протянул мне тетрадку:

> «Господи Боже сил, Боже спасения нашего, Боже творяй чудеса един. Призри в милости и щедротах на смиренныя рабы Твоя и человеколюбно услыши и помилуй нас: се бо врази наши собрашася на ны, во еже погубити нас и разорити святыни наша. Помози нам Боже, Спасителю наш, и избави нас, славы ради имени Твоего, и да приложатся к нам словеса, реченная Моисеем к людем Израильским: дерзайте, стойте, и узрите спасение от Господа, Господь бо поборет по нас. Ей, Господи Боже, Спасителю наш, крепосте и упование и заступление наше, не помяни беззаконий и

неправд людей Твоих и не отвратися от нас гневом своим, но в милостях и щедротах Твоих посети смиренныя рабы Твоя, ко Твоему благоутробию припадающия: восстани в помощь нашу и подаждь воинству нашему о имени Твоем победити; а им же судил еси положити на брани души своя, тем прости согрешения их, и в день праведного воздаяния Твоего воздай венцы нетления. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь».

— Если хотите, перепишите, — сказал Рябинин.

В сознании мелькнуло: — Нет! Не желая, однако, обидеть старика, я сказал:

— После... Сейчас мне хотелось бы осмотреть другой ваш музей, историко-краеведческий. Ты пойдешь, Никола?

— После... Перепишу молитву и приду.

— Мне, к сожалению, сейчас некогда, — сказал Рябинин. — Тоня, возьми ключи и отомкни товарищу.

Тоня стояла у плиты и чистила кухонным ножом кочерыжку. На дверном косяке висела на гвозде связка ключей. Брякнув ключами и откусив хрустящую кочерыжку, Тоня весело оглянулась на меня:

— Студеная! Детдом уехал, капуста неубранная осталась...

Музей был на втором этаже в том же доме. Тоня, мелькая по-детски длинными коленями, взбежала по лестнице и отомкнула висячий замок. Она была мила в шали, накинутой на плечи, простеньком ситцевом платьице, белом с брусничными пятнышками. На короткой шее синели дешевенькие стеклянные корольки.

Первая зала была уставлена сохами, цепами, прялками; в стеклянных шкапах стояли чучела глухарей и тетерок, лесных голубей. У входа во вторую залу белела этикетка: «Гостиная XIX века». Пояснялось, что

картины и мебель взяты из Яропольца, соседнего села, где находились две знаменитых усадьбы — генерал-фельдмаршала графа Чернышева и Н. И. Гончаровой, матери жены Пушкина.

В окна просторной, светлой гостиной били косые лучи. По зеркальному, позлащенному солнцем паркету Тоня выбежала на середину залы и радостно-восторженными, полными детского счастья глазами повела по стенам. Будто сквозь золотистую сетку на нас глядели со стен величественные седовласые дамы в шелковых серо-жемчужных платьях, екатерининские вельможи в париках и камзолах, красавцы-гусары в красных мундирах с золотыми шнурами и белых лосинах, тонко обтягивавших ноги.

— Какие они все важные! — воскликнула Тоня. — А этот, гляньте-ка, шаль намотал на голову!..

Она подбежала к серому от пыли бюсту, стоявшему у дверей. На гипсовой голове был тюрбан, лицо широкоскулое, татарское. Тоня потрогала меловой нос, и поглядела на пальцы:

— Пыли-то сколько! Вот я возьму тряпочку — все перетру! И зеркала надо вытереть, вишь как они потускнели... — показала она на овальные, заржавленные зеркала.

— А ты знаешь, кто этот широкоскулый, в тюрбане? — показал я на бюст.

Тоня кинула взгляд на этикетку:

— Гетман Дорошенко.

— Ты «Полтаву» Пушкина читала?

Когда-бы старый Дорошенко,
Иль Самойлович молодой,
Иль наш Палей иль Гордиенко
Владели силой войсковой,
Тогда-б в снегах чужбины дальней
Не погибали казаки!

— Дорошенко одно время жил у Чернышевых в Яропольце. Тут, — повел я рукой по стенам, — история наша, русская старина со всеми ее преданиями и особенностями быта. Монастырь, собор... — все это наше, наше! Не знаю, как высказать, сколь дорого мне все это, — как родной дом может быть дорог человеку! В старину люди жили по Божьим заповедям: «Чти отца и матерь твою», «Не пожелай дома ближнего своего», они стеной стояли, ограждая свой дом, гнездо, родину. А мы... оловянная чума нас съела! Расползлись... Тоня...

Девочка растерянно смотрела на меня, не понимая, о чем я говорил с таким волнением.

— Тоня, ты Богу молишься? — вдруг спросил я.

— Клавка молилась, так и я молилась... Подруга у меня была, Клавкой звали, отсюда же из детдома. Мы с ней на прядильной фабрике работали. Немцы Волоколамск бомбили, все мимо нас летали. Клавка, как услышит «в-виу, в-виу», начинает шептать: «Святый Боже, святый крепкий, помилуй нас». Сперва я за ней повторяла, а потом и сама стала молиться.

— Рассказываю Ему, что придет в голову... прошу что нибудь. Не разбомбило бы нас, отпустили бы нас с фабрики обратно в детдом, — Ваську мне хотелось повидать, братишку младшенького, — тятенька приехал бы да маменька...

— Они — где? Ты их помнишь?

— Нет, не помню. В детдоме мы — сироты. Только работницы на фабрике говорили, что, может, тятенька и маменька не умерли, а живут в лесах и могут притти за нами, если хорошенько попросить Бога.

— А почему ты одна вернулась? Потеряла Клаву?

— Клавку разбомбило...

— Как же она так, не убереглась? И Бог не уберег ее... не помиловал! Характер у Него злой, что ли? У меня сестренка есть в Москве, Даша, ей при бомбежке осколком в глаз ударило, а подруга у нее была, Валя Лукьянова, той весь живот разворотило. Бог, а с людьми обращается не по-божески...

— Ему не управиться, может быть? Ведь Он старенький, Бог... вы Его видели на иконе? Может, надо, чтобы Ему люди помогли?

Помолчали. В овальном, тускло блестевшем со стены зеркале я увидел свое лицо, сильно похудевшее за два месяца, проведенные на фронте, ссохшееся, с ввалившимися, бессонно горящими глазами.

— А вы... молитесь? — робко спросила девочка.

— Нет.

— Потому что Бог злой?

— Не только. Видишь ли... как тебе объяснить? Вот мы на фронте, курсанты из Москвы. Нас сто двадцать человек — рота. В роте у меня есть товарищи. Мы куском хлеба делимся, порою, спим под одной шинелью, во всем выручаем друг друга... по-братски. И вот, представь, они не веруют в Бога, не молятся... могу ли я молиться? Быть может, я даже и чувствую Бога, Его руку на мне, но я не хочу Ему молиться, не хочу о чем-нибудь Его просить, больше того—сбрасываю с себя Его руку, только, чтобы не изменять дружбе, братству, жить той самой жизнью, какой живут товарищи, во всем, до конца — до конца, разделять их судьбу. Понимаешь, верность...

— Ой! — вскрикнула Тоня и побледнела.

На монастырском дворе затрещали зенитные пулеметы. Высверливая пропеллером воздух, за окном пикировал — казалось, прямо на крышу музея — не-

мецкий бомбардировщик. Обнявши Тоню за плечи, я притиснул ее к себе — в простенке. Раздался удар, потрясший землю. В треске и звоне разбиваемого стекла, в «гостиную XIX века» ворвался острый, как бритва, ветер. Портреты дамы, одетой в тонкий шелк, с желтоватыми, яично-выпуклыми грудями, и красавца-гусара, затянутого в лосины, сорвались со своих мест и упали рядом на полу, средь битого стекла и штукатурки.

— В подвал! — крикнул я. — Бежим в подвал!

Тоня кинулась, прыгая через золоченые рамы портретов, осколки гипсового гетмана, в залу с сохами и самопрялками, оттуда — вниз по лестнице. Прямо от лестницы был проем, без двери, на монастырский двор, направо — дверь в полуподвал старика Рябинина. Девочка не успела взяться за скобу, как снова завыла косо-летящая фугаска.

— Па-адай! — заорал я и метнулся в угол возле выхода наружу.

Ослепительно-белый сверкнул огонь. Все кругом затрещало, свернулось, сгорело, как над костром березстинка. В углу, втянув голову в плечи, я стоял, оглушенный, как-бы вынесенный воздушной волной в другой мир и нечувствительный ко всему окружающему. Не знаю как долог был этот момент отрешенности и одиночества, — полного одиночества человека, предстоящего страшной, необоримой силе, — быть может, не более полминуты. Тотчас же я почувствовал, как на моем теле стянуло кожу, — острая, перехватившая дыхание тошнота. Только потом я увидел, что коридор полон пыли, пахнущего селитрой дыма. Пыль оседала. На стене, на моей серой ворсистой шинели висели белокровяные комочки мозга, по ступеням лестницы и полу расплескалась кровь. Швырнутая воздушной волной вглубь коридора, под лестницу, Тоня лежала нич-

ком без головы. Торчали хрящи шеи, белая кость позвоночника. Ситцевое платьице заголилось на подогнутом колене.

— Тоня!

Крик мой был заглушен новым взрывом на дворе, за собором. Пробежав через кухню, я плюхнулся на пол в комнате старика-учителя. Рябинин и Юхнов лежали на усеянном битым стеклом полу — у стены под окнами. Я подполз к Рябинину и прижался к нему животом, обнимая поцарапанными руками.

— Где Тоня? — глухо спросил он, уткнувшись лицом в стену.

Я промолчал. На дворе следовали один за другим взрывы, и я, затаив дыхание, ждал последнего неминуемого удара, в то же время прислушиваясь, однако, не только к взрывам, но и к будильнику, все время, теперь уже с новой, какою-то грозною силой, щелкавшему во мне. Каменные стены подвала дрожали.

— Где Тоня, я спрашиваю? — повернулся Рябинин всем телом.

Выцветшие старческие глаза блестели горячечно-маслянистым блеском. Опираясь руками, старик стал подыматься, но на мгновение опять припал: снова завыла фугаска. Бомба скользнула вдоль стены и упала за окнами подвала. В окна, через наши головы, полетели камни, комки мерзлой земли. В комнате все сорвалось с места — стол, стулья, картины, книги, крошечные частицы метели, опоясавшей в те дни Россию. Тотчас же после взрыва старик Рябинин поднялся на ноги и, будто подхваченный завихрениями, был вынесен из комнаты силой воздушного потока.

Взрывы стихли. Мы с Юхновым поднялись: у него лицо вспухло, глаза под крутым лбом сидели глу-

боко, но выпукло. Молча мы вышли из подвала. В коридоре я пошарил глазами, но Тони не нашел. На дворе смеркалось. За стенами монастыря слышалось большое движение: отступали войска. «Доваторцы», превращавшие монастырь в «узел обороны», построились неровными рядами и ушли; многие из них остались лежать на монастырском дворе в лужах крови. Тоня лежала у дверей на одеяле, прикрытая простыней.

Юхнов проговорил над девочкой:

... Выходила тоненькая-тоненькая,
Тоней называлась потому...

«Клавку разбомбило...» — послышался мне тихий голос Тони. И сразу же робкий вопрос: «А вы Богу молитесь?» Быть может, они уже встретились, Клава и Тоня? — щелкнуло вдруг во мне. Там, в загробной жизни... В загробной жизни? Да, в загробной жизни! Мы, люди нового времени, не верим в загробную жизнь потому, что нас не потрясает видение гроба. Материализм, как чума, произвел ужасающие опустошения. Духовные проявления сводя к категориям чисто физическим, к обыкновеннейшей сублимации, он лишил человека живого, единственно плодотворного, трансцедентального начала. Исчезла любовь, доброта, вообще чувствительность — даже при созерцании природы или произведений искусства. Духовные кастраты, эмоционально нищие люди, мы не думаем о смерти, о тайне смерти. И только теперь, сами очутившись на краю смерти, начинаем об этой тайне догадываться.

На покатом взводе, у широких дверей приземистого складского помещения, появился старик Рябинин с киркой и лопатой на плече.

— Давай, Никола, поможем вырыть могилу, — сказал я.

Юхнов толкнул меня локтем:

— Бурков приехал!

Широкий в плечах, медвежковатый подполковник крикнул от ворот:

— Ко мне!

Мы подбежали.

— Электростанция заминирована?

— Так точно, товарищ подполковник.

— Взорвать!

Бурков повел глазами по двору и остановился на колокольне, наклонной и взбегавшей вверх кружевными ярусами.

— Колокольню тоже взорвать!

— Взрывчатки нет, товарищ подполковник, — ответил Юхнов.

— Найти! Как ваша фамилия... Юхнов? Вы отвечаете!

Полковник выбежал за ворота и сел в машину.

— Кто на плотинах? — крикнул он из машины.

— Курсанты Попов и Люхов, — ответил Юхнов.

— Зачем же взрывать колокольню? — спросил я Юхнова, когда подполковник уехал.

— Боятся, стало быть, что немцы устроят тут наблюдательный пункт.

— Приказы, приказы... Полковник Гонтаренко: «Никакого отступления — впереди двадцать артиллерийских полков». Генерал Доватор: «Засядем в монастыре в тылу врага и будем делать вылазки». Подполковник Бурков: «Взорвать колокольню!» И никому не придет в голову, что полки вооружены горными мортирами, что за монастырскими стенами не укрыться, потому что сверху раздавят немецкие бомбардировщики, что никакого наблюдательного пункта немцам на ко-

локольне не нужно, так как не на прудах же задержатся наши войска и установят оборону... Приказывают, чтобы что-то приказывать, а дело идет своим ходом, и никому не дано видеть этого таинственного хода мировых вещей. Откуда же нам достать взрывчатку, Никола?

— Пойду на дорогу. Может быть, кто везет тол или мины в обозе. А ты... взрывай пока электростанцию!

Неторопливо и осмотрительно проверил я заряды, зажигательные трубки, цепь детонирующего шнура. Вместе с тем, однако, нельзя пренебрегать и приказами, — пронеслось в голове. — Немцы за четыре месяца прошли от Восточной Пруссии до Москвы, но правда ли то, что нет силы, которая бы их остановила? Где? На Истринских озерах, канале Москва-Волга, даже тут, на прудах... — опорные пункты надежды! На войне приказы, по большей части, кажутся абсурдными и невыполнимыми. Но кто может сказать, что приказ невыполним, пока не отданы все силы на выполнение приказа? Невыполнимых приказов нет, и долг солдата на фронте — стоять до последнего, не щадя жизни, со всем спокойствием переступая порог смерти. Таинственен ход мировых вещей, таинственна мировая драма... То, что разыгрывается на полях Подмосковья, является лишь мимолетным актом этой вечной, не имеющей конца драмы, — все мы вовлечены в нее, и каждый из нас должен играть свою роль, пока не придет время сойти со сцены. Надо уметь принимать все: болезнь, рану, смерть. Война не есть проявление злой воли Бога, но величайший урок смирения, бескорыстия, жертвенности.

До блеска наточенным перочинным ножом я обрезал на зажигательной трубке, привязанной к дверному косяку у входа в электростанцию, кончик бикфордова

шнура. К пороховому сердечку, обнажившемуся на длинном кривом срезе, приложил спичечную головку и чиркнул по ней коробком. Шнур быстро зашипел, загорелся, стреляя искрами. Тридцать сантиметров бикфордова шнура — тридцать секунд... Только я забежал за угол соседнего здания, — раздался взрыв. Электростанция была превращена в развалины.

Юхнов пригнал на монастырский двор подводу, груженную продолговатыми деревянными минами ЯМ-5. Ездовой, стариковатый солдат в обледенелой, горбившейся шинели, складывал у церковной паперти мины и твердил:

— Ты, мил человек, расписку мне напиши на военное имучество... Правду сказать, я рад-радешенек от этого добра избавиться, — вишь, как кобыла боками носит, заморилась, куда там такую кладь везти! — а все-же расписку твою, с полным именем, я как-никак обязан предоставить по начальству.

— Напишу, напишу, — отвечал Юхнов. — Давай, Михалыч, делай зажигательную трубку!

— Жалко колокольню, Никола! Помнишь, еще Шевырев писал: «легкостью и стройностью зодчества она напоминает колокольню Пизы»... И ни к чему, совсем ни к чему ее взрывать!

— И жалко, и ни к чему!.. — раздраженно ответил Юхнов. — Только я с немцами оставаться не собираюсь, а под трибунал тоже итти не хочу... Делай трубку!

Мы перетащили мины в колокольню. Кольцом обложили изнутри стену. Оставшиеся мины расставили по ступенькам лестницы. Достаточно было взорвать одну мину, — остальные взорвутся и без шнура, по детонации.

— Трубка?

— Готова... Я положил ее там, на ступеньках паперти.

— Неси скорее...

На двор залетали с визгом мины. За стенами монастыря, на опушке леса, сухо трещали автоматы. В сумерках, только я вышел наружу, мелькнула белая заячья шапка. Кто-то юркнул по лестнице вниз, в подвальную церковь под собором.

— Попов! — крикнул я. — Это вы, Попов?

Никто мне не ответил.

— Трубку! — послышалось из колокольни.

Юхнов вставил капсюль в мину и поджег шнур.

— Бежим!

Позади ухнул взрыв. На бегу я оглянулся. Колокольня, подсеченная у основания, сместилась всеми восемью ярусами чуть в сторону, на малую долю секунды повисла в воздухе и упала огромным холмом битого кирпича, в клубах ржавой пыли. На кладбище за собором, среди кустов можжевельника, Рябинин долбил киркой мерзлую землю. На труп Тони, лежавший рядом с могилкой, на плечи старика-учителя, на наши пилотки оседала кирпичная пыль. В зеленоватом вечернем небе, с наличников под главами собора, на нас смотрели строгие лики святых.

В воротах монастыря показались три-четыре немецких солдата. Один из них пустил нам вдогонку длинную очередь из автомата. Мы просунулись в пролом, пробитый доваторцами в старой, мшистой крепостной стене и кинулись, подобрав полы шинелей, к плотине.

— Ты знаешь, я видел в монастыре Попова... нырнул в подвал под собором!

— Пусть бы его там кирпичами завалило! — оскалился Юхнов.

На плотине издыхал, корчился в упряжке мул; из живота, разодранного осколком мины, вывалились

кишки, — кровь дымилась на морозе. Под косогором полыхал костром трехтонный грузовик «ЗИС-5», опрокинутый и подожженный, повидимому, потому, что из-за него на плотине образовалась пробка. По темно-сизому, в багровых отсветах, льду перебегали редкие солдаты.

— Пашка, ты почему до сих пор не взорвал плотину? — выкрикнул, задыхаясь, Юхнов.

Пашка Люхов тревожно смотрел в сторону нижней плотины, где Стрелецкая улица Теряевой слободы переходила в шоссе Клин-Волоколамск.

— Приказ был, чтобы мне взрывать сразу же, как будет взорвана та плотина.

— Взрывай, не жди Попова, — кинул Юхнов и побежал вдоль пруда.

По берегу, освещенному пожарами, взметывая снег и комочки земли, били немецкие пулеметчики. На окраине Теряевой слободы наша пехота, числом не более полуроты, залегла в обороне. Оборона на прудах была слабой опорой для надежды, что тут удастся остановить неприятеля. Но, пробегая под пулеметным огнем по берегу пруда, вырытого Иосифом Волоцким, я знал, что война — таинственная драма, и верил, что бывает чудо на войне, непонятные, необъяснимые повороты. Плохой или хороший, солдат на переднем крае не что иное, как инструмент чуда. «Может, надо, чтобы люди помогали Богу», — сказала Тоня, полная детски-наивной веры. Быть верным отчему дому и отчей вере... — опереться и стоять! «Дерзайте, стойте и узрите спасение от Господа, Господь бо поборет по нас...»

Юхнов был первым у плотины. Не успел я добежать, он нашел уже и запалил зажигательную трубку. Вслед за ним я прыгнул в глубокую, вывороченную фугаской воронку. На мгновение нас ослепила огром-

ная, в полнеба, вспышка, осветившая на темном небе купола собора и стены монастыря. Припав лицом к скату воронки, мы слушали, как в вышине обломился и рассыпался брызгами столб воды и начали тяжело шлепаться комья земли, щебень, щепки. Тотчас же земля дрогнула от другого взрыва. В проломах разрушенных фугасами плотин ходуном ходила хлынувшая справа и слева вода.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НА ЗАПАД!

(Главы из книги «Почему я не возвращаюсь в СССР»)

ПАНИХИДА

Весной 1944 года наша Шестая воздушная армия перебрасывалась с Северо-Западного фронта на Первый Белорусский: из-под Новгорода — на Волынь, в район Луцка и Ковеля. В войсках тогда царил необычайный подъем: была уже очищена от немцев Украина, окончательно освобожден от блокады Ленинград, — все понимали, что еще один удар, и мы перешагнем границы, вступим в Румынию, Польшу, районы Прибалтики. И в моей личной жизни это была полоса подъема: как военный авиационный корреспондент, я много летал по полкам и дивизиям, бывал на различных участках фронта, многое видел и, если не мог обо всем писать, то старался хотя бы все запомнить. Тетради мои распухали от записей: хотелось понять и победу, одержанную в воздушном бою, где наши летчики применили новую тактическую комбинацию, и поражение, явившееся результатом того, что противник использовал еще более хитрый, еще более неожиданный тактический прием. Тактику воздушного боя я изучил неплохо, привык разбираться в ее тонких и сложных зависимостях от авиационной техники. Летчики в полках привыкли ко мне, считали вполне своим. Командующий Шестой воздушной армией генерал-лейтенант авиации Ф. П. Полынин, сам летчик-истребитель, наградил меня военным орденом — орденом Красной звезды и разрешил при передислокации армии на Волынь ехать не в эшелоне, а пассажирским поездом, причем — задержаться в Москве на неделю.

Москва — наше все... Там, в узком, косом переулке меж Трубной и Сретенкой, в маленькой комнатке пылились на полках книги, которых я не касался с начала войны, а за Москва-рекой, на тихой улице Зацепе, в деревянном двухэтажном доме, жила моя радость, моя мечта... Надежды, мечтания, планы на будущее, литературные замыслы, — все это связывалось с Москвою. В походной сумке у меня лежала толстая — в 250 страниц — рукопись: первая книга, которую я собирался издать в Москве.

Это была невыдуманная, документальная книга. Называлась она — «День на колокольне». В ней описывались события, происшедшие за один день на маленьком участке Северо-Западного фронта. Как известно, фронт этот долго, два года, стоял: война велась позиционная. Километров на двадцать по ту и другую сторону от позиций простиралась снежная безлюдная пустыня: деревни исчезли бесследно — или сгорели под двухлетними артиллерийскими обстрелами и бомбежками, или были растащены на блиндажи, землянки, а, главным образом, на многоверстные деревянные мостовые, которыми устилались незамерзающие болота. Но неподалеку от передовых позиций чудом уцелела колокольня — единственный знак, что была здесь когда-то деревня Большая Ивановщина *). На протяжении двух лет немецкие артиллеристы безуспешно палили по этой мишени: прямым попаданием был разрушен алтарь, обвалились церковные стены, а колокольня — такая своей высотою нам нужная! — стояла как стояла: исцарапанная осколками, задымленная, крепко схваченная железными обручами. Наши армейские оперативники оборудовали на колокольне авиационный наблюдательный пункт. Оттуда отлично просматривалась немецкая линия обороны, да-

*) Район Старой Руссы, к югу от озера Ильмень.

же подступы к полю боя. Находясь на колокольне, офицеры штаба Воздушной армии держали непрерывную связь по радио как с пехотой и артиллерией, так и с летчиками, находившимися в воздухе, — они указывали штурмовым самолетам цели, руководили воздушными боями, разыгрывавшимися по десяти раз на день над передовыми позициями, и, главное, координировали совместные действия всех родов войск. И вот, описание того, что можно было увидеть в течение одного дня с колокольни Большой Ивановщины, составило целую книгу. Один день на маленьком — узком и тихом — участке фронта... Но какая длинная вереница до чрезвычайности разнообразных — пестрых, порою, крикливо-контрастных — событий! Конечно, для того, чтобы разглядеть события одного дня, потребовалось провести на колокольне в общей сложности добрых два месяца. Надо было положить этот крохотный и недвижный, позиционный участок фронта под микроскоп, — война открывалась как неразъединимое, иногда трудно различимое сплетение трагического, смешного и обыденного. «День на колокольне» — это была, пользуясь старинным термином, физиология войны.

Книгу — в рукописи — читали на фронте летчики: им нравилась фактическая сторона дела — тактическая грамотность, спокойный тон и трезвость в описании событий. В Москве ее прочитали друзья-литераторы: они оценили сюжетный прием (день на колокольне) и новизну темы (физиология войны). Однако, в Госиздате мне сделали возражение неожиданное:

— «День на колокольне»... Почему, собственно, на колокольне?

Минна Марковна Юнович, профессор, редактор журнала «Октябрь», издаваемого Госиздатом, поставила меня этим вопросом втупик. Ни мне, никому другому из читавших прежде рукопись и в голову не при-

ходило — подвергать сомнению название, в котором заключалась самая сущность книги.

— Ну... — смущенно ответил я, — на колокольне, то-есть на наблюдательном пункте. Только это нехорошо звучит: «На наблюдательном пункте». Очень уж неуклюже: «на на»...

— Но и колокольня, согласитесь, тоже нехорошо. Вообще, колокольня здесь ни к чему. Не надо колокольни!

— Как ни к чему? Ведь во всей книге..

— Изо всей книги — убрать колокольню. Пусть она будет тоже разрушена, как и церковь. А наблюдательный пункт устройте на сосне. Не на сосне, так на вышке. Не мне вас учить — вы эти дела лучше знаете. За всем тем — книга хорошая, поздравляю. Вашу рукопись передаю Александру Ивановичу, он ее почистит, отредактирует, и все в порядке! Поздравляю!

Поздравления Минны Марковны меня не обнадеживали: я знал, что в кругу московских писателей ее зовут «Минна замедленного действия». И она, действительно, подложила мне мину — взрывчатого, импульсивного и уж совершенно непримиримого к «колокольням» редактора Александра Ивановича Гутмана.

— Помилуйте, что вы тут написали! — воскликнул Гутман, когда я дня через два зашел к нему. — Я только начал читать вашу рукопись и сразу вижу — не то!

— А что именно?

— Да вот — читайте! — протянул он страницу, отчеркнутую красным карандашем:

> «... На полуобвалившейся, точно срезанной наискось стене церкви еще виднелись остатки старинной живописи. Над снежной пустыней, не сохранившей и знака человеческого жилья, потому что люди, одни ушли отсюда, а другие закопались в землю, — в неприметные, замаскирован-

ные траншеи и блиндажи, — над землею, изрытой снарядами, бомбами, стояли в вышине святители, угодники. Голубые одежды их были изодраны осколками, замазаны пороховой копотью. Два христианских воина стояли, опустив мечи. Они протягивали по своду свиток: «На земле мир и в человецех благоволение»....

— И что же? — спросил я Гутмана уже вызывающим тоном, приготовившись отстаивать эту страницу, в которой как-то отразилось мое личное восприятие виденного.

— Требуется, чтобы я вам разъяснял ваши-же писания? — ответил Гутман. — Вы не думаете, надеюсь, что ежели в Гослитиздате будет теперь печататься «Журнал Московской Патриархии», то и журнал «Октябрь» может помещать вот такие страницы, полные любования святителями, угодниками и еще чорт знает чем! Вот что, я еще не прочел вашу рукопись, только начал, но эту страницу — сразу вам говорю — мы выбросим.

— Нет, мы не выбросим!..

Гутман посмотрел на меня озадаченно. Помолчав от непривычного удивления, он сгреб разлетавшиеся страницы:

— Тогда забирайте рукопись!

— И заберу!

Из Госиздата я пошел в Союз писателей. Там существовала Военная комиссия. В ее ведении находились писатели-фронтовики. Совместно с Главным политическим управлением Красной армии она распределяла писателей по фронтовым газетам и следила за их работой — «литературной продукцией». Председательствовал в комиссии А. М. Лейтес, критик.

Не знаю, читал ли он «День на колокольне». Кажется, он ознакомился с рукописью со слов рецензента. Тем не менее, Лейтес не постеснялся написать сле-

дующее — окончательное — суждение о моей злополучной книге:

> «По языку и сюжетному построению книга заслуживает внимания. Необходима некоторая переработка: 1) Описываемый день показать, как день наступления — конец позиционности, стабильности. Тема книги — «День прорыва» (порекомендовать автору использовать это в качестве заглавия). 2) Тема требует динамизма, на что обратить особенное внимание при переработке книги. У автора чувствуется пацифистская — или религиозная? — настроенность, которая должна быть удалена из книги и внутренне изжита автором, в интересах его же дальнейшей литературной деятельности».

Надо правду сказать: записка Лейтеса, пришпиленная к титульному листу возвращенной мне рукописи, заставила меня призадуматься. Дело в том, что я — за всю мою тридцатилетнюю жизнь — никогда до войны не был склонен к каким-либо религиозным проявлениям. Правда, во время войны, осенью 1941 года, мне довелось испытать душевный обвал, но я понимал, что писать об этом еще не время, и не вносил, конечно, в книгу никакой религиозной настроенности. Не выражалась ли она незаметно для меня, помимо моей воли?

В мемуарной литературе, в различных воспоминаниях детства и юности, встречаются неизбежные главы о поездках с родителями на богомолье, о том, какое огромное впечатление производят церковное благолепие, благостность песнопений на нежную, восприимчивую душу ребенка. Ничего такого мне не случалось видеть в детстве. В деревеньке, где я родился, — затерянной в темной сибирской тайге, у саянских предгорий, — церкви вовсе не было. Вспоминая ранние свои годы, я мог бы рассказать, пожалуй, о не-

сколько дикой, очень близкой к природе, естественной жизни. Бурлила, вся в лесных заломах, река Кан, полная удивительной рыбы — харьюзов, стояла над деревней гора с татарским названием «Янда», а дальше высилось Белогорье — снеговой хребет, за которым (рассказывали охотники) открывалась пустыня, другая страна — Монголия. Народ, окружавший меня, отец и мать, родня, конечно, знали Бога, но, живя суровой таежной жизнью, они не привыкли к внешним проявлениям своих чувств — религиозных, родительских даже — и, наверное, только в душе считали (без особенных размышлений, впрочем), что лучшее, чем они могут послужить Богу — это работа, воспитание потомства, сама их жизнь, трудовая и неразбойная. Мать моя была совсем неграмотна и я не припомню, чтобы она когда-нибудь учила меня молитвам, — она их не знала, думаю. Но вся ее жизнь была, тем не менее, как молитва: она действительно отдавала ее «за други своя» и в особенности, конечно, за нас, детей. В воспитание наше отец и мать, как ни странно, вкладывали какие-то идеальные устремления. Выросшие в той же самой деревеньке, они непременно хотели поднять нас над этой темной, лесной жизнью. Ссыльный поляк научил отца грамоте, и долгие годы отец читал книжку «Божий мир». В книжке рассказывалось про разных зверей, про другие народы, далекие страны. И вот, когда я вырос, мать обрядила меня во все новое, хоть и посконное, а отец — повез из тайги, за 60 верст, в город, чтобы я учился, чтобы мне открылся Божий мир.

Шел 1923 год. Не затих еще — с опозданием докатившийся до Сибири — гром произведенной где-то революции. В городе происходили собрания, манифестации. Начинались они и кончались одним: пением «Интернационала» — о разрушении старого мира и построении нового.

Божий мир упразднялся. По воскресеньям нас, школьников, собирали в пионерский клуб, и, подымая, как хоругви, полотнища с надписями: «Долой попов и империалистов!», мы шли на Базарную площадь, к церкви, где тогда еще отправлялись воскресные службы. Детская душа моя заполнялась другими радостями, нежели те, которые вспоминаются мемуаристами. Весело было — склеить из картона большую церковь, размалевать голубые купола и золотые маковки с крестами, а потом — понести все это — шумной ватагой — на площадь, поставить перед настоящей церковью и — поджечь! И долго, с факелами, скакать и плясать вокруг горящей бумажной церкви и кричать песню:

Сергий-поп, Сергий-поп,
Сергий-дьякон и дьячек...

Таково было наше «воспитание чувств». И что же, выросли мы безбожниками? Нимало. Воспитатели наши — пионервожатые, комсомольские «отсекры» (ответственные секретари) — прилагали к этому все усилия. Нам давали как учебник «Библию для верующих и неверующих» — книгу Емельяна Ярославского, содержавшую подбор невероятностей христианской легенды. На меня и товарищей моих сочинение Ярославского не производило впечатления: не зная Библии подлинной, мы не интересовались и опровержениями ее. Точно так же: не зная Бога, мы не могли его ниспровергать. Богоборчество как идея (а не как система репрессий) потерпело неудачу. Не стали мы религиозными, не стали и атеистами, а так себе, «никакими». Никакого отношения к Богу — индифферентизм, равнодушие...

В состоянии религиозного индифферентизма пребывал я долгие годы — до самой войны. Понадоби-

лась гроза, разразившаяся летом 1941 года, чтобы, как молнией, озарилась тьма. Не летом даже, а осенью, именно осенью, когда один офицер с русской фамилией Клочков, оседлавший с горсточкой солдат Волоколамское шоссе и приготовившийся стоять на-смерть перед надвигавшимися немецкими танками, крикнул солдатам: «Отступать больше некуда: позади Москва!» Москва — наше все, и все мы — Москва, Россия приготовились стоять на-смерть. Перед лицом смерти всяческие материальные ценности, то-есть все то, что питало и обуславливало наш религиозный индифферентизм, — перестали быть ценностями. Единственно нужным, животворящим чувством оказалось «чувство Неба», чувство великой безмерной ответственности не перед собой и не перед страной, — нет, перед тем, что стало вдруг гораздо ближе и конкретнее — перед Богом!

В последующие военные годы, командуя ротой и испытывая превратности фронтовой жизни, я имел возможность наблюдать в моих солдатах такие своеобразные духовные особенности — особенности нашего национально-русского духа, которые свидетельствовали о их (солдат) несомненной, пусть даже невольной, стихийной религиозности. Патриотизм, чувство Родины проявлялись как извечные, неизменные в своей древности духовные черты, заложенные в солдатскую душу Святыми Отцами — Церковью. Все мы — и я, и мои солдаты — внешне были оторваны от Церкви, по внутреннему же естеству своему мы Ей принадлежали, мы были Ее сыновья.

Весной 1944 года я много размышлял об этом. Война окончательно повернула на победу: актуальным стало изучение военного опыта, чем я и занимался, как корреспондент при Воздушной армии. Было, однако, ясно, что опыт войны надо изучать не только с точки зрения тактики, но так же — духа. Как внут-

ренне переменился народ на войне? Что заострилось и что окрепло за эти годы в душе солдата? В силу известных условий невозможно было обсуждать эти вопросы открыто. Никоим образом не вносил я своих раздумий в рассказы и очерки, в книгу «День на колокольне». Впрочем, с книгой произошло — помимо моей воли — нечто странное. Книга имела темой физиологию войны и представляла подлинный — как кусок живой ткани для микроскопического анализа — срез с небольшого и определенного, невыдуманного участка фронта, и естественно, что вместе с фронтовой жизнью, стихией военного быта, в книгу влилась могучая, несомненная в своей реальности, религиозная жизнь.

«Руководящий товарищ» из Союза писателей ее учуял в книге. По своей должности, Лейтес обладал великолепным — «дуббельтовским» — нюхом. Хотя в книге не высказывалось прямо ничего такого, что противоречило бы общепринятому и государственно-установленному марксистско-ленинскому мировоззрению, он почувствовал разность мироощущения, иную душевную установку. Конечно же книга нуждалась в переработке! Мне ее не пришлось забрать, что являлось хотя бы пассивным, но все же проявлением независимости, — мне ее попросту вернули. И вот, идя по Москве с непринятой рукописью подмышкой, я думал так:

— Когда изучается опыт войны, — военно-тактический опыт, — мы не устаем повторять: «необходимо извлечь уроки». Будет ли изучен и понят другой опыт войны — духовный? И будут ли в области свободы духа какие-нибудь изменения после войны? Поймут ли там, на-верхах, что из духовного опыта, приобретенного за годы войны всем народом, в том числе, вероятно, и партией, необходимо извлечь уроки? Или останется все по-старому?

Так случилось, что ответ я получил незамедлительно. На пути из Союза писателей зашел в бывший Румянцевский музей, нынешнюю «Ленинку», т. е. Библиотеку имени В. И. Ленина. В годы войны, на фронте, как только с грустью подумаешь о Москве, и теперь, на чужбине, когда затоскуешь об оставленной — Бог весть, насколько — родине, вспоминалась и вспоминается неизменно «Ленинка». Да, была жизнь: в девять утра пробежаться в голубом морозе по московским улицам, взбежать по отлогой мраморной лестнице мимо барельефа графа Румянцева-Задунайского, войти в теплый зал с еще зажженными люстрами, окинуть взглядом антресоли, улыбнуться девушке, что тащит тебе груду книг, заказанных с вечера, и — засесть в углу, у теплой батарейки, пока опять не стемнеет и снова не зажгутся огни на улицах... Приезжая с фронта в Москву, я каждый день, хоть на минуту, заходил в «Ленинку»: повидаться с друзьями, узнать литературные новости, взглянуть на книжные новинки.

На хорах, в маленькой, так называемой «Специальной читальной зале», постоянно работал старенький профессор, завсегдатай библиотеки. Он был библиограф, книжный червь, и меня любил — как книголюба. В мирное время не проходило дня, чтобы мы не встречались, соседи столиками, и у нас вошло в привычку — обмениваться находками. Пуще всего нравилось: отыскать забытое, совершенно затерянное в истории русской литературы имя и обновить его, так раскрыть жизнь и творчество найденного писателя, что он окажется ничем не меньше признанных столпов. Мало-по-малу мы сблизились, уверились друг в друге и о многом говорили с откровенностью.

В военные годы мы не встречались: мне сказали, что профессор — в эвакуации, кажется, в Кзыл-Орде. Но сегодня, войдя в полупустую залу тихими шагами, я увидел его на обычном месте. Он был все тот же:

черный, с узенькими старомодными лацканами пиджак, на плечах густо усыпанный перхотью, желтые прокуренные усы и бугристая голова, опушенная легкими, редкими волосами. Меня всегда забавляла его манера читать: он пришепетывал, подмигивал весело и лукаво автору: «знаю, мол, тебя, пройдоху!», — порой сердито отодвигал книгу в сторону и тотчас же принимался за нее снова. Он жил с книгами, как с живыми людьми: сердился на них или одарял нежным вниманием, заботами. Приблизившись к его столику, я без труда заметил, что та книга, которую он читал, его рассердила: шишки на голове побагровели, усы растопырились и он не пришепетывал — фыркал!

— Алексей Михайлыч... — сказал я.

— А-а, вы кстати, — отозвался он так, как будто видел меня вчера, хотя между последней и этой встречами лежала осень 1941 года и еще три года войны. — Показать вам это? Показать?

Профессор тяжело захлопнул книгу и, взяв обеими руками, протянул ее мне. То было роскошное издание: золотое тиснение по голубому переплету, веленевая бумага, иллюстрации, отпечатанные по способу меццо-тинто. Древне-славянской золотой вязью было выведено название книги: «Правда о религии в России».

В книге были собраны патриотические проповеди Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Сергия, произнесенные им в годы войны, описание Пасхальной ночи в Москве, рассказы о том, как православные по всей России собирали деньги на постройку танковой колонны «Дмитрий Донской».

Открывалась книга портретом Сергия. Давно, еще до войны, меня интересовала эта личность, исполненная величавости, благородства. Правда, не церковные, не религиозные причины вызвали интерес к Митрополиту. Художник Арсеньев — ученик покойного

М. В. Нестерова — показывал мне в мае 1941 года многочисленные этюды к картине «Реквием». Этой громадной — шесть метров на девять — картиной художник задумал воздать вечную память мученикам Русской Церкви. Среди этюдов были портреты — монахини Нины (Оболенской), которая, будучи еще юной девушкой, прошла Соловецкую, Тобольскую и Нарымскую ссылки и где-то в конце концов сгинула; архиепископа Трифона (Трубецкого), умершего в тюрьме; безымянных схимников, скрывавшихся в катакомбах; юродивых, староверов, старцев-черноризцев... Тогда же в мастерской я увидел впервые и портрет Сергия, написанный с натуры. Арсеньев — философ кисти, мастер психологического портрета. Как живописца, его, разумеется, интересовали колористические задачи — соседство белого клобука с фиолетовой мантией, распределение света по широко разметавшейся на груди бороде, но он старался представить не только яркий по точности внешний облик, — нет, также и внутренний портрет Первосвятителя. Из-под очков и нависших густых бровей серые глаза смотрели правдиво и ясно, а чуть откинутая рука крепко держала патриарший посох. Неподкупный в своем смирении, твердый в своем служении — в сочетании таких качеств предстоял Митрополит на портрете Арсеньева, и я попросил художника рассказать о нем поподробнее.

— А вы о нем ничего не знаете? — удивился художник.

— Признаюсь, ничего.

— Ну да, в нашем институте философии имя Сергия не звучит. Между тем, не кто иной, как Сергий, был председателем знаменитого Религиозно-философского общества. Это — целая глава в истории русской общественной мысли, ее нельзя не знать.

— Припоминаю, что там председательствовал ректор Петербургской духовной академии, но никогда не

думал, что это и есть нынешний Патриарший Местоблюститель Сергий.

— Он самый! Когда случилась революция, Сергий не эмигрировал — остался в России. Не один раз Сергия бросали в тюрьму, и что ему только ни угрожало, но он знал, что народ, его паства, тоже придавлена всем случившимся, и понимал, что не след ему, пастырю, желать лучшей доли. В нем — что то от Сергия Радонежского. Тот в тяжелые времена, при татарском иге, занимался внутренним строением русского народа, чтобы народ нравственно не упал, не впал в отчаяние. Так и наш Сергий. Подумайте, что значит — в такой обстановке, какая нас окружает, охранять Церковь от разделения, от покушений всех этих обновленцев, живоцерковников, григорьевцев. Много нравственной силы надо иметь самому, чтобы так, как Сергий, оберегать и укреплять живую душу народа. Про такого действительно можно сказать, что он несет службу «ради Иисуса, а не ради хлеба куса».

После разговора с Арсеньевым я больше не вспоминал и не думал о Митрополите, но в июне 1941 года, в самом начале войны, пришла однажды моя крестовая сестра Даша и сказала:

— Знаешь, говорят, Сергий служит сегодня молебен о победе. Я пойду...

Имя Сергия зазвучало в народе громко. Передавали, как он в обращении к Пастырям сказал: «Положим души свои вместе с паствой». Переписывали от руки и передавали по цепочке молитву Сергия, которая мне, порой, вспоминалась на фронте: «... а им же судил еси положити на брани души своя, тем прости согрешения их, и в день праведного воздаяния Твоего воздай венцы нетления». Заветы древних строителей Русской Земли оживали в молитвах и проповедях, в самой личности Первосвятителя. Думалось: нет худа без добра, и, может быть, война послужит тому, что возродятся наши

древние, национально-русские заветы, укрепится дело Православия, и страна пойдет по пути органического развития, не искаженного в угоду надуманным, черепным теориям.

И вот, приняв из рук профессора книгу — «Правда о религии в России», едва открыв ее, я наткнулся на поразительную страницу, выражавшую такие же чаяния и ожидания. На молебне о победе русского воинства, 26 июня 1941 года, Митрополит Сергий сказал:

«... Пусть гроза надвигается. Мы знаем, что она приносит не одни бедствия, но и пользу: она освежает воздух и изгоняет всякие миазмы. Да послужит и наступившая военная гроза к оздоровлению нашей атмосферы духовной».

В словах Сергия открывался смысл войны. Не для того матери послали в огонь сыновей, не для того жены пошли к доменным печам, прокатным станам, тракторам, сеялкам, и я не для того, оставив дом, надел шершавую шинель и опоясался крест-на-крест ремнями, — нет, не для того, чтобы после войны все осталось по-старому! Очистить русскую землю от чужеземцев и очистить духовную атмосферу внутри страны, — так осознавалась конечная цель войны.

— Как раз на это я и хотел обратить ваше внимание, — сказал профессор, заметив, что я уткнулся в страницу, где говорилось о необходимости оздоровления нашей духовной атмосферы. — Что вы на это скажете, товарищ... — сколько там у вас звездочек? четыре?.. — товарищ капитан?

— Надо верить в разумный ход вещей, — ответил я. — Война, охватившая мир и изменившая судьбы многих народов, не может закончиться неразумно. Она не может иметь конец, какого-бы не желали сражающиеся.

Профессор откинулся в кресле и посмотрел в окно. За окном голубел весенний московский денек. По Ка-

менному мосту бежали трамваи, ломовые везли лед от Москва-реки, над Боровицкими воротами взлетали черные галки.

— Они там, — показал он через окно на Кремль, — понимают ли это?

— Люди там сидят неглупые, — возразил я. — Должны понимать.

— Как же, как же! Видите у меня на столе — «Журнал Московской Патриархии», свеженький, только что из типографии. А «Безбожника», голубенок мой, того... прихлопнули! Ах, жалко, что вы не приехали чуть пораньше. Пасху-то нынче как мы отпраздновали!

Профессор распустил на желтом, сморщенном лице морщины, заулыбался, повеселел:

— На Елохове — крестный ход, хор Большого театра в Богоявленском соборе. Привел Господь еще раз на старости лет услышать такое...

И тоненьким голоском, с загоревшимися внутренним светом глазами, он затянул:

«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси...»

Однако, свет в глазах тотчас потух, и, подняв заострившееся, в резких морщинах, лицо к Кремлю, высившемуся за окном в тумане, профессор крикнул шопотом:

— Не верю «им», не верю!

— Полюбуйтесь на эту книгу, — продожал он, оглянувшись, нет ли кого чужого поблизости. — Прекрасная книга, не правда ли? не вся там правда о религии в России: гонения на церкви были и отрицать их, по крайней мере, с таким жаром-пылом, не следует, ибо нельзя отрекаться от мучеников, погибших в нарымской тайге, на Колыме, в снегах Якутии; нельзя преувеличивать так же и нынешней свободы — на всю Москву, как-никак, по-прежнему остается четыре церкви. Но не будем преувеличивать и требований к книге:

уже одно то хорошо, что появилась книга, где — вот— и портреты иерархов, и неискаженные, неизуродованные фотографии церквей, богослужений. Только... знаете, что меня взбесило? Книга-то выпущена на экспорт! Ни в один книжный магазин Москвы, не говоря уже о провинции, ее не дали. В том-то и штука: только союзникам — на показ! Красивое издание — богатый фасад! И крестный ход в Москве — тоже фасад: пусть полюбуются дипломаты, пусть напишут реляции о свободе религии в России, и более того — об эволюции большевизма. На деле-то, голубенок мой, никакой эволюции. Для заграницы — фасад, красивый с внешней стороны, а для нас, пребывающих за фасадом, на внутренней стороне, все, решительно все — и после трех лет войны! — остается без малейшей перемены. И останется так, помяните мое слово! Кончится война — и снова затрезвонят об усилении бдительности на идеологическом фронте, о торжестве марксистско-ленинской науки, о выдающихся трудах товарища Сталина в области диалектического материализма, и еще и еще раз издадут десятимиллионным тиражем работу Сталина «Вопросы ленинизма» и двадцатимиллионным — работу Сталина «Краткий курс истории ВКП(б)».

— Нет, так война не кончится! — глухо, с упрямством сказал я. — Или она вообще не кончится!

— Помогай вам Бог в таком случае! Только уж если решились итти до конца — идите. Будет трудно, иногда невыносимо трудно, а все же — вынесите, найдите в себе силу не сходить с пути. Наклонитесь ко мне, я поцелую вас, — может статься, что и не свидимся более на земле...

Поцеловав, он легкой, сухой рукой ударил меня по плечу:

— С Богом! Идите!

«Будет трудно...» Не прошло много времени, как я попомнил слова старика-профессора. Жизнь не за-

медлила дать мне серию фактов, которые подтверждали, что «им» верить никак нельзя, что «они» и не думают сдавать позиций. По сравнению с тем, что вдруг случилось, расправа с моей книгой показалась сущим пустяком, — неудачу «Дня на колокольне» еще можно было отнести за счет «инерции», застарелой духовной болезни советского общества. Новые факты, которые вскоре дала мне жизнь, свидетельствовали о худшем, гораздо худшем— о прямых и со всей откровенностью поощряемых религиозных гонениях; подчеркиваю — религиозных, касающихся внутренних верований и душевных устремлений. Факты эти были для меня тем разительнее, что касались непосредственно меня самого, моей жизни — неожиданно затруднившейся! — и личной моей судьбы.

Быстро пролетела неделя отпуска, и я отправился на Волынь — догонять свою Шестую воздушную армию. За окном вагона мелькали весенние поля, и в деревеньке близ Калуги я увидел, как возле церкви стояли подводы, которые нагружались мешками. Мешки стояли на паперти, — в церкви была устроена «магазея», колхозный амбар. Кресты были сшиблены, жесть с куполов ободрана, торчали ребрастые, просвечивавшие насквозь, луковицы. Таких церквей навидался я немало, путешествуя в довоенные годы по России в качестве газетного корреспондента. Ободранные, загаженные, с красными тряпичками вместо крестов, стояли они по Руси два десятка лет, и пока что не было заметно, чтобы их начали приводить в порядок. Только за Коростенем, когда поезд пересек Стырь и мы въехали на Волынь, увидел я церкви, сверкавшие под весенним солнцем крестами и куполами.

Штаб нашей Армии расположился в местечке Бережница, близ г. Сарны. Местность эта до осени 1939 года принадлежала Польше, и лишь полтора года — СССР. В июне 1941 года войска Красной армии отсту-

пили отсюда под натиском немцев. Вместе с ними отступили и советские колонизаторы, не успевшие утвердить на Волыни свою «передовую» колхозно-совхозную цивилизацию. Немцы же, заигрывая с украинскими сепаратистами, не разбойничали здесь, как повсюду. Волынь оставалась такою, какою была до войны. Крестьяне жили в достатке, не считались с куском хлеба, были рады напоить солдата молоком и всунуть в ранец «кавалок» свинины. Праздники соблюдались свято: одна девушка, Параська, которую я попросил в воскресенье пришить мне к гимнастерке пуговицу, посмотрела на меня со страхом:

— Грех!

Каждое воскресенье над Бережницей, утопавшей в сирени, над широкой в весеннем разливе рекою Горынь плыл колокольный звон. Он отзывался в моей душе, как милая и трогательная, еще неслышанная мною сказка.

... Воскресенье 21 мая 1944 года. День этот навеки запомнился мне, как переломный момент в моей жизни. При штабе Армии мы издавали походную газету «Сокол родины». Ночами радистка принимала из Москвы информацию: утром свежие новости были уже в газете. 21 мая, придя утром в хату, где стучала печатная машина, я прочитал: умер Сергий, Патриарх Московский и Всея Руси. Никогда не был я лично знаком с Патриархом, но он незримо прошел через мою жизнь. Все происходило как-бы по предначертанию: в мае 1941 года, за месяц перед войной, художник Арсеньев представляет мне психологически насыщенный, точно живой, образ Сергия; в июне, когда началась война, сестра Даша, неверующая, идет в церковь, слушает проповедь Сергия и передает мне ее содержание; 16 ноября 1941 года, в день последнего и решительного наступления немцев на Москву, старик-учитель в Иосифо-Волоколамском монастыре показал мне молитву Сер-

гия, которую я тогда не успел переписать и переписал лишь год спустя, в Валдае, где хозяйка, у которой я был на постое, дала мне исписанный нетвердой, малограмотной рукой клочек бумаги — молитву Сергия; далее, накануне отъезда из Москвы на далекий фронт, за границу, — такой значительный разговор о Сергии и напутствие Первосвятителя — сражаться за оздоровление духовной атмосферы в России; наконец, почти сразу же по приезде из Москвы вот это, сообщаемое в двух строчках, известие... Что же — ОНО? Почему я узнаю об ЭТОМ здесь — в Действующей армии, на Волыни? Что ЭТО велит мне здесь делать? К чему влечет? Безмолвно стоял я возле печатной машины с развернутым газетным листом, остро пахнущим типографской краской. Мысль об огромном значении Сергия в моей жизни озаряла сознание и выражалась острой болью в сердце. Боль не заглушалась, а, сочетаясь, входила в другое, несравненно большее и радостное, светлое чувство переворота, свершения.

С чувством неизъяснимым шел я по деревенской улице. Щедро светило майское солнце. Аисты вили гнезда на старых дубах. Вешний ветерок шевелил белые и голубые вышитые полотенца на высоких крестах при дороге. Колокольный звон сзывал прихожан. Из калиток выбегали женщины, девушки в праздничных хустках и торопились к обедне. Щемило у меня на сердце, навертывались слезы на глаза. Сам не знаю как, пришел и я к маленькой деревянной церкви, стоявшей на зеленом солнечном взгорье у берега реки.

— Будет ли панихида по Патриархе? — наивно спросил я на паперти у крестьянки, не соображая, что она вряд ли когда-нибудь слышала, кто такой Патриарх. Однако, она со старинной селянской учтивостью ответила, что надо спросить у церковного старосты.

Староста как раз выходил из алтаря, — старик с дремучей, подступавшей к глазам бородой, в поддевке.

Он сказал, что о смерти Патриарха ему ничего неизвестно, и только тут я сообразил, что откуда же ему знать об этом? Радиограмма была принята минувшей ночью. Газета еще не кончена печатаньем. Да она и не попадала к гражданскому населению.

Вернувшись в типографию, я взял газету, отнес старосте, дождался, пока он сходил в алтарь к батюшке и пришел с ответом, что панихида будет отслужена после обедни. Как в полусне, слушал я древние, полные таинственных значений слова церковной службы и песнопения, полные строгой торжественности. Кончилась панихида, староста нагнал меня в дверях и дал просфорку. По правде сказать, я не знал, что с ней делают.

— Благословясь, откушайте, — сказал староста.

Разломив пополам просфорку, я неторопливо, стоя на паперти, съел ее. Вышел из церкви на зеленую, в цветах, лужайку. И почувствовал, что жизнь моя переломилась так, как ломается палка через колено.

Не более, как через час, ко мне на квартиру явился солдат и сказал, что меня немедленно требует к себе редактор армейской газеты майор Рутман. Тотчас же я догадался, какой разговор предстоит мне с этим человеком, отличительные черты которого — очень острый и цепкий, но страшно узкий ум, злопамятность и лживость. Один известный московский поэт, работавший в нашей армейской газете, называл Рутмана не иначе, как «Врутман».

— Вы были сегодня в церкви? — спросил майор, положив длинные худые руки на бумажку, лежавшую перед ним на столе; позднее выяснилось, что то был донос, составленный сотрудником нашей редакции лейтенантом Горшковым, который видел меня на лужайке перед церковью.

— Был... — ответил я с простодушной улыбкой. Не привыкший к откровенным разговорам с майором,

тут я почему-то с радостной готовностью добавил: — Даже газету церковному старосте дал — с извещением о смерти Патриарха Сергия.

— Так, значит, вы и заказали панихиду?

— Нет, я ее не заказывал.

— Не отпирайтесь!

Как ни старался я объяснить, что в самом деле не заказывал панихиду, — тщетно: объяснения лишь раздражали майора. Он начал кричать, что напрасно оказывали мне столько доверия, прикомандировав меня в качестве военного корреспондента к штабу армии, повысив в звании до капитана, наградив орденом Красной звезды.

— Офицерское звание мною заслужено в боях, — спокойно ответил я. — Не вы, а я воевал рядовым под Москвой и я же командовал ротой у Старой Руссы. Военным корреспондентом работаю тоже не вашей милостью, — я журналист по профессии, без малого двадцать лет.

Майор, ожесточаясь, крикнул:

— Идите домой и ждите вызова.

Жил я на частной квартире, у местной крестьянки, муж которой при отступлении Красной армии в 1941 году был угнан на восток и теперь, по слухам, работал на военном заводе в Сибири. Хозяйка устроила мне на чердаке, на соломе, постель, поставила столик, — я мог там работать, в соседстве с аистами. Только теперь уже было не до работы. Забравшись на чердак, я начал придумывать план действий.

У меня была — от юношеских лет — привычка: гадать по книге. Задумать что-нибудь, развернуть наугад страницу и прочитать, что откроется. Так в Москве мы гадали под Новый год по Евангелию. В 1942 году, в Валдае, в монастыре Иверской Божьей Матери, старушка-богаделка подарила мне Евангелие — карманиое, в кожаном переплете. Оно находилось при

мне всегда, во всех походах. К сожалению, теперь его под рукою не было: в суматохе отъезда из Москвы я забыл его дома на подоконнике.

На память мне пришли известные евангельские слова: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Каков был их смысл? Означали ли они, что «с волками жить — по-волчьи выть»? Что надо извиваться, ползать, пресмыкаться, как змея? Прийти, например, к майору и покаяться:

— Да, я был в церкви, совершил проступок, сознаю свою вину.

Нет, очевидно, евангельские слова следовало понимать по-другому. «Будет трудно...» — чтож! Не сказано ли про христианина: «Когда наступит для него стеснительное и трудное время, когда он будет гоним и уязвляем, тогда пускай отдаст все свое золото, серебро, тело свое попускает быть израненным, веру же Христову блюдет с великим опасением»? Покаяние перед майором было бы не блюдением, а предательством веры. Не выставлять на показ своей веры, но — блюсти ее и быть твердым, во что бы то ни стало твердым, даже «тело свое попуская быть израненным».

Вызвали меня вечером того же дня. В кабинете майора толпились работники редакции, политического отдела и трибунала Шестой воздушной армии. К удивлению своему, на столе у майора я увидел принадлежавшее мне Евангелие, и майор, заметив мой взгляд, усмехнулся. Оказалось, что мои домашние послали Евангелие из Москвы бандеролью. Майор распечатал пакет и с нескрываемым цинизмом приготовил крамольную книгу, как вещественный документ, отягчающий преступление.

Начался допрос. От начала до конца — издевательский.

— Когда мы стояли в Валдае, — задавал вопрос Пронин, заместитель майора, — я видел у вас на столе,

в вашей комнате, «Историю Русской Церкви», такую толстую книгу, — припоминаете?

— Отлично помню. Это труд известного историка Голубинского, — кстати, из институтской библиотеки. Нам в институте не возбранялось им пользоваться.

Тотчас же кто-то захохотал:

— А «Кратким курсом истории ВКП(б)» вы когда-нибудь пользовались? Читали?

— Представьте, читал. Даже получил пятерку на экзамене по ленинизму.

— Но на столе у вас ни «Краткого курса истории ВКП(б)», ни «Вопросов ленинизма» я не замечал ни разу, — возразил Пронин.

Нет нужды подробно рассказывать о собрании, — оно длилось до полуночи. На одном вопросе все же следует остановиться.

— Как вы понимаете известные послабления, сделанные нами церковникам во время войны? — спросил майор.

Что мог я сказать? Только то, что «послабления» вызваны и некоторыми внутренними причинами, поскольку верующие еще имеются и церковь способствует патриотическому подъему целого народа, но главным образом — внешними обстоятельствами.

Майор все с той же дьявольской усмешкой повернулся на стуле и в сторону — не ко мне, а к собранию — произнес:

— Нельзя сказать, чтобы он был политически недоразвитым человеком. Когда он хочет, то рассуждает и пишет правильно.

И снова ко мне:

— Но понятно ли вам, что если мы сейчас даже с такой сволочью, как Черчиль, находимся в коалиции, то могли войти на время в соглашение и с попами?

Вы, кажется, себе не ясно представляете, что после войны мы сведем свои счеты и с поповской сволочью.

Мне оставалось одно — молчать, не отвечать на такие выходки.

После вопросов потребовали дать объяснение по поводу предъявленных обвинений. И все же говорить не пришлось — не дали. Каждое слово, сказанное о церкви всерьез и без карикатуры, встречалось смехом, издевательскими репликами. Едва я сказал: интересуюсь историей церкви потому, что церковь — хранительница национальных традиций народа, — раздался хохот и свист. Едва обмолвился: долг литератора — наблюдать жизнь во всех проявлениях и в церковь я мог зайти из профессионального любопытства, как услышал окрик майора:

— Вы не просто зашли, — вы заказали панихиду!

Возглас майора был перекрыт другими:

— Советский офицер — в поповской компании!

— Да еще где — в районах Западной Украины!

— Опозорил мундир офицера Красной армии!

В конце собрания мне объявили, что обо всем будет доложено начальнику политического отдела армии, полковнику Драйчуку, который «примет соответствующее решение». На следующий день меня вызвал полковник, и здесь повторилась та же сцена: брань по адресу «сволочей-попов», с которыми я «вступил в соприкосновение». Драйчук отстранил меня от работы в армейской газете: до разбирательства в штабе фронта.

В политический отдел штаба фронта меня вызвали не скоро: должно быть, запрашивали обо мне в Москву, собирали сведения. Два месяца — июнь и июль 1944 года — я находился между небом и землей в буквальном и переносном смысле слова. К работе меня не допускали, но с должности не увольняли: я по-прежнему числился военным корреспондентом при штабе

армии. Офицеры штаба, когда-то считавшиеся моими друзьями, теперь боялись меня, избегали при встречах, точно зачумленного. Тогда я перестал ходить в штабную столовую: обедал на квартире. Целыми днями — сидел на чердаке и читал комплект «Современных записок», найденный мною в Луцке. Как только хлопала в сенцах дверь, я прятал журнал в солому и углублялся в грамматику польского языка, который решил изучить перед вступлением в Польшу.

Однажды вечером майор прислал солдата: сказать, что на рассвете самолет связи отвезет меня в штаб фронта. Там я отвечал перед тремя полковниками. И там была брань и ругань, ругань и брань! Полковничья комиссия отправила меня обратно в Воздушную армию при пакете. Что содержалось в пакете, я не знал. Крест-на-крест прошитая суровой ниткой и опечатанная толстым красным сургучем, лежала там моя судьба. Скоро ее объявили. В типографии армейской газеты были собраны, построены в шеренгу литературные работники, инструкторы политического отдела. Майор, скомандовав — «Смирно! Слушай приказ!», прочитал:

«Приказ войскам Шестой воздушной армии».

Приказ был подписан командующим, генерал-лейтенантом авиации Ф. П. Полыниным. Говорилось там коротко, ясно: «Капитана Корякова, М. М., заказавшего и отстоявшего панихиду в церкви и упорно отстаивающего свои проступки, как идеологически чуждого человека, с литературной работы снять и направить в пехоту, в распоряжение общевойскового отдела кадров штаба фронта». Предписывалось — довести приказ до офицерского состава в полках и эскадрильях армии, и майор, остановившись на этом пункте, сказал:

— Помните, что приказ совершенно секретный. Рядовые бойцы не должны знать о причинах, повлекших увольнение капитана Корякова с должности воен-

ного корреспондента и отправку его в пехоту. Тем более, не должно знать об этом гражданское население, потому что нет ничего хуже, как если-бы народная молва окружила случившийся факт ореолом мученичества.

КОСТЕЛ ПАННЫ МАРИИ

Был ноябрь 1944 года. История, приключившаяся со мною в мае, еще не завершилась. Много событий произошло с тех пор: наши войска форсировали в середине лета Буг, вступили в Польшу, овладели предместьем Варшавы — Прагой и заняли плацдарм у Сандомира, на западном берегу Вислы. Мне в этих событиях не нашлось места: как «идеологически чуждого человека» меня исключили не только из состава военных корреспондентов, но и из жизни вообще. Не было никакого формального повода, чтобы судить меня, разжаловать в рядовые или отправить на каторжные работы, в ссылку. Но где же держать меня? А так... где-нибудь... где придется...

Ноябрьской ночью 1944 года я лежу на соломенной подстилке в холодном дощатом бараке. Посередине барака — длинный стол, на столе — артиллерийская гильза, в сплющенное отверстие которой вставлен клочек не то одеяла, не то шинели. Эту гильзу солдаты зовут — «окопная кандылябра». «Кандылябра» горит красноватым дымным пламенем. Ее хватает едва, чтобы осветить стол — изрезанный ножами, залитый ружейным маслом, в сухих хлебных корках и клочках грязной, промасленной пакли. В двух шагах от стола — темнота, и тут, как в пещере, на двухэтажных нарах спят вповалку, прикрывшись шинелями, офицеры-резервисты.

Холодно — тонкие стены барака не держат тепла. Как шинель ни натягивай, ее не хватает, чтобы накрыться. Натянешь на плечи — стынут ноги, укутаешь ноги

— замерзает спина. Люди ворочаются, пристраиваясь один к другому, стараясь согреть свою спину о чужой живот. Нары скрипят, на меня сыплется сверху соломенная труха.

Надо мною лежит человек беспокойный — лейтенант Балун. Все его называют по имени: «Ванька», а натурой он — простяга-парень: льняной висячий чуб, подбритые брови и озорные глаза. К нам в полк офицерского резерва он прибыл из штрафной роты — с передовой позиции. Историю, как он попал в штрафники, рассказывает охотно и весело:

— Понимаешь, лето... Вышли на Вислу, заняли оборону — стоим. В соседнем полку у меня корешок был, товарищ. Выпросился я у командира — пойти в санбат: сказался, будто косточка из старой раны лезет. Командир посмеялся: знаем, говорит, что у тебя за косточка. Но — отпустил! Иду я по дороге, думаю: прихвачу корешка и зальемся мы к полякам, на веску ихнюю — паненок щупать. А тут, по этой же дороге, двуколка едет. «Стой, подвези!» — «Садитесь, товарищ лейтенант!». — Понимаешь, везет солдат ящик вина, консервы, папиросы. — «Ну, дай, говорю ему, пару бутылок! Что тебе, жалко?» — «Оно бы не жалко, да ящик починать... может, генерал, командир-от дивизии, — ему я везу, — недоволен будет». — «Да он и знать не будет, есть ему дело до твоего ящика!» — «Адъютанту есть дело, адъютант — зверь!» — Ну, не дает. Думаю: а ну-ка языком приказа — подействует? Ни в какую: вы, говорит, товарищ лейтенант, приказывать не можете, чтобы я вам генеральское вино отдал... — Как это не могу? По уставу — ты устав знаешь? — любой приказ исполняется. Заспорили. Оглянулся я — на дороге никого — и хлопнул из пистолета. За невыполнение приказа. Паненок то мы пощупали, ночь провеселились, а назавтра — погоны с меня долой, разжаловали и — в штрафную роту.

В штрафной роте Балун был смелым, прямо идущим на риск солдатом. Он пробирался в немецкие траншеи, доставал «языков». Осенью ему вернули его лейтенантские звездочки. Теперь в полку резерва он ждет нового назначения в часть. У него поговорка: «Главное — не теряться, товарищи!» В резерве он не теряется: морочит голову интендантам — то получит вторую пару сапог, то новую шинель без сдачи старой, изношенной. Все это тащит в соседнюю деревню, к шинкарю, одноглазому, со сбитым на бок рылом Стефану.

Вот и теперь, минувшим вечером, Балун вернулся от Стефана пьяный. Падая, обрываясь, он все же взобрался на верхние нары, и уткнувшись лицом в солому, захрапел. От ночного холода он продрог, и я слышу, как в пьяном сне он стучит зубами, ворочается и ругается. Доска надо мною прогнулась, — это он, опершись на локоть, приподнялся и, должно быть, огляделся в темноте, и тотчас упал, провалился в сон.

32-й полк офицерского резерва насчитывает 2.000 человек. Есть батальоны, составленные из мальчиков, только что надевших погоны с одной звездочкой: они приехали с Волги или Урала, окончив военные училища — отсюда их разошлют по действующим частям. У нас в батальоне не мальчики, а солдаты бывалые: или штрафники, или проштрафившиеся. Направо от меня лежит капитан, который побывал в штрафной роте за изнасилование паненки, а налево — лейтенант, служивший в той же Воздушной армии, что и я. Лейтенант потерял оперативные документы, был приговорен военным трибуналом к пяти годам тюрьмы, но приговор заменили тем, что отправили его из авиации в пехоту. Меня не судили. Со мною — скандальный случай: в кодексе не подобрать статьи! Но и без суда ничто не мешает держать меня среди этого пестрого штрафного сброда.

Не спится... Зажигаю стеариновый огарок и, приладив его к полочке над головою, принимаюсь читать. На Волыни, на чердаке, начинал я изучение польского языка. В резерве, пользуясь вынужденным бездельем, усовершенствовал свои познания в области полонистики. Уже изрядно говорил по-польски, напевал костельные хоралы, много читал. Литература польская открывалась мне, овеянная романтизмом, рыцарством, духом вольности.

В роте посмеивались, поглядывая на мою полочку с польскими книжками. Польские симпатии — это опять-таки была вольность, явление, начальством недозволенное. В Красной армии, напротив, считалось хорошим тоном — презрительно относиться к Польше. Не потому, что Польша — «изменница славянства», что она носит в себе «отравленное жало латинства», как писали в старину. Красная армия, разгромив минско-бобруйскую группировку немцев, переступила Буг в сознании своей силы, непобедимости. Советский человек, отвыкший от вольности, привык уважать только силу — отсюда и презрение к слабой в военном отношении Польше.

Мне же каждая страница польской истории говорила о силе Польши. Об истинной, непреходящей силе — о вольности, о любви к свободе. При свете стеаринового огарка я с волнением читал гневные страницы Иоахима Лелевеля, демократа, выдающегося польского историка середины XIX века. Лелевель выступал против того, что мы теперь называем «тоталитарным строем». Он звал на борьбу против «установлений, основанных лишь на приказе и послушании». И не одних поляков, но всех славян, в особенности же нас, русских, звал он на эту борьбу, и к нам обращаясь, он провозглашал:

— За вашу и нашу вольность!

Холодно в бараке. Тонкие струйки морозного воз-

духа проникают в щели. Как парус под ветром, колеблется пламя свечи у меня в изголовьи. И есть что-то парусное, уносящее сердце, в словах, которые я читаю:

«Народ польский чтит героев и мучеников вольности русской, отдает честь им и ставит им памятник, памятник вольности. Вы, русские люди, этот памятник вашим героям поставить не можете, — это вам запрещено».

Опять посыпалась сверху соломенная труха. Кто-то слезает с нар. Широкоплечий, необычайного роста, с одутловатым лицом. Тупо, сонно посмотрел на меня, накинул на плечи шинель и, шаркая надетыми на босу ногу сапогами, пошел к двери. Через минуту вернулся, поводя от холода могучими плечами под шинелью. Колкий мороз на улице продрал его.

— Капитан, курить есть? — спросил сиповатым голосом.

В роте все знают, что я не курю, но он — новичек, вчера только прибыл. Приехал в польской форме: длиннополая зеленая шинель с орлеными пуговицами, на голове — четырехугольная конфедератка. Хлопнув конфедераткой по столу, весело крикнул: «Эва, какой конверт мне на голову налепили! Где тут у вас вещевое снабжение? Пойду, скажу — давай нашу русскую шапку!»

— Не куришь? Это плохо...

На столе и у печки на полу валялись окурки. Он собрал, размял их, скрутил цыгарку. Прикурил от «кандылябры» и присел на нары, у меня в ногах.

— А ты все это «вшистко-пшистко» учишь? Есть охота... Так ты в польское войско иди, — чего тебя здесь держат! А я едва оттуда вырвался.

— Ты что же, поляк?

— Какой там поляк! Украинец. Только фамилия,

видишь ли, у меня такая... Свидерский. А имя Зот, нормальное. Из под Киева я, с Василькова.

— И долго был в Войске Польском?

— Долго, больше года... Красная армия на польскую границу еще вышла, — меня уж забрали в поляки. Когда Андерс ушел, наши стали формировать свою польскую армию. А поляки-то, где они? Ушли с Андерсом, самая малость осталась. Вот и давай собирать таких, как я, — с фамилиями... Туда всякие шли, — у нас командир батальона был, так вовсе — Криволапов. Оклад двойной, кормежка крепче и от передовой далеко. Части Красной армии продвинутся, а мы за ними.

— Так чего же там не остался?

— Душа не вытерпела... Первое дело — измаялся я без языка. На Волыни пополнение дали — поляки чистокровные. Которые помоложе — по-русски не понимают. Какой из меня командир роты, если я командовать не могу, а все оглядываюсь на переводчика.

— Но ведь вас языку учили.

— Тебе легко сказать — учили! Мне за плохую учебу домашний арест всыпали, с удержанием из зарплаты, — все равно «вшистко-пшистко» в башку не лезет. А главное — молитвы... Еще когда там, в Союзе, были — особенно не принуждали. Пришли в Польшу, тут что ни день молебен. Публично, при всем народе. Вникни в мое положение: вывел я на молебен роту и я же должен солдатам пример показать — шапку долой и на колени! Первое время, конечно, прикроешь лицо ладошками и смеешься, легко относились — ну, маскарад... А потом противно мне от маскарада стало — до тошноты! Или ты веруй, молись, как следует, или — не делай так. Не знаю, что бы со мной вышло далее, только случилось вдруг происшествие, — чуднее не придумать. На молебне как раз и случилось-то. Походный алтарь раскинули, крест воз-

двигли, и вот — причащать нас должны. Приехал из Люблина старичек высохший, — бискуп ихний. Офицеры — первыми к алтарю. Стоим на коленях, и надо рот открыть — он на язык тебе положит такое белое, оплатка называется. Вот моя очередь, — старичек подошел, у меня уж и язык на поларшина с губы свесился, и — как ветром меня подняло, вскочил я и заорал: «Не можу! Не можу!» Старичок отскочил, чуть вазу серебряную не выронил, — так испугался. И все повскакивали, — какой уж тут молебен. Криволапов, командир батальона, бледный такой, говорит: «Дойдет до начальства, я скрыть не смогу, не миновать тебе, Свидерский, штрафной роты». Чтобы в штрафную — до того не дошло, однако. Выставили из Войска Польского, прислали вот сюда. Ну, я и рад...

Свидерский затянулся, обжигая губы, и, бросив догоревшую цыгарку, полез на нары:

— Просись, капитан, в польскую армию, — посоветовал он еще раз. — Раз ты знаешь язык, большое положение можешь занять...

Разговор со Свидерским взволновал меня. В самом деле, я знал, что в Войско Польское набирают советских офицеров. Для большинства из них, не знавших языка и тяготившихся молебнами, это была не служба — каторга. Последнее время шли туда неохотно, — коммунистов брали в порядке «партийной дисциплины». Офицеров в польской армии не хватало. Может быть, меня могли взять туда?

Чем была и чем стала для меня Польша? Была — ничем: до войны, отгороженные китайской стеной от Европы, мы ничего не знали даже о жизни соседки-Польши. Представлялось, — очень туманно, впрочем, — нечто враждебное, противоположное, антагонистическое. Прежде всего — ближайшее капиталистическое окружение, то, из-за чего мы должны были держать себя «в состоянии мобилизационной готовности».

У интеллигенции к этому примешивались славянофильские реминисценции, какие-то воспоминания о том, что "la Pologne est une modification du slavisme par l'éducation latine, en concurrence au slavisme grec et oriental des tribus danubiennes, de la Moscovie et de la Ruthenie".

Война разломала перегородки между народами, — стало видно далеко во все концы света. Многое мы увидели по-другому. На моей дороге легла Польша, и я увидел, сколь прекрасна и родственна эта страна. Поля, холмы, перелески... — простой и неказистый, однако, полный прелести пейзаж. Деревенские избы — совсем как у нас, в России: белые глинобитные печи, пестрые половички и народ, ласковый, гостеприимный, как нигде в мире. Что в особенности казалось прекрасным — мощные религиозные чувства народа. На протяжении всей моей жизни я видел одно: как в России действовали нигилистические, разрушительные процессы. Польша от них была предохранена, и охранительным оплотом там явилась религия, более крепкая и активная, нежели наша, русская.

Славянство — латинство... Православие — католицизм... Что мне до этих противоположностей? Догматики я не знал никакой — ни православной, ни католической. Не знал и обрядности. В самом себе чувствовал как-бы разлившуюся и охватившую все существо религиозную стихию. Она была близка простому и непосредственному религиозному чувству народа. Повсюду — в Польше-ли, в России — народ знает Бога, а не догматику богословия. Так же, как на православной Волыни, в католической Польше по воскресеньям крестьянки в ярких нарядных хусточках шли в костел и молились Богу, возвращались домой — светлые, праздничные — и собирали на стол «снедание». Мне было все равно, где молиться — в церкви или в костеле. Неподалеку от лагеря, в котором располагался офицерский резерв, находилась польская

деревня Демба, — украдкой я бегал туда в костел. Тихо входил, стараясь не стучать подкованными сапогами по каменному полу, садился на скамейку и, как все, склонялся ниц — лицом на ладони. И долго сидел так, прислушиваясь, как что-то ходило во мне, и не словами, а каждой кровинкой своей молился:

— Вот я весь тут, отдаюсь в руки Твои, Господи Боже мой, наставь меня, научи, что делать, в вере меня укрепи!

Православные обряды, какими видел я их на Волыни, в кафедральном соборе в Луцке, поражали меня эпической величавостью, веянием древней былинной Руси. В католических молчаливых мессах нет эпоса. Там больше лиризма, углубленности молящегося в самого себя, — этой склоненности ниц, лицом в ладони, когда человек отрешается от земного и переходит в какие то совсем иные измерения. Это больше соответствовало тогдашнему состоянию моей души. Не думая об «отравленном жале латинства», я отдал свои симпатии католичеству.

В Польше познал я католичество и через католичество познал Польшу. Польская вера, — позволю себе употребить такое выражение, — в силу ее личного, лирического характера, — чище, активнее, беспримерно пламеннее. Так я коснулся духовных истоков Польши — ее рыцарства, ее романтизма. Каждому народу свойственен свой стиль. «Острый галльский смысл» французов, эмпиризм и прагматизм англичан, «сумрачный гений германцев»... Для поляков нет другого слова — романтизм. Это их стиль, народный темперамент.

Презрение к Польше — характерная психологическая черта советских людей, сидевших десятилетиями за своим забором. Презрение выросло на почве незнания: что там, за забором? Чертополох, крапива... — буржуазная зараза, капиталистические сорняки? Из

знания вырастает любовь. Так всей душой полюбил я Польшу. Маленькую, героическую Польшу, имевшую свои светлые годы при Ягеллонах, свою блестящую жизнь при Сигизмунде-Августе, свои упоения славою при Стефане Батории и при Яне Собесском, и раздавленную теперь двумя страшными и предательскими ударами.

1-го сентября 1939 года немцы бросили на Польшу 96 дивизий пехоты, 9 танковых дивизий и 8.500 самолетов первой линии. Польша была в окружении: враг наступал из Германии, Восточной Пруссии, Словакии. Истинно-рыцарски отбивались поляки. Они верили — на востоке спокойный тыл. Пусть не помощь, хотя бы стена, о которую — опереться и отражать, отражать удары. 17-го сентября восточная стена рухнула: Красная армия перешагнула границу. Польша очутилась под двойным ударом.

Никто не знает, какой ценой еще придется нам, русским, платить за предательство, преступление против Польши. Наши газеты, не исключая и «Правды», питались тогда кашей Геббельса. По немецким сообщениям, выходило, что Польша сдалась в 18 дней, что «полячишки — никудышные солдаты» и т. д. Клевета удобряла ту почву невежества, на которой произрастал чертополох презрения. Только в Польше, по рассказам, мы узнали о героях Вестерплатте, об армии Клебера, дравшейся у Варшавы до 2 октября. Мне стыдно было перед поляками.

Страна под бременем обид,
Под игом наглого насилья...

Болело сердце за Польшу. И хотелось Польше послужить. «Просись, капитан, в польскую армию...» Буду проситься! Уж если надо, чтобы в Войске Польском были советские офицеры, то все же для Польши полезнее, лучше, если они будут такие, как я.

В шесть утра дежурный по роте прокричал «подъем». Опоясавшись крест-на-крест ремнями, начистив сапоги, заботливо одернув складки на шинели, — отправился я к командиру полка. Полковник Сутормин относился ко мне с сочувствием, хотя помочь ничем не мог: офицерами резерва распоряжался отдел кадров штаба фронта. Но разрешить двухдневную поездку в Люблин, в Главный Штаб Войска Польского, он был вправе, и он даже ухватился за мою идею, пожелал удачи.

Назавтра я был уже в Люблине. Старинный и несколько грязный, весь в кривых и узких уличках, город этот жил шумной, кипучей жизнью. Временная столица Польши... Казалось, пришла вторая слава Люблина. Четыреста лет назад здесь Польша заключала унию с Литвою и вот по этим улицам король Сигизмунд-Август ехал на белом коне из сената в костел, где было пропето «Te Deum laudamus». Исторические воспоминания ни к чему не ведут: 1944 год не походил на золотой век Сигизмунда-Августа. В наспех сколоченных министерствах временной польской столицы распоряжались советские чиновники. В кабинетах Главного Штаба сидели офицеры Красной армии, не желавшие даже сменить советский китель на мундир польского покроя.

Когда адъютант «шефа выдзялу персональнего», т.е. начальника отдела кадров Главного Штаба, отворил передо мною тяжелые и высокие двери, я увидел за столом русского полковника в широких золотых погонах и мерлушковой папахе на бритой голове.

— Чи позволи пан пулковник... — начал я было по-польски.

Полковник расхохотался.

— Здорово! Если бы мои офицеры так само балакали... Надо взять тебя в польскую армию, капитан! Военная специальность?

— Сапер. Командовал ротой. Был помощником начальника оперативного отдела штаба саперной бригады.

— Боевые характеристики на руках?

Я подал полковнику «личное дело». Разломав сургучные печати, он открыл папку и прочитал первые два листка, — боевые характеристики, полученные мною в 1942 году в саперной бригаде. В них говорилось о моих «командирских навыках», «волевых качествах» и т. д. Увидев приказ о награждении меня орденом, полковник не стал читать «дело» дальше. Последними страницами в «деле» были материалы о моей «чуждой идеологии», но я не стал напоминать о них полковнику. Важно было: вырваться из «штрафного» батальона, а там, может, все образуется как-нибудь...

— Хорошо, — сказал полковник, закрыв папку. — Оставьте «личное дело» у моего адъютанта. — А вам — вот...

Он вырвал листок из блок-нота и крупно, размашисто написал:

«Тов. Антонюк!

Капитана Корякова, М. М., как знающего польский язык, откомандируйте в мое распоряжение на должность командира саперной роты.

Полковник Крицкий».

— У меня это просто, — улыбнулся Крицкий, подавая листок. — Нам предоставлено право — брать любого офицера из любой части Красной армии. Комплектованию польского войска лично товарищ Сталин придает особенное значение.

Крицкий поднялся. Пожал мне руку.

— Все. Поезжайте в штаб фронта. Тем временем, сегодня-завтра, у нас вам подыщут должность. Послезавтра приступите к новой работе.

Из Люблина я ехал в штаб фронта, как говорят, «окрыленный надеждами». Но полковник Антонюк, начальник отдела кадров штаба фронта, обрезал мои крылья. Он прочитал, повертел записку Крицкого в руках, посмотрел на меня и опять на записку...

— «Личное дело» он прочитал, этот Крицкий?

— Так точно, читал.

— Странно... — произнес полковник, склонив на бок голову. Чуть подумав, он что-то такое решил: — Но я не могу отпустить вас в польскую армию без санкции Москвы, — вот в чем штука. Он должен в Москву обратиться, Крицкий. В Главное управление кадров Красной армии.

— Не знаю. Он сказал, что ему предоставлено право набирать офицеров непосредственно здесь, на фронте.

— Он сказал... Он сказал... — раздражился полковник. — Вам говорят — без Москвы отпустить не могу. Поезжайте в полк, а Крицкому я позвоню — пусть запрашивает о вас Москву.

— В полку мне, что же, ждать вашего вызова, товарищ полковник?

— Да-а, — протянул он. — Конечно, ждите. Отчего не ждать.

... Прошел месяц. Мы все еще жили в бараках, в сосновом лесу у Вислы. Мимо нашего лагеря, на тот берег Вислы, к Сандомиру, шла пехота, катили пушки, ночами грохотали танковые армады. Полугодовому стоянию войск над Вислой подходил конец. Передавали слухи, что как только Люблинский комитет будет преобразован в официальное польское правительство, наши войска перейдут в наступление. Как всегда перед наступлением, полк офицерского резерва сильно поубавился: и «юнцы», выпускники военных училищ, и «штрафники», и «проштрафившиеся» разъезжались по

действующим частям. Уехал Балун, уехал Свидерский... Только мне по-прежнему не находилось места.

Вызова не было. Ни из Люблина, ни из штаба фронта. Пользуясь добрым отношением командира полка, я решил снова съездить к полковнику Крицкому.

На этот раз встреча у Крицкого была не такая любезная.

— Товарищ полковник, — обратился я. — В штабе фронта хотели бы отпустить меня в ваше распоряжение, но считают, что вы должны запросить санкцию Москвы.

— Никто не хочет вас никуда отпустить, — оборвал Крицкий. — Все!

— «Личное дело» позволите получить?

— Спросите у адъютанта. Если «дело» еще не отослали в ваш полк. За ненадобностью...

Не довелось мне послужить Польше. В сумерках шел я по улицам Люблина. Кончался декабрь — был последний день 1944 года. По Краковскому предместью, перед памятником Люблинской унии, проходил с развернутым знаменем полк пехоты, за ним — тоже со знаменем — жидкая манифестация. Открывалась сессия Краевой Рады, — Люблинский комитет преобразовывался в Правительство. По легкому морозцу, сквозь крупный задумчивый снег бежали в разные концы мальчишки-газетчики. Они протяжно кричали: «Жечь Посполита», «Глос люду». Распахнулась занавешанная дверь кофейни, — теплой, ярко освещенной, блещущей громадными никелированными аппаратами, — и на темную, без фонарей, улицу вышли молодые люди в щегольских высоких сапогах и панны, те самые, про которых сказано: «И очи панн чертят смелей свой круг ласкательный и льстивый». Вечная, даже под бременем обид не умирающая Польша...

Новый год... Пронзительное и скорбное чувство.

Мысль двумя крылами охватывает и то, что было, и то, что будет еще. Волна времени — тысяча девятьсот сорок четвертая — потрепала меня немало. Вот она разобьется сегодня об утес вечности, и меня подхватит другая волна, — будет ли она столь же бурная? В 1944 году мне исполнилось 33 года, — говорят, возраст решающий, переломный. Таинственным и непонятным остается то, что именно в этом году произошел перелом во мне — от религиозного индифферентизма к личной вере. Куда ведет меня новый путь? На какие высоты подымет меня волна времени тысяча девятьсот сорок пятая?

И вслушавшись в предвечный шум
Потока, мчащегося с дальних,
Вне мира скрытых гор,
О завтрашнем не беспокойся дне, —
Ведь нить его сучит
На невидимке-самопрялке
Бог.

Неудержимо потянуло меня — помолиться Богу. В костеле было сумрачно, тихо. Мерцали свечи у алтаря. В боковом приделе, в часовенке, стояла статуя Божьей Матери — в золотой короне на склоненной голове, с Младенцем, радостно воздевавшим руки. По своду ниши тянулась латинская надпись: «Consolatrix». Опустившись на колени и спрятав в ладонях лицо, я попросил утешения мне на новом пути. В душе вырастало неоспоримое светлое знание, что неудача моя с поступлением в Войско Польское была проявлением Божьего Промысла, что нить моей жизни, свитая на невидимке-самопрялке, тянется дальше — в другом направлении... Приближался 1945 год. Я встречал его в костеле Панны Марии. Напряженная молитвой душа предчувствовала, что новый год несет мне чудо.

ЛЕНХЕН

Теплым, почти весенним, февральским вечером ехали мы по автостраде Бреслау-Берлин. Наступление Красной армии, начатое на Висле, не остановилось на Одере. Войска маршала Конева, форсировав Одер, оставив в тылу осажденный Бреслау, вышли к важным исходным пунктам для нового наступления. Широкая асфальтовая автострада лежала, как русло большой реки: нескончаемым потоком лилась по ней русская сила, собранная для последних и решающих ударов — вниз от Бреслау к Дрездену, вверх от Загана к Берлину. Как река не держит вешних вод, так и автострада не вмещала в своих берегах русской силы: танки, тягачи с пушками, тупорылые студебеккеры, груженые пехотой, растекались по тонким, тоже асфальтовым, серым, как речная гладь, рукавам, тянувшимся в разные стороны от автострады.

Красочный, живописный вид имела эта лавина войск, двигавшихся с востока на запад. Танки, задымленные, забрызганные грязью, были покрыты пестрыми, яркими коврами, а на коврах сидели чумазые, в черных, пропитанных машинным маслом бушлатах, танкисты. Кто-нибудь вытаскивал из-за пазухи бутылку и, запрокинув голову, пил из горлышка, — передавал соседу и хриплым, лающим голосом, стараясь перекричать грохот мотора и скрежет гусениц, выкрикивал слова песни:

На позиции де-евушка,
Провожала бойца-а...

Водитель танка, порой, тормозил и сворачивал, обгоняя обоз или конную артиллерию, — тогда солдаты из экипажа, сидевшие наверху, нагнувшись к смотровой щели, кричали со смехом водителю:

— Крой прямо, Петька! Дави, — не загораживают пусть дорогу!

Артиллеристы, тоже смеясь, отвечали матерщиной, грозили танкистам нагайками и подхлестывали лошадей, хлопая по нарядным, с кистями, попонам. Орудийная прислуга, удел которой — трястись на зарядных ящиках, обложилась мягкими диванными подушками, вышитыми шелком, и чувствовала себя превосходно: пиликала на немецких губных гармониках, растягивала меха аккордеонов, богато отделанных перламутром, серебром.

В потоке танков, орудий, автомашин, армейских двуколок, нередко попадалась старинная помещичья карета — крытая, с зеркальными дверцами и фонарями, или длинное ландо с лакированными закрылками. В каретах сидели молоденькие офицеры и солдаты — в шинелях с погонами, автоматами через плечо, но в цилиндрах и с зонтиками. Одни щелкали тонкими длинными бичами, играли на гармошках, хохотали, а другие, напуская важность, сидели прямо и посматривали через лорнетки на двигавшиеся по автостраде войска.

Контрольно-регулировочные посты, установленные для наблюдения за порядком на фронтовых дорогах, смотрели на этот пьяный разгул сквозь пальцы. Высшие офицеры, проезжавшие в легких и быстрых, как ветер, американских виллисах, тоже не вмешивались, — спешили по своим делам. Только один раз я видел на автостраде случай вмешательства. Это была отвратительная картина: полковник бил солдата. Солдат стоял перед ним навытяжку в сдвинутой на затылок черной дамской шляпке, украшенной цветами и фруктами. В карете, которую солдат увез со двора какого-

то силезского помещика, лежала желтая свиная туша, а к фонарям были подвязаны задушенные куры.

— Курятины захотел? Свинины? Ты нашим советским пайком недоволен? — кричал полковник и ударял солдата по щеке рукой, затянутой в лайковую перчатку. — Тебе приказ товарища Сталина от 19 января читали?

— Читали, товарищ полковник, — отвечал солдат, бледнея.

— Приказ командующего фронтом тоже читали?

— Читали, товарищ полковник.

— Так чего же ты, туды-т-твою мать! — рявкнул полковник и посмотрел пьяными, бычьими глазами по сторонам, ища что-бы такое сделать солдату. Взгляд его наткнулся на курицу, болтавшуюся на веревочке у фонаря, и он сорвал одну, хватил за шейку и наотмашь ударил курицей по лицу солдата.

Он был пьян, этот полковник. В виллисе у него сидение было застлано ковром, лежала пузатая, оплетенная прутьями бутыль — наверное, со спиртом. Покачиваясь, широко расставляя ноги, он подошел к виллису и, влезая, погрозил солдату:

— Ты у меня будешь уважать приказы товарища Сталина! Я тебя научу!

В самом деле, существовал приказ Верховного Главнокомандующего от 19 января 1945 года — «О поведении на территории Германии». Командующий I-ым Украинским фронтом маршал И. С. Конев издал такой же приказ 27 января 1945 года. В приказе Конева приводились дикие, невероятные случаи мародерства, дебоша, насилия. В одной танковой дивизии была произведена проверка машин: танки оказались настолько забиты награбленным барахлом, что в них не повернуться, — в случае внезапности экипажи не смогли бы вести боевые действия. Рассказывалось, как некий экипаж, перепившись, выехал на танке на нашу же пере-

довую позицию и открыл огонь по своим, уничтожил четыре орудийных расчета, а одну пушку раздавил гусеницами. Упоминалось в приказе и про кареты, цилиндры, зонтики... Маршал устанавливал драконовские — и справедливые — меры, чтобы привести войска, вступившие в Германию, в порядок: в приказе перечислялся длинный список офицеров, разжалованных и направленных в штрафные роты. Но пьяная кровавая волна разгула поднялась высоко и перехлестывала плотину приказа.

В Бунцлау мне самому довелось испытать страх разгула.

Этот маленький силезский городок лежит неподалеку от автострады. В истории он известен тем, что там умер Кутузов, — весной 1813 года, когда русские войска преследовали отступавшую наполеоновскую армию. В полку резерва я напомнил об этом заместителю командира по политической части, и он послал меня собрать материалы о кутузовских местах, чтобы использовать их в политбеседах.

Поездка казалась сперва увлекательной: я видел много интересного на фронтовых дорогах, я одним из первых попадал в Бунцлау, только что занятый нашими войсками. Покойно и мягко несла нас машина по дороге, обсаженной вековыми дубами. Думалось: может, таким же теплым весенним вечером ехал по этой дороге в коляске старый Кутузов. Может, эти дубы, тогда молодые, простирали ветви над эскадроном, который вел Николай Ростов. Нет чувства сильнее, нежели чувство национальной гордости, — грудь распирало от радости, что вот, спустя сто с лишним лет, мы, русские, снова вступаем в Бунцлау, и я еду искать в этом городе памятники русской славы.

«Kutuzoffdenkmal» стоял на маленькой площади посередине города. Вечерняя заря бросала розовые блики на тихий, подернутый паутиной льда пруд, на

черный отшлифованный мрамор памятника. В косых лучах солнца блистали золотые, высеченные на мраморе слова:

> «До сих мест довел князь Кутузов-Смоленский победоносные российские войска. Он освободил Европу от насилия, он спас народ от рабства. Но здесь смерть положила предел славным дням его. Память о нем да будет нетленна».

Не первый раз приходили русские войска в Европу. Какую память Европа хранила о них? Конечно, бывали случаи мародерства и во времена Кутузова, и когда к нему приходили с жалобами, старый и умный фельдмаршал говаривал: «Лес рубят, щепки летят». Но одно дело — мелкие щепки, отдельные случаи, другое — сплошная волна грабежей и насилий. Наши отцы и деды оставили по себе добрую память в Европе. Не только у тех народов, которых они освобождали то от «чудовища» Буонапартия, то от турецкого варварства. Нет, даже в Польше, куда русская армия приходила, как завоевательница, — для раздела порабощенной страны, — даже там о царевом солдате не вспоминали плохо. От польских крестьянок я слышал, что раньше русский солдат входил в хату, снимал первым делом шапку и крестился на иконы и просил, если что-нибудь ему было нужно. «Теперь не те русские, не те», — жаловались поляки, хотя Красная армия в Польше не позволяла себе и сотой доли того, что делала в Германии. Что же должны были сказать о теперешних русских немцы?

Размышления мои перед памятником внезапно были прерваны пронзительным и леденящим душу криком. На площадь выбежала из-за угла девушка в растерзанном платье, с растрепанными волосами. Чулок на одной ноге спустился, — из колена, рассеченного где-то при падении, сочилась кровь. Пряди волос

прилипли к мокрому, в слезах, лицу. Увидев нас, она остановилась. Я пошел к ней навстречу. Ее глаза, полные слез, смотрели умоляюще, — безмолвно просили о человечности, сострадании.

Не успел я спросить, в чем дело, как из того же переулка выбежали, тяжело дыша, два солдата. Они были в черных, с толстыми прокладками из ваты, танкистских шлемах и широких кожаных поясах. Пистолеты — для быстроты действия — они носили не в кобурах: заткнули по-просту за пояса. Остановившись, они весело посмотрели на меня, словно приглашая в компанию — призаняться девушкой.

— Из Третьей армии? — спросил я.

— Так точно, товарищ капитан, из Третьей! — в один голос ответили оба, и на их чумазых, прокопченных лицах выразилось удовольствие, сверкнули белые молодые зубы.

Третья танковая армия генерал-полковника Рыбалко пользовалась громкой, заслуженной славой. Командующий ее, знаток танковой тактики, был вместе с тем и отважным солдатом: он сам садился в танк и управлял своими соединениями непосредственно на поле боя, держа связь по радио с танками, пехотой и самолетами в воздухе. Было известно и то, что в 1942 году его постигло горе: в одном из городков Украины немцы схватили его дочь и увезли в Германию. Накануне январского наступления, перед тем, как нашим войскам вступить в Германию, он собрал в привислянском лесу всех офицеров своей армии и провозгласил:

— Настал долгожданный час — час мести! Отомстим, друзья, каждый за свое горе — за дочь мою, за сестер ваших, за мать нашу Россию, за поруганную землю русскую!

Танкисты поняли слова командующего с беспощадной прямолинейностью: казаки прежней войны, и

сравнении с ними, были робкими недорослями, беспомощными сосунками. Конечно, им объявляли приказы «о поведении на территории Германии», но приказы — это бумага, а слово «месть» — живая жизнь, оно воплощено в многих соблазнительных, конкретно осязаемых вещах, например, в этой полной, белотелой девушке с большими серыми глазами, которая стояла перед нами, бросая испуганные взгляды то на меня, то на танкистов.

Танкистов теперь было четверо: подошли и те двое, которые в переулке дожидались, пока их товарищи настигнут и приволокут добычу. Подстегнутая страхом, девушка бежала быстрее, и, не наткнись на нас, не произойди неожиданной остановки на площади, она, пожалуй бы, ускользнула. Нечаянным виновником ее задержки оказался я, — тем более твердо решил я принять на себя ее защиту.

— В чем тут дело? Чего вы остановились? — спросили, подходя, танкисты у своих товарищей.

— А что вам от нее нужно? — спросил в свою очередь я, показывая на девушку.

— Что нужно — то нужно! — развязно ответил один сержант, изрядно пьяный.

— Она на кухне работать будет, — соврал другой. — При нашей части...

— Нигде она у вас работать не будет, — возразил я и обратился к девушке: — **Kommen Sie mit mir!** Идемте со мною!

— Но, но... — ухватился сержант за ее рукав. — Она не ваша! У нас есть свои офицеры, они нас ждут...

Бедная девушка, сколько человек дожидалось, чтобы разделить ее? Взвод? Полурота? Целый танковый дивизион?

— Вот что, садись-ка и ты в машину, — сказал я сержанту. — Поедем в военную комендатуру, там разберемся, чья она.

— Поедем! Поедем! — обнаглел сержант. — Хоть к самому Рыбалке поедем, а ее не отпущу!

— Брось ты, отступись, — начали уговаривать его товарищи. — Найдем другую.

Сержант отнял руку от девушки.

— Штабная крыса! — крикнул он мне вслед. — Чем ты нас испугать задумал — комендатурой! Мы в танках горим, а ты на машине катаешься. Тебя самого проверить надо, кто ты такой есть.

Усадив девушку в машину, я предложил отвезти ее домой. Но оказалось, что дом, где она жила вдвоем со старухой — дальней родственницей, в эту минуту горел, а старуха-хозяйка была убита этим утром шальной одинокой немецкой бомбой, когда два воздушных разведчика-мессершмитта пролетели над городом, уже занятым войсками Красной армии. Тем не менее, мы поехали к дому: взять чемодан, который девушке удалось выхватить из огня.

Бунцлау горел... Из окон домов вырывалось пламя. Узкие улицы, усыпанные битым стеклом, обломками кирпичей, застилало дымом. Трещали и рушились перекрытия, черные, горящие головешки отскакивали и падали на улицу. Над городом летели искры, в разных концах занимались новые пожары.

Немцы выжгли Россию от Буга до Волги: они вели войну с небывалой жестокостью. Теперь русские жгли Германию от Буга до Эльбы, перекрывая жестокость жестокостью. «Жестокость человека к человеку в наше время — от отсутствия религии», — этот диагноз Толстого определяет общую болезнь как того, так и другого народа. Три с лишним года советскому солдату твердили одно: «месть». На разные лады повторялось это слово в беседах политруков, листовках, газетах, — в особенности в статьях Эренбурга. На протяжении всей войны Эренбург твердил без уста-

ли, что ветхозаветное правило «око за око» устарело, что «наш новый завет» — «за око два ока», «за каплю крови — пуд крови». Темные, слепые инстинкты были развязаны в поколениях советских людей, воспитанных без религии, в материалистическом, марксистско-ленинском духе. Верховное командование Красной армии спохватилось, да слишком поздно. Пожары, погромы, грабежи, насилия создавали угрозу прежде всего действующей армии, нарушали работу ее тылов. Никакими приказами нельзя было обуздать разгулявшуюся стихию. Поражала бессмысленность, слепота «мести». В полку резерва у меня был приятель — младший лейтенант Иван Столяров, славный, добродушный парень, до войны заведывавший молочно-товарной фермой в одном из колхозов близ Твери. В Крейцбурге, где стоял наш полк, мы шли с ним однажды по улице и остановились возле брошенной хозяевами, распахнутой настеж посудной лавки. У Столярова загорелись глаза от радости: он увидел эмалированные ведра.

— Капитан, вот подойнички-то, а! — воскликнул он. — Кабы можно, отправил-бы я десяточек таких ведер домой, на ферму. Уж как были бы рады...

— Да, с посудой у нас не того, — согласился я. — Нехватка! Как то перед войной моя сестра в Москве день-деньской простояла в очереди, чтобы купить черную, даже не эмалированную чугунку.

Но мысли Столярова уже отлетели от посуды, от молочной фермы, — его осенила другая идея. Стоя на пороге лавки, он вдруг весело предложил:

— Капитан, давай подожжем...

— Да что ты, старина, сдурел, что ли? — удивился я. — Зачем тебе это?

— То-есть как, зачем?! — переспросил Столяров, уже с серьезным видом. — Месть! Они нас жгли и мы их выжжем!

Столярова я уговорил, но дня через два, проходя той же улицей, увидел, как догорала посудная лавка, все таки подожженная чьей-то рукой. Горели дома, выгорали города, хотя в них нуждалась в первую очередь сама Красная армия, ее госпитали, тыловые учреждения.

Бессмысленные поджоги, бессмысленные убийства... На фронтовых дорогах случалось такое. Гнали скот. Немецкое население, убегая от наступающей Красной армии, побросало все: коровы, свиньи, овцы разбрелись по околицам деревень, полям и перелескам. Тыловики-солдаты собирали скот: он был необходим Красной армии — и потому, что истощенная Россия давно уже не могла кормить войска, спасалась американскими продуктами и польским зерном, а так же и потому, что в это январское наступление растянулись коммуникации. Так вот, гнали скот, а мимо проходила группа офицеров. Некий старший лейтенант достал из ножен финку, подошел к корове и ударил — смертельным ударом — в затылок, в лен. Корова подогнула передние ноги, повалилась, стадо шарахнулось и побежало, мыча, а офицер, вытирая о голенище кривой острый нож, осклабился:

— Отец писал мне из деревни, — немцы увели с нашего двора корову. Вот же и им за то, пусть падет и ихняя...

Так же бессмысленно убивали людей. Население Крейцбурга бежало. В городе остался один дряхлый, глухой старик. У офицеров полка резерва споры вертелись вокруг одной темы: «поджечь — не поджечь», «убить — не убить». Потом я узнал: старика убили. В другом городе я сам, собственными глазами, видел труп женщины: она лежала поперек кровати с раздвинутыми ногами и задранным платьем, и в живот насквозь, до досок кровати, был воткнут длинный четырехгранный штык.

Не минула «месть» и Елены Шпрингер, — так звали девушку, которую мы спасли от танкистов. Мне было любопытно, как наши передовые части вступали в немецкий город, как произошла ее первая встреча с доблестными советскими воинами. Девушка засмеялась и произнесла два странных слова:

— Уры маш?

Это — первое, что она услышала от русских солдат. Два слова, немецкое и польское, означали: «Часы имеешь?» Боя в Бунцлау не было: немецкий арьергард ушел ночью, а русский авангард вступил в город утром. Население города, не слыша перестрелки, повылазило из подвалов, расположилось завтракать. Повидимому, общее всем людям чувство: «на миру и смерть красна» заставляло жителей объединяться. Многие оставляли свои дома и сходились в чужие квартиры.

— Нас было много, человек восемнадцать-двадцать, — рассказывала, смеясь, девушка. — Сидим, завтракаем. Открывается дверь, входят двое ваших. Мы так и застыли за столом. Но они ничего... довольно милые. Один стал в дверях, автомат наизготовку. А другой подошел к столу и спрашивает у меня, — я как раз с краю сидела, — «уры маш?». Ну, снял у меня с руки «уры», потом у тети «уры» и сережки из ушей. По очереди обошел всех вокруг стола, набил карманы «урами», кольцами, брошками и сережками, и, представьте, даже откозырял: «ауфвидерзеен». Правда, нам даже весело стало: вовсе не такие они страшные, эти советские парни. А вот сегодня пришли совсем другие...

В Красной армии весной 1945 года ходил анекдот: первому эшелону — часы, второму — девушки, третьему — барахло. Пехотинец, вступая в город, не имеет времени, чтобы заняться девушками: он обязан итти дальше по пятам противника, — первый эшелон

успевает лишь собрать «уры» и драгоценности. Второй эшелон, поддерживающий наступление, двигается без особой спешки: у этих есть время «ударить по девушкам». Третьему не остается ни золотых вещей, ни свежих девушек, но зато тыловики, оседая в городах, собирают и пакуют в чемоданы костюмы, платья, — у этих в цене шерстяные отрезы.

Бунцлау, занятый только вчера, переживал сегодня нашествие второго эшелона. Девушка рассказывала, что несколько часов назад к монастырю аннунциаток — монахинь, посвятивших себя Деве-Марии, — подъехало четыре танка. Для устрашения танкисты хватили из пушек по воротам и по крыше и ворвались в коридоры, келии.

Нашу подзащитную мы избавили от второго эшелона, — ее утраты ограничивались пока что часами. Но тяжкая участь ее была неизбежна: придет третий эшелон, вернутся на отдых в ближайший тыл бойцы первой линии...

— Так вы и остались без часов? — спросил я.

Девушка с грустной улыбкой показала голое запястье руки.

— Ничего, будут еще, — успокоил я ее, и, чтобы не быть жестоким, не сказал, что бойцы первой линии, выходя из боев на краткий отдых и в свою очередь «ударяя по девушкам», напевают песенку с таким рефреном:

Ком, паненка, шлаффен,
Дам тебе часы...

У Елены Шпрингер не было родственников в Бунцлау, — только эта старуха, лежавшая на дворе, у стенки, прикрытая простыней. Из-под досок, на которых она лежала, растеклась и застыла лужа крови. Дом догорал. Чемодан, который девушка, спугнутая про-

хожими солдатами, оставила на крылечке, был распорот кинжалом, — из вырезанной дыры торчали чулки, бретельки девичьей сорочки. Испугавшись солдат, проходивших мимо, она наткнулась на танкистов. Где она могла найти укрытие?

Мы подъехали к ее знакомым. В маленьком домике на окраине города жил старый бергмейстер Вюнш с женой и теткой — фрау Симон, 78-ми лет. Они приютили девушку, оставили ее на ночлег. Утром я должен был ехать в деревню Тиммендорф, по дороге в Саксонию, и найти там место, где погребено сердце Кутузова. Как могли мы, уезжая, обезопасить девушку? Написали таблички: «Квартира занята офицерами — не входить» и вывесили в окнах, на дверях.

Наши охранные листки, увы, не имели силы. Недели две-три спустя, уже в марте, мне опять случилось быть в Бунцлау. Первым делом пошел я в домик старика-бергмейстера, узнать, что сталось с девушкой. Домик стоял пустой, по комнатам гулял ветер. Где Ленхен? Где семья Вюнш? Оказалось, что комендант города распорядился: собрать всех немцев и поселить на одной улице — в нескольких больших домах на Вильгельмштрассе. Он сделал это с добрыми намерениями: окружил немецкий квартал патрулями, чтобы предохранить мирных жителей от насилий и грабежей. Но получилось хуже: что могли сделать патрули, если к домам подъезжали танки? Насильникам же теперь не приходилось искать, где ютятся среди развалин немецкие семьи. Насильники получили адрес: на Вильгельмштрассе.

На Вильгельмштрассе я пережил ночь, самую страшную в моей жизни. Ни под бомбежками, — скажем, на Волыни, где в одну ночь снесен был полностью город Сарны, — ни на переднем крае под огнем немецких шестиствольных минометов, — нигде не испытывал я такого страха, как тут, в этом мирном не-

мецком квартале. Мы легли спать в десять вечера. Дверные замки были поломаны, к дверям приставили стол, ведра с каменным углем. Не прошло и полчаса, как дверь зашаталась, баррикада поехала. Накинув шинель на плечи, я вышел в прихожую. Два молоденьких солдата, совсем — мальчишки.

— Водицы тут нет-ли, товарищ капитан? Напиться...

Вынес им кувшин с водою. Отпили по глотку и выплеснули из чашек, — ушли. Только нагромоздил я возле двери, что потяжелее, как снаружи опять кто-то уперся в дверь плечом. Танкисты... Их было шестеро. Не одни солдаты, но и офицеры. Пистолеты наружу, за поясами. Щелкают электрическими фонариками. Ни мало не обращая на меня внимания, двое прошли в комнату, к кровати, где лежала, ни жива — ни мертва, 78-летняя — кожа да кости! — фрау Симон. Сдернули одеяло:

— Э, чорт, старуха!

— А ну, посмотри на другой кровати, — посоветовал парень, стоявший в дверях.

Во что бы то ни стало сохранить спокойствие, — подумал я. Не кричать, не спорить, — это не привело бы к добру.

— Брось ты, старший лейтенант, с этим барахлом возиться! — сказал я приятельски. — Одни старушонки... Какой из них толк?

— Так чего же ты здесь поселился? — удивился офицер-танкист. — Идем с нами, найдем паненок. Не хочешь? Ну, так выпей со мной спирту!

Вытащил из-за пазухи бутылку.

— Не надо чашки, не надо! Давай из горлышка, по братски!

«Братьев» мне удалось выпроводить из квартиры без скандала. Но из дома они не ушли, — затопали

вверх по лестнице. Наверху, над потолком, раздались женские крики, плач детишек. В волнении стал я одеваться. Девушка и старики Вюнш умоляли меня не ходить туда: убьют! Минувшей ночью убили офицера городской комендатуры, пытавшегося помешать насилию. Всю ночь мы слушали в страхе крики несчастных женщин, плач детей и топот, топот тяжелых солдатских сапог над головой.

Утром, когда настал час отъезда, девушка бросилась ко мне в слезах, умоляя не оставлять ее. Тут я узнал страшную вещь: за три недели ее изнасиловали — общим счетом — не менее 250 человек! Насиловали и фрау Вюнш, даже на глазах мужа. Два солдата изнасиловали полуслепую и высохшую фрау Симон.

Куда я мог взять девушку? Но во мне возникло чувство личной ответственности за нее. Мы пошли с ней в военную комендатуру. Комендантом города был майор Лавренев, человек пожилой и неглупый. Выслушав мой рассказ о минувшей ночи, он, ни слова не говоря, повел меня по коридору и открыл дверь в комнату:

— Вот, смотрите...

На длинном столе посреди комнаты стоял гроб, обитый красным и обложенный бумажными цветами. В гробу лежал капитан, помощник военного коменданта. Я был с ним знаком: в мой первый приезд в Бунцлау он помогал мне отыскивать дом, где умер Кутузов. Капитан воевал с первых дней войны, участвовал в Сталинградской и Курской битвах, имел боевые ордена и золотые нашивки за тяжелые ранения. По ранениям его и перевели на работу в комендатуру. Думал ли он, что получит смерть здесь, в тылу, от руки мародера, насильника?

— Теперь судите сами, — сказал комендант. — Что я могу поделать? И вы, литератор, фронтовой корреспондент, не в состоянии мне помочь, — напи-

сать ведь об этом не можете? Тема большая, подумать есть над чем. Вы думали?

Комендант посмотрел на меня из-под седых бровей и заговорил горячо, с неожиданной откровенностью.

— Надо понять психологию этих молодых людей, солдат, танкистов. В какой обстановке они выросли? Имеют ли они понятие о том, что такое человек, права личности? Так, откуда же им знать, что даже враг, побежденный, имеет какие-то свои права? Человек, испытывающий над собой насилие, не может не стать насильником. Об этом писал Достоевский. А попробуйте-ка вы, напишите на эту тему.

Только в Действующей армии, — и вот так, с глазу на глаз, над гробом, — можно было услышать эти смелые и горькие слова.

— Жалко девушку, — сказал комендант, когда мы вернулись в приемную. — 250 человек! Таких две-три недели, и она не выживет. Чего доброго, заразят, если еще не заразили. А признается, что больна — пристрелят. Из самосохранения: чтобы не распространяла заразу. Что же нам с ней предпринять? В Лигнице, она говорит, у нее есть тетка. Не пожалейте бензину, отвезите ее туда. Все-таки дальше в тыл, там поспокойнее. Но вы знаете, возить немцев на машинах строго-настрого запрещено. Нарветесь на контрольный пост, не оберетесь неприятностей. Найдите красноармейский бушлат, шапку, — переоденьте девушку.

В Лигнице, крупном городе близ Бреслау, было не лучше. В теткином доме стоял плач: умирала внучка. На диване, в простынях, я увидал девочку лет двенадцати, с тонким, прозрачным, — казалось, светящимся, — лицом и большими, как у Ленхен, серыми глазами. Девочку изнасиловал солдат второго эшелона, а несколько дней спустя в квартиру вломились

солдаты третьего эшелона. Девочка, выскользнув у них из рук, побежала по крутой лестнице и оборвалась, упала.

Кроме того, в Лигнице, как тыловом городе, происходила советская обработка захваченной территории. Всех жителей от 16 до 50 лет собирали и угоняли на работы в Россию. Офицер из комендатуры сказал мне: в шахты Донбасса. На белой ленточке, оторванной от простыни, я написал адреса моих знакомых в Польше и родных в России: чтобы при бегстве Ленхен нашла укрытие. Ленточку она зашила в обшлаг рукава.

У меня тем временем небывалая и нежданная началась болезнь: желтуха. Должно быть, последствие страшной ночи в Бунцлау. Полковой врач направил в госпиталь. Дорога лежала опять через Лигниц. На воротах, в условленном месте, я увидел соскобленную ножом краску и выведенные на белой доске слова: «14 марта нас погнали куда то, куда — не знаю. Спасибо вам за все хорошее, что вы мне сделали. Молю Бога, чтобы нам еще встретиться в жизни. Ленхен». Постоял я в пустой квартире. Она производила ужасное впечатление: все перевернуто, перерыто. На полу валялись вороха белья, затоптанного солдатскими сапогами, на столе — осколки стеклянной банки и растекшееся варенье, а у окна лужа, испражнения, как визитная карточка побывавшего здесь человека.

22 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

Предместье Бреслау. Домики для рабочих — маленькие, сверкающие белизною, с цветными крышами. Вишневые садики, огороды, картофельные поля. На полях работают немки — под присмотром нашего сержанта. Сержант — веселый крепыш-сибиряк, хотя и немолодой уже, круглоголовый, лысый, с рыжими отвислыми усами. Мешая русские, немецкие и польские слова, он машет руками и объясняет немкам, что они должны сделать до обеда.

— На полосе посередке тычку видишь? То я поставил, — как раз половина участка. Ферштеен? До обеда — вскопать эту половину и посадить картошку. Вечером... ферштеен?.. вечером я начальству должон рапорт отнести, — закончена посевная кампания.

В мирной жизни сержант был, наверное, председателем колхоза. Он твердо научен, что посевную кампанию нельзя проводить без политической работы. Подойдя к немке, которая знает одно — мотыжить землю, как велено, он останавливает ее и, положив ей на плечо руку, поворачивает к моему окну. Окно — венецианское — распахнуто во всю ширь, и я лежу у окна на кровати, вымытый, выбритый, под чистою простыней, — наслаждаюсь апрельским солнцем, радуюсь свежей зелени, вдыхаю пьяные ароматы разрытой земли.

— Видишь? — показывает сержант на меня. — Лежит наш раненый воин. Он пролил кровь, чтобы вызволить вас от людоеда Гитлера. Ваша обязанность — дать ему лучшее питание. Ферштеен? По-ударному работать надо. Гитлер капут!

Немка тупо, покорно слушает сержанта. Доходят до нее, должно быть, лишь последние слова. Она вздыхает и соглашается:

— Аллес капут...

И, отвернувшись от моего окна, скорбно смотрит в сторону Бреслау. Бреслау горит. Там не стихает бой, висит темная туча дыма. Город окружен. Кольцо сомкнулось еще в январе. Но вот уже начало апреля, а немцы все держатся. Говорят, что поставлены под ружье ребятишки от двенадцати лет и выше. Фольксштурм... Наши терпят страшный урон на окраинах Бреслау. Не ранеными — больше убитыми. Немецкие снайперы заняли позиции на заводских трубах, в старых каменных корпусах, — они ведут уничтожающий огонь. Несмотря на потери, наши, что ни день, с разных сторон идут в атаку. Время не ждет: двухмесячная передышка после январского наступления подходит к концу, надо разделаться с Бреслауской группировкой и развязать руки для последнего, решающего удара — на Берлин, Дрезден, Прагу. Шестая пехотная армия, блокирующая Бреслау, поредела. В строй ставят писарей, поваров, обозников.

Госпиталь, где я нахожусь на излечении, подчинен «Шестерке». Это — маленький инфекционный госпиталь на 60-70 человек. Раненых здесь нет, — сержант упоминает о них из красноречия. Управляет делами терапевт Давид Семенович Хашанашвили.

Круглый, налитый соками жизни, на коротеньких ножках, в белом халате, Хашанашвили вбегает ко мне в палату:

— Нет, так работать немыслимо! Забирают шеф-повара. Приехал генерал Некрасов. Сам просматривает списки личного состава — кого послать в строй. Говорю ему: — Товарищ генерал! У меня госпиталь не простой — инфекционный! В хирургическом госпитале — намешал в котле капусты с мясом, каши наварил,

и ладно. А здесь повар профессором должен быть: что ни больной — особая диэта. Так, что он мне ответил, генерал Некрасов? Нет, вы послушайте: «Или — больные, или — Бреслау».

Хашанашвили садится на край кровати и переводит дух.

— Ну, как вы? Глюкозу сестра вливала? Капусту сырую ели?

Дела мои идут на поправку. Желтуха сошла. Из штаба фронта, из отдела кадров, получил телеграмму — назначение. Небольшое, отнюдь несоответствующее моим капитанским погонам, но тут уж поделать нечего, — только развести руками. Нехватка людей была настолько сильна, что «идеологические распри» начальство отбросило в сторону, — последнему я только радовался. Назначили меня командиром стрелкового взвода. Предписывалось: ехать из госпиталя прямо к месту назначения.

Наступали дни величайших свершений. Каждый день я у себя в палате, расстелив широкую, как одеяло, карту, следил за продвижением армий Эйзенхауэра и Монтгомери. Наши два фронта — Жуков и Конев — нацеленные на Берлин и на Дрезден, еще стояли. Вечером 14 апреля Хашанашвили пришел ко мне радостный:

— Наши пошли!

— Выписывайте же меня, доктор!

— Дня через два, пожалуй...

Выписываясь 16 апреля из госпиталя, я получил отпускной билет на 6 дней, — до 22 апреля. По всем солдатским привычкам, вкоренившимся в психику за четыре года, я должен был сделать так: доехать до крупного прифронтового города, скажем, Лигница, попросить в комендатуре квартиру получше (с «паненками» или без «паненок» — смотря по вкусу) и провести неделю отпуска на свободе, в блаженном ничего-

неделании. Но сделалось все по-другому. Не знаю, что толкнуло меня — кинуться в те места, где разгоралась последняя битва. Позабыв об отпуске, я поехал искать дивизию, куда был назначен.

Нелегкое дело — искать свою часть в дни наступления. Тронулись громадные людские массы, пришли в движение неисчислимые табуны машин, снялись госпитали, тыловые ремонтные мастерские, походные хлебозаводы, склады... По какой-то случайности, мои поиски были облегчены: я попал на попутный грузовичек, принадлежавший как раз моей дивизии.

Войска маршала Конева взломали немецкую линию обороны в двух местах: от Загана — вверх к Берлину, от Бунцлау — вниз к Дрездену. Прорыв был стремительный. В том и другом направлениях образовались два клина, два длинных острых языка.

На Дрезденском направлении, наряду с нашими войсками, действовала Вторая польская армия генерала Поплавского, и на переправе через реку Нейсе (Ниса Лужицкая) мы увидели польскую стражу, портреты маршалка Роля-Жимерского и лозунг:

«Польский жолнеж! Добудь Отчизне новую границу — на Нисе и Одере!»

В городке по ту сторону Нисы, два дня назад принадлежавшем немцам, а теперь занятом поляками, — та же картина, какую я видел в феврале в Бунцлау. Из пустых окон домов вырывается пламя, на улицах — битое стекло, кирпичи, обгоревшее железо, солдаты выбегают из подвалов со стеклянными банками, — в банках варенье, моченая вишня, яблочный компот... Мой шофер остановил машину и достал цинковый бидон, в каких возят молоко с фермы.

— Туточка за углом — водочный завод. Набрать спиртяги...

Из-за угла вышли два польских солдата. Они тяжело тащили за ушки такой же бидон.

— Мне-то оставили? — крикнул им шофер. — Или остатки выцедили?

— Какое остатки? — отозвались поляки. — Еще одна цистерна непочатая!

«Поляки» оказались самыми настоящими русскими: один ивановский, другой тамбовский, — только форма польская. Постояли, вытирая пот со лба. Спросили табачку. — «Все есть, немцы побросали, — и одежа, и пищи невпроворот, а вот табачку не сыщешь». Проводив их взглядом, я подумал: для какой «Отчизны» добывали они новую границу на Нисе и Одере?

Штаб 280-й дивизии стоял в деревне Гебельциг, километрах в сорока от Дрездена. Приехали мы туда вечером 20 апреля. Начальник дивизионного отдела кадров сказал, что с моим прибытием у него в резерве как раз столько офицеров, сколько по штату положено для двух батальонов. Назавтра ожидалось пополнение, — как только солдаты придут, батальоны тутже будут сформированы и мне вручат стрелковый взвод.

— В дело вам, пожалуй, уж и не успеть, — улыбнулся начальник. — Война на исходе. Кончится не сегодня — завтра.

Немецкое население не ушло из Гебельцига. Не успело, или некуда уходить — Германию зажимали с обеих сторон. Немки прятались по подвалам, и когда я пришел в белый двухэтажный дом на взгорье, где располагались офицеры дивизионного резерва, два молоденьких лейтенанта вытаскивали из темного, залитого водою погреба толстую плачущую девку, — хозяйскую дочь. Две других дочери были уже извлечены, — вместе с матерью они щипали гусей и варили обед для господ офицеров. Господа офицеры тем временем крутили патефон и, раскидав по столу кучу зеленых оккупационных марок на тысячную сумму, играли в карты; покупать на марки было нечего, да и

что покупать, если все даром. Молоденькие лейтенанты ухаживали за плачущей, вымокшей в погребе фрейлен, — один подавал ей сухие домашние туфли, другой предлагал петифур. Они были совсем юны, эти двое — розовощекие, в золотистом пушку, во всем новеньком, в скрипучих желтых портупеях, — видать, только из военного училища. Оставив быстро утешившуюся фрейлен, они отошли к столу и с видом стратегов раскинули военную оперативную карту.

— Карту эту — сложить и выбросить, — сказал им густым, привыкшим командовать голосом капитан, сидевший за столом и пересчитывавший деньги. — Войне — конец! Поезжайте обратно в Пензу.

— Не повезло ребятам, — отозвался партнер, тасуя игральные карты. — Медаль заваляющую, и ту заработать не придется.

«Пензяки» склонились над картой и начали чертить по ней красным карандашем, — они обозначали стрелками линию фронта.

На другой день — 21 апреля — рано утром лейтенанты побежали в штаб: узнать оперативную сводку. Вернулись с испуганными, слегка побледневшими лицами. Выставив немок из комнаты, объявили:

— Фрицы наступают!..

— Точно, конечно, мы не знаем, но слышали в оперативном отделе...

Капитан, — он весь был увешан орденами и золотыми и красными нашивками за ранения, — расхохотался:

— В Пензу! В Пензу!

Вскоре капитана, — он числился старшим резерва, — вызвали в штаб. Он вернулся, собрал нас всех и при закрытых дверях сказал, что, увы, сообщение «пензяков» оказалось не таким уж неправильным.

— Ничего еще неизвестно, только велено — быть наготове. Не раскладывайтесь с барахлом, снесите ве-

щевые сумки в одно место, чтобы, в случае чего, не искать.

В обед капитан принес более подробные новости: немцы ударили с юга, со стороны Судет. План наступления прост: обрубить клин, острие которого протянулось к Дрездену. Утром они имели успех — заняли несколько деревень. Таким образом, теперь они противостояли нам не только с запада и юга, но и с востока. Выход на север — дорога от Гебельцига и переправа на Нисе, по которой мы ехали накануне — был по-прежнему в наших руках. В крайнем случае, штаб дивизии мог уйти по этой дороге.

Кажется, Геббельсу принадлежат слова: «У нас есть силы, чтобы сражаться не только до 12-го часа, но и до пяти минут 1-го». Такой силой оказались войска фельдмаршала Шернера. Они воевали даже после того, как Дениц объявил капитуляцию. И это они же предприняли наступление в районе Дрездена. Было ясно с самого начала, что это — последняя судорога издыхающего и злобного зверя. Наступлёние Шернера не могло оказать никакого влияния на исход войны, — война действительно кончалась не сегодня-завтра. Даже частная операция — срезать жало, протянувшееся к Дрездену — вряд ли могла быть осуществлена полностью: слишком большие силы вводились в прорыв со стороны Красной армии. Но отхватить кусок занятой нами территории, окружить, к примеру, эту деревушку Гебельциг, даже окрестные малые города — Вайсенберг, Бауцен, — это немцы сделать могли. В таком случае, чуть ли не в последний день войны, мы попадали в несколько неприятное положение. Думалось: чорт меня сунул — торопиться в дивизию! Ведь завтра — 22 апреля — мне еще полагался отпуск!.. В разгаре событий не думалось, что именно так и должно было быть, что все это — не что иное, как Божий Промысел обо мне...

Начинало смеркаться, когда в наш дом прибежал солдат:

— Товарищи офицеры, боевая тревога!

На отлете, у берега реки, стояла помещичья усадьба. Там помещался штаб дивизии. На дворе, окруженном каменными стенами, выстраивали и пересчитывали офицеров и солдат, имевшихся в наличии при штабе. Вызывали минометчиков, пулеметчиков, бронебойщиков. Остальным роздали винтовки. Дорога, по которой мы вчера ехали, перерезана. Наша деревня оставалась в окружении. Все, кто был, ложились в круговую оборону

А было нас мало. Из офицеров резерва составили отдельный взвод. Капитан, старший резерва, повел нас на северную окраину деревни и показал на широкое озимое поле:

— Тут наша линия. На восемнадцать человек — не меньше километра.

Капитан был опытный командир. Каждому стрелку, ручному полеметчику — выбрал позицию, определил сектор обстрела. Оборона получилась жидкая: стрелок от стрелка — на сто шагов! Капитан утешался тем, что, по всем данным, немцы могли ударить только с востока, — там же стояли, хотя и не полные, полки дивизии. Поздним вечером к нам, на северную окраину, прикатили три пушечки. Их поставили у плетней, между домами. Командир батареи сказал, что даже если немцы пустят танки, он не пропустит ни одного на таком ровном поле. На душе повеселело.

Меня капитан держал при себе, как связного.

— Пойдите в деревню,—сказал он мне,—и узнайте, где штаб и штабная кухня. Получите ужин на взвод и разнесете по линии, по стрелковым ячейкам.

В помещичьей усадьбе было пусто. Штаб уехал в городок Вайсенберг, за четыре километра. В кухне на

полу валялась недоваренная и вываленная из котла картошка. Мне вспомнилось, что у нас на квартире остались гуси. Пошел туда и попросил хозяйку с дочерьми — ощипать, сварить.

Вчетвером они принялись за работу. Пока я прилег отдохнуть — набраться сил, успокоиться перед возможным боем. По лестнице вдруг затопали тяжелые солдатские сапоги. Немки притихли. Оказалось два офицера, служившие в одном из полков нашей дивизии. Увидев меня, они переглянулись и объяснили, что им поручено обойти деревню, проверить дома.

— В этом доме нечего проверять, раз тут капитан находится, — сказал один другому. — Для порядка пойди, посмотри в тех комнатах, а мы тут потолкуем с капитаном.

Тот вышел. Здоровенный, рослый украинец, старший лейтенант Никуленко, уселся, предложил папироску. Завязался разговор, Никуленко тоже служил на Северо-Западном фронте, — нашлись общие знакомые.

Некоторое время спустя тот вернулся, — подхватил ниточку разговора. Никуленко, между тем, стушевался. Исчезновения его я за разговором заметил не сразу, и только услышав в кухне тихий приглушенный плач хозяйки, догадался, что происходит в соседней — за кухней — комнате. Не владея собою, я ворвался туда и дал пинком сапога в зад Никуленко. Драться он не посмел, так как я закричал, что завтра же доложу обо всем командиру дивизии Герою Советского Союза Короленко. Бедные женщины, оказывается, были настолько запуганы, что даже не смели позвать на помощь, когда их тащили насильники.

Брезжил рассвет. Гуси сварились. Надо было итти на позицию. Что-то будет со мною утром? Что-то пошлет мне судьба? Отложив винтовку в сторону, я достал из кармана мою финифтяную иконку «Успение Пресвятой Богородицы», которую мне дал священник

на Волыни. Стоя на коленях, прочитал все молитвы, каким к этому времени научился. А когда поднялся, увидел, что немки — все четыре, мать и дочери — тоже стоят позади на коленях и тоже молятся.

Утро наступило тихое. Апрельский, розовый с голубым, рассвет. Нежная, молодая листва на деревьях искрилась капельками росы. Девственно зеленело озимое поле, по которому лежали цепочкой мои товарищи. Метрах в полутораста от нашей линии темнел лесок, из которого могли появиться немцы. Но, переходя с гусятиной от одной стрелковой ячейки до другой, я подымался во весь рост, шел в виду леса, — никто не обстрелял меня. Тишина. Покойное, мирное утро.

В стороне пролегала большая асфальтовая дорога — та, по которой еще так недавно мы ехали. На этой дороге вдруг показалась толпа. Люди, повозки, лошади... Все это двигалось из леса — на деревню.

— Связной! — крикнул мне капитан. — Выяснить, что за люди.

Выяснений не требовалось: сразу было видать, что беженцы. Они катили перед собою детские коляски, набитые доверху тряпьем, ехали на велосипедах, обложенных чемоданами, шли за подводами, где мерзли под одеялами ребятишки. Все это говорило на десяти языках — шли поляки, французы, голландцы, итальянцы... Остановив польскую семью, я стал расспрашивать, что же там, в лесу?

— Нас всех, кто тут есть, собрали вчера в Вайсенберге, видите, в том городке, что за горою, — сказал поляк. — Велели идти по этой дороге — к Нисе, в тыл. Тут в лесочке, километра два, есть деревня, — заночевали. В деревне стояли польские жолнежи. Проснулись сегодня утром, — жолнежей нет, а есть немцы. Приехали на бронетранспортере — пятеро или шестеро. Сказали: «Никуда не уходить отсюда» и — уехали. После них прикатили ваши, русские. На велосипедах,

трое. Собирают всех: «Айда за нами». Опять на Вайсенберг. Карусель!..

Несомненный устанавливался факт: в лесу перед нами были немцы. Едва я доложил об этом капитану, как на дороге опять показался фургон, но уже не из леса, — напротив, в лес. Шли бабы, ковылял старик. На привязи за телегой тянулись две лошади. Фургон свернул с большой дороги и поехал наискосок по проселку, пересекавшему озимое поле.

— Остановить! — приказал капитан.

У него был свисток, — видно, бабы не слышали. На голос тоже не останавливались. Капитан схватился за автомат. Дал очередь. Кажется, ранил лошадь. Фургон остановился — между лесом и нашей позицией, на озимом поле.

— Связной! Сходить и сказать — в лес нельзя! Повернуть обратно.

Бабы оказались немками. Подбежал к ним—кричу:

— Ферботен!

И тотчас же у моих ног взметнулись комочки земли, — на лесной опушке треснула короткая и сухая автоматная очередь. Лошади рванули, фургон, покрытый дерюгой, опрокинулся, — вывалились малые ребятишки. Подбирать их было некому, — все упали плашмя, осыпанные комками сырой земли, поднятой в воздух разрывом снаряда.

Начался бой. В этом бою у меня было не лучшее место. Мы лежали на «ничьей земле» — под двумя огнями. Уткнувшись лицом в озимя, я слушал шумы и свисты, разрывы снарядов. Пушечки наши стреляли. Но пушки отвечали и из леса. Немцы с танками? Надо было выбираться скорее с «ничьей земли». Приподнял голову, — опять, щелкая о землю, засвистали пули. Какой то немец сидел на опушке леса и следил за нами, чтобы прижать к земле. Но я успел заметить канавку рядом,—скатился, пополз. Метра четыре—канавка

кончилась, подъем на бугорок. Немец следил, прижимал короткими очередями к земле. Точно мне было предназначено оставаться тут, на «ничьей земле». Распластавшись, я тронул ладонью карман на груди, где лежала иконка, и медленно, вслух, под грохот боя, проговорил:

«Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычица...»

В это мгновение сильная чья-то рука схватила меня за шиворот и, тряхнув, почти приподняв на воздух, поставила на ноги. Передо мною стоял гигантского роста немец. Напряженное, налитое кровью лицо, глаза на выкате... Он замахнулся над моей головой прикладом и крикнул:

— Pole?

— Ich bin russischer Hauptmann.

Немец опустил приклад и толкнул меня — под охрану — к молоденькому, совсем мальчику лет четырнадцати, солдату.

По зеленому полю, во всю ширь — от края до края, густо шли немецкие солдаты. Двигались, стреляя на ходу, танки. Домики, возле которых стояли наши пушки, были разворочены и, подожженные снарядами, пылали. По нежному небу апрельского утра размазывался густой черный дым.

Мальчишка подвел меня к танку. Поставил сзади, велел так, за танком, итти. На шее у него болтался автомат. Держа палец на спусковом крючке, он шел за моей спиною. Длинный ствол танковой пушки поворачивался вправо и влево, ища цели и изрыгая огонь. Из бортовой щели к моим ногам выскакивали пустые, задымленные гильзы.

Прошли Гебельциг. Начался отлогий подъем. Танки приостановились. Пехота, рассеянная по полю, подымалась на гребешок. Мальчишка ткнул мне в спину дулом автомата и тоже велел итти вперед.

Из-за бугра вырастали дома городка Вайсенберга. На гребне разрасталась перестрелка. Немецкие танки сосредотачивались внизу. Прикинул, — танков стояло не менее тридцати. Но у наших, наверное, в городе тоже серьезная оборона. Будет бой. Какая нелепость — итти в немецкой цепи и, может быть, пасть от руки своих же! Увидев гиганта-немца, который лежал, окопавшись, я показал ему жестом, что хочу — «цурюк». Он засмеялся:

— Вечером. Возьмем город — тогда. Сейчас отправить не с кем.

Но немцы перед боем вводили новые силы. Та рота, которая взяла деревню, отводилась в ближайший тыл. Лейтенант, командир роты, собирая своих солдат, увидел меня.

— Hauptmann? — показал он на мои погоны.

— Kriegsberichter, военный корреспондент, — добавил я.

— О! — сказал он и забрал с собою.

Гебельциг стал тылом. Лейтенант и солдаты, — их уцелело немного, рота потеряла, как я понял, 40 человек, — были в маскировочных халатах с зелеными и коричневыми пятнами, в металлических касках, обтянутых сеточками, чтобы втыкать прутья, пучки травы. Но в деревне уже бегали штабофицеры — в фуражках с высокими тульями, начищенных сапогах.

Увидел я на взгорье белый двухэтажный дом, где мы так беззаботно, за картами и гусятиной, провели два дня. Окна были открыты, занавески отдернуты, — так и у нас подмосковные бабы выветривали немецкий дух.

Близ дома, в ложбинке, стояли бронетранспортеры с антеннами радиостанций, — командный пункт. Не успел лейтенант доложить, где и как меня взяли, — один офицер, в форме гауптмана, подскочил ко мне и

срывающимся от напряжения голосом крикнул по-русски:

— Немецкая женщина браль?

— Найн, — тряхнул я головой отрицательно.

— Ja! Ja! — Он размахнулся и ударил меня по лицу.

Очки мои полетели в грязь. Гауптман кричал мне что-то в лицо по-немецки. На шее у него вздулись жилы и побелели немигающие, вытаращенные глаза. В криках я уловил одно слово — «erschiessen», «расстрелять». Потом мне много раз пришлось слышать его, но тут, на переднем крае, где валялись еще неубранные трупы, где люди разгорячены боем и где пристрелить человека — ничто, — тут меня спасло то, на что я не мог надеяться.

Из белого дома выскочили немки. Хозяйка, простоволосая, со сбившимся платком, и за нею — толстые, перепуганные дочери. Хозяйка легко, с быстротой, непонятной для ее возраста, сбежала под гору и, приложив к стесненной груди руки, еле переводя дыхание, начала в свою очередь что-то кричать изумленному гауптману. Она плакала и вытирала концом платка слезы, а потом обернулась ко мне улыбающимся, в слезах, лицом. Девицы жались кучкой в сторонке и кивали головами.

Всю эту сцену — и как гауптман ударил меня, и как подбежали женщины — наблюдал пожилой, молчаливый, невозмутимый оберст. Он молча сделал два шага, нагнулся, поднял очки из грязи и подал их мне, не сказав ни слова.

Меня усадили в бронетранспортер. Долго ехали. Вдалеке синели одетые лесом горы. Тихо садилось солнце. Кончился день 22 апреля 1945 года, — день неволи и день свободы. Куда тянулась дальше нить моей жизни? Польский поэт Ян Каспрович, которому принадлежали стихи о Божьей «невидимке-само-

прялке», писал, что свобода добывается в страдании. Год назад, на Волыни, на чердаке, я мечтал о свободе. Теперь передо мною лежал путь страданий. В конце пути блеснет ли мне луч свободы? Будет ли этот день только днем неволи или так же — днем благословенной вольности? Таким размышлениям предавался я, пока мы ехали до деревни, затерянной между гор в долине.

В деревне я увидел других пленных. Их загоняли на ночевку в сарай. Меня втолкнули в каморку. Там на соломе лежал красивый, молодой парень в комбинезоне летчика. Его тоже только что привели. Он был воздушный разведчик. Два раза сегодня слетал успешно, — на третий зажгли машину. Штурман был убит, он и стрелок-радист выбросились на парашютах.

— В последний день войны — попасть в плен! — хватался за голову летчик. — Утром сегодня я вел разведку над полем боя в районе Торгау. Видел собственными глазами, как соединялись войска — наши и американские. Ведь это и есть победа — конец войны!

Он плакал, скрипел зубами. У меня тоже сжималось, замирало сердце. Быть-бы мне среди своих — праздновать победу. Поехал-бы в Москву и жил — пусть в несвободе, зато в относительном благополучии. Но изменить я не мог ничего — ни вчера, ни сегодня. И что завтра должно случиться — того тоже не отвратить. Война кончилась, — худо ли, хорошо ли, я до конца исполнял свой долг. Плен не мог теперь длиться долго. И, если суждено мне было жить, то этот странный плен в день победы означал выход из несвободы — через страдание.

И ОН ПОЛОЖИЛ НА МЕНЯ ДЕСНИЦУ СВОЮ...

Всю ночь приводили пленных. В нашей каморке тесным-тесно. Лечь негде, сидим, поджавши ноги. Тяжелый замок и щеколда на дверях громыхают беспрестанно: открываются двери, вспыхивает фонарик и вталкивают еще кого-то.

— Покурить есть, ребята? — спрашивает только что вошедший осипшим, простуженным голосом.

Щелкнула зажигалка. Блеснула лысина.

— Калинка! — воскликнул я с радостью.

Это был старшина — писарь из штаба дивизии. Шинель на нем мокрая: он прятался в прибрежных кустах у какой-то речушки. Шапку потерял. Рассказывает: штаб перехватили по дороге от Вайсенберга к Бауцену. Тут же двигался и санитарный батальон дивизии. В санбате служила медицинской сестрой дочь Калинки, красавица с большими серыми глазами. Отец и дочь бежали, когда немцы окружали штаб. Но солдаты прочесывали лесок и кустарники, — схватили в плен.

— Просил, чтобы не разлучали нас, — сказал Калинка. — В лагерь будут отправлять, так чтобы вместе.

— Отправят, — вздохнул летчик. — На тот свет...

— Ну уж и на тот свет! — возразил Калинка. — Наплюйте в глаза тому, кто скажет, что пленных расстреливают, — одна пропаганда. Не первую войну воюю, — пропаганды этой и в пятнадцатом году наслушался, а теперь так и совсем объелся.

Опять загремела щеколда и распахнулась дверь. В дверях немецкие солдаты с винтовками.

— Komm!

На дворе светало. Стояли штабные автомобили, грузовики-фургоны. Из домов выбегали офицеры: тащили железные ящики, портфели, чемоданы. Вдоль деревенской улицы взад и вперед сновали мотоциклисты. Иной останавливался, — в черном резиновом плаще, забрызганный грязью, — и бежал в дом: привез донесение. Пленные толпились у сарая, переговаривались, гадали: куда поведут теперь? Во мне атрофировались все чувства, кроме двух: зрения и слуха. Из отрывочных разговоров немецких солдат, из вопросов и возгласов мотоциклистов я понял, что мы находились в штабе танковой дивизии «Бранденбург», что немцам удалось выбить наших из Вайсенберга и Бауцена и что, несмотря на частичный успех, немцев все-таки одолевают наши.

Штаб дивизии «Бранденбург» переезжал на другое место. Поведут ли туда толпу военнопленных? Никого еще не допрашивали. Или в допросах нет больше смысла? К чему сведения, если война все-равно проиграна? Тогда что делать с пленными? Гнать на работы, — куда? Половина Германии занята американцами и англичанами, половина — русскими. В эти последние дни войны пленные ничего не стоили: ни как источник информации, ни как рабочая сила. Немцам мы были не нужны! И немцы не были бы немцами, если бы они нас не уничтожили. Мысль эта, как острый луч, прорезалась в моем сознании. Помню, хорошо помню, как пришла ко мне необычайная ясность видения. Все, что происходило вокруг меня, я видел с резкой отчетливостью. Такой физически ощущаемой чистоты мысли, позволявшей видеть не только то, что есть, но и то, что вот-вот будет, я не испытывал в своей жизни ни до того, ни после.

Подошли два переводчика. Один говорил по-русски, другой по-польски. Объявили: всем офицерам отойти в сторону, стать в шеренгу. Мы с летчиком переглянулись. Было известно, что немцы в первую очередь расстреливали пленных офицеров. Поэтому наши, попадая в окружение, первым делом уничтожали офицерские удостоверения, срывали офицерские нашивки. Летчики, положим, вообще, отправляясь в полет, снимали погоны: чтобы легче надевать комбинезон, чтобы лямки парашюта не резали плечи. На мне же были погоны со звездочками, — не укрыться. Но я и не хотел укрываться: мое знание мне подсказывало — надо выходить! Многие правила, которыми можно было руководствоваться во время войны, теперь, при конце войны, оказывались негодными. Как раз теперь, когда немцев не интересовали никакие пленные и вся эта толпа заранее — слагавшимися обстоятельствами — обрекалась на расстрел, теперь не имело смысла укрываться. Напротив, следовало выйти в офицерскую шеренгу. Может, это шанс? Может, выигрыш во времени? Молча, одним взглядом, я позвал с собою летчика, товарища по каморке. Он повел глазами, — отказался. В комбинезоне, без погон, он втиснулся вглубь толпы, в грязное серо-шинельное месиво.

Шеренги не получилось: вышли из толпы только четверо. Два польских поручика, я и еще старший лейтенант, командир роты из нашей дивизии. Мы стали рядышком, по линейке. На нас сотней глаз смотрела толпа, — товарищи прощались с нами.

— Никого нет больше? — крикнул переводчик. И пошел вдоль тесно сжавшейся толпы, поглядывая на плечи пленных. — Ну, хорошо, — обратился он к нашей четверке, — идемте со мною.

Нас посадили в грузовик-фургон. Дверцу захлопнули и замкнули. В фургоне темно: ни окошечка, ни щелки.

— Душегубка? — шепнул старший лейтенант.

Грузовик тронулся и, переваливаясь по ухабам, поехал. Я постучал по стенке, нагнулся и пощупал пол, — дерево... Душегубки, знаменитые «газовые камеры», — помнилось по материалам харьковского процесса, — обшивались железом. Под ногами должна была быть решетка, — ее не было. Не чувствовалось и запаха газа.

— Нет, — ответил я. — Нас они просто зачем-то везут с собою. Может, будут допрашивать, — тут не успели.

Проехали немного, грузовик остановился. Солдат отворил дверцу, молча посмотрел на нас, — захлопнул снова. Мы стояли на деревенской околице. По дороге растянулась колонна штабных автобусов, грузовиков. Желтая дощечка с черными буквами, прибитая к столбу, показывала, что мы — в деревне Варут, неподалеку от Дрездена.

Колонна двинулась.

— Вот что, друзья мои, — сказал я. — У кого на себе чужие вещи — бросьте! Кольца, часы... — вообще все, что есть немецкого.

Поляки молчали. Повторил по-польски, — не отозвались.

— Как это — бросьте? — сказал старший лейтенант. — Карманные часы мои, откуда видно, что они немецкие? Фирма «Мозер»? Так, может, они от отца перешли по наследству? У отца тоже были мозеровские часы.

— Лучше бросить, — посоветовал я. — Приедем на новое место, — сразу просись в уборную, там и кинешь. Нижнее белье на тебе не немецкое?

— А на тебе русское? — засмеялся старший лейтенант. — Стирать свое давно отвыкли. Приходи в

любой дом, открывай комоды. Богато они жили, черти-дьяволы! Ты, скажешь, ихнего белья не брал?

— Брал. Только и своего не бросал. На мое счастье, сейчас я в своем, армейском.

Наш фургон кидало с боку на бок. По-верху и по бокам хлестали ветки. Чувствовалось, едем лесными дорогами. Наверное, кругом горы: шофер временами газует, натужливо тянет машину вверх, то затормаживает на спуске. Немного осталось земли у немцев: лезут в леса, ущелья. Вчера, 22 апреля, наши войска соединились с американскими. Что-то сегодня? Пал Берлин? И где-то падут наши головы?

Неоспоримая в своем значении вырастала передо мною проблема — проблема колец, часов... Немецкие вещи перестали быть вещами: они приобретали страшный смысл. Наступление танковой дивизии «Бранденбург» было первой наступательной операцией немцев на германской территории. Впервые немцы вступали в немецкие города и села после того, как их оставили наши. Улицы, усыпанные стеклами, заваленные поломанной мебелью, распоротыми перинами, квартиры, где на пол вывалены вороха белья, затоптанного солдатскими сапогами, и при всем том — плач женщин, — все это приводило немцев в ярость. Четыре года русский солдат знал одно: «Отомсти! Убей захватчика-немца!» — это камни кричали в России, кричала выжженная земля. Теперь неприятели поменялись ролями: мстители стали захватчиками, захватчики становились мстителями. Немец видел не только гибель деревни, — он видел гибель Германии. На ком выместить злобу, отчаяние? На пленном! На том, кто, может быть, в этой, отбитой хоть на день от русских, деревне тащил в кровать девушек, отнимал у них кольца, выволакивал из комодов белье... «Отомсти! Убей захватчика-русского!» — это тоже кричали камни, кричала земля Германии. На нас по-

павшихся в эти дни к немцам в руки, падала тяжесть мести, смертельной ненависти. Было бы чудом, если бы хоть кому-то из нас удалось спастись!

Машина остановилась. Велели вылезать. На воле сверкало солнце, зеленела молодая, сочная трава. В темном, непроницаемом фургоне мы ехали часа три-четыре. Глаза отвыкли от света, — слипались и не хотели смотреть на мир. Не вбирала красоты мира и душа: все чувства и мысли были поглощены одним — ближайшей судьбою! Где мы и что тут будет с нами?

Край деревни. На доске надпись: «Вуишки». На отшибе, обнесенная невысокой каменной стеной, помещичья усадьба. Нас повели туда. В воротах прохаживался между каменными львами часовой в каске. На груди у него на толстой цепи висела металлическая бляха: «Фельджандармери».

У подъезда, на широких каменных ступенях, стоял на солнышке, опершись о колонну, молоденький щеголеватый офицер. Волосы у него были смочены и зализаны, — солнечный блик скользил по ним. Он наслаждался весною, теплом и, играючи острой блестящей пилочкой, чистил, полировал ногти.

— Вы что, из авиации, капитан? — спросил он меня по-русски, но с очень плохим акцентом, показывая на погоны с голубыми кантами, которые еще оставались на моей шинели со времен старой службы.

— Был военным корреспондентом в Воздушной армии.

— Вот как! — засмеялся он. — Это занятно. Воздушные сферы вам, значит, знакомы? Вот мы и пошлем вас на небеса. Напишете корреспонденцию оттуда... с того света! Интересно будет почитать, что там за жизнь?

И, смеясь, веселый, довольный шуткой и этим теплым весенним днем, он пошел в прохладный, гулкий вестибюль. Повидимому, это был дежурный офицер. Он все так же весело крикнул что-то по-немецки, — позвал переводчика.

Переводчик вышел недовольный:

— Ну, что мне с вами делать? Зачем вас сюда прислали? Допрашивать — бесполезно! Вас спрашиваешь: когда и кто из высшего командования Красной армии приказывал насиловать немецких женщин, грабить наше население, вы отвечаете, что такого приказа не было! Как это не было, если солдаты насилуют и грабят! Или еще говорят: не знаю, не слыхал о таком приказе. Как так, не знаю? Вы — офицер, вы должны знать приказы! Обыскивать вас тоже бесполезно: без обыска вижу, что все в награбленном! Кольцо на твоем пальце... у кого отнял?

Поляк щелкнул каблуками и бегло заговорил по-немецки. Напряженная душа и ясное до резкости сознание помогали мне понимать все, что говорилось по-немецки, хотя обычно я едва разбирался в простенькой житейской фразе. Поляк рассказывал, что он — «райхсдейч», из Ратибора, с Горного Шленска. Другой, его товарищ, тоже. До 1941 года они, будто бы, служили в германской армии, участвовали в сражениях на Восточном фронте, были русскими взяты в плен, а потом силой принуждены вступить в Войско Польское. Теперь же, при первой стычке польских частей с немецкими, они сдались в плен и возвращаются, таким образом, в родную армию.

— Проходите туда, — показал им переводчик на вестибюль и круто повернулся в нашу сторону.

Нас осталось двое. Мы стояли на земле, немец — выше на три-четыре ступеньки. Широко расставив но-

ги, заложив за спину руки и чуть согнувшись, он смотрел на нас сверху недобрыми глазами.

— А ты? — накинулся он на старшего лейтенанта. — Сними шинель!

Тихо, неторопливо, — пока тот, путаясь в крючках, расстегивал и снимал шинель, — немец спускался с крыльца на землю. Вдруг, отбросив пинком упавшую к его ногам шинель, он подошел к старшему лейтенанту вплотную, приподнял край гимнастерки и начал выдергивать у него из-под брюк нижнюю рубаху. Она была непомерно длинная, — на немецкий манер...

— За мной! — сказал переводчик. — Нет, нет, так и иди, не заправляйся...

Белая рубаха, выпущенная из-под гимнастерки, свисала ниже колен. Подхватив подол рукой, старший лейтенант пошел вслед за переводчиком.

— Оба за мной! — крикнул немец, увидев, что я стою.

На лужайке за домом было собрано человек сорок пленных. Три девушки — две медицинских сестры и повариха из нашей дивизии — полулежали на траве, прижавшись одна к другой, — они глядели испуганными глазами. Раненый в распоротой, коричневой от крови гимнастерке и забинтованной спиной сидел, привалившись плечом к дереву, и стучал зубами. Один пленный насобирал в карманах табачной пыли и, скрутив цыгарку, просил у немца-часового прикурить, — тот не отзывался. Другой пленный просил водицы, — часовой, понимавший, как видно, по-русски, усмехнулся и не ответил. Третий пленный, потерявший шинель и где-то подцепивший добротное, синего драпа пальто, выпытывал у соседа: «Как ты думаешь, что будет с нами?». Он спросил и меня, когда я при-

лег на траву рядом, — я пожал плечами и сказал только:

— Вот пальто ты напялил зря. Уж если без шинели, так лучше-бы холод перетерпеть.

Переводчик склонился над раненым:

— Ты хорошо помнишь, что там был склад бутылок с горючей смесью? Бауцен, плац Хорста Весселя? Ты что, часовым стоял при складе? Когда ваши из города уходили, не вывезли склад, — там остался?

— Остался... — проговорил с трудом раненый, дрожа всем телом и стуча зубами.

— Ну, смотри, — сказал переводчик. — Я послал искать твой склад. Если наврал, потеряешь голову.

Бутылки с горючей смесью? Они предназначались для уничтожения танков. Но зачем они понадобились полевой жандармерии? Горючая смесь обладает страшной силой: осенью 1941 года, под Москвой, один мой товарищ замахнулся, чтобы бросить бутылку на немецкий танк, но шальная пуля разбила стекло и жидкость облила товарища, — он сгорел, он весь был мгновенно охвачен пламенем. Немцы сжигали трупы, — я видел пепел Майданека, я видел остатки костров в Можайске, когда мы прогнали оттуда врага. Незачем гадать: что будет. Может, через час, может, через минуту нас начнут расстреливать, а потом зальют горючей смесью. Надежды на спасение не оставалось: думать следовало не о том... Не о том, чтобы вывернуться, остаться в живых, — смерть была так близка, что уже неотвратима. Оставить земное, отдаться Богу... Не к чему больше смотреть, что вокруг творится, — отрешиться от действия, уйти в себя и, несмотря ни на что, привести в тишину все чувства... Думать с глубоким сердечным вниманием об одном: «Не отверзи меня от лица Твоего...»

— Aufstehen! — закричали часовые. Их было несколько, — они окружали пленных. Командовал ими только что прибежавший откуда-то маленький юркий фельдфебель.

Переводчик, — я стоял неподалеку, — крикнул фельдфебелю:

— Вот капитан подаст команду по-русски. Построить и выравнять. Чтобы был порядок.

— Я не умею командовать, — сказал я. — Я военный корреспондент, мне этого не случалось делать.

Фельдфебель расставил нас по-трое и повел за ворота усадьбы. Прямо от ворот асфальтовая дорога к деревне. По ней не пошли, свернули на проселок. Проселок вел к лесу, к одинокому домику, видневшемуся вдалеке. Километр, отделявший домик от усадьбы, был последним куском земли, — все, что оставалось нам пройти в нашей жизни. Я шел в первом ряду — ближе всех к черте, за которой жизнь кончалась.

— Korrespondent? — спросил на ходу фельдфебель, шагая сбоку колонны. — Kriegsberichter?

— Schriftsteller, — ответил я. — Писатель.

Он остановился:

— Стоп!

Мы не успели еще отойти далеко от усадьбы. Ворота были в нескольких саженях. Фельдфебель побежал обратно.

Ждали его минут пят.

— Mit mir! — сказал он мне, вернувшись. — Со мною!

Домик, к которому иас привели, жил мирной жизнью. На огороде копал гряды высокий сухой старик в широкополой соломенной шляпе. Он постоял

опершись на лопату, посмотрел на нас и снова согнул спину. Придорожная канава перед домиком была полна воды, — в ней копошились утки. Курица, схватив что-то, выскочила из ворот, другая за ней вдогонку.

На дворе, залитом полуденным солнцем, стояли немецкие солдаты. Они расступились, — фельдфебель подвел нас к сараю. Он подошел ко мне, взял за рукав и вывел из строя. Потом так же — раненого, медицинских сестер и повариху. Девушек тотчас схватили солдаты и поволокли к стене. В память врезался один из них: рослый, красивый, одетый щегольски. Большие и выпуклые глаза его отливали сталью, в правой руке он держал пистолет. Левой рукой хватал девушку, подводил к сараю и ставил вплотную — лицом к стене. Одну, другую, третью... У девушек подкашивались, подгибались в коленах ноги...

Тем временем фельдфебель отворил сарай и загнал пленных, примкнул замком. Возле сарая была дровяная клеть, — туда втолкнули меня и раненого. Я опустился на колени, достал иконку «Успения Пресвятой Богородицы» и металлический образок Ченстоховской Божьей Матери, который подарил мне пан Янек, знакомый поляк в Ченстохове, и, ожидая — вот-вот прогремят на дворе три выстрела, — начал молиться. «Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе Владычице...» — громко читал я молитву, которою спасся в бою, на «ничьей земле», под двумя огнями. Раненый сидел на корточках у поленницы и молча, с удивлением, смотрел на меня. Но я, не стесняясь, во весь голос произносил древние, веками освященные слова: «...Твои бо есмы рабы да не постыдимся». Всем существом, каждой кровинкой, которая билась в сердце, в тонкой жилочке, пульсировавшей на виске, благодарил я Царицу Небесную за все, что было дано мне на этом свете, за радости и печали, — ибо разве в печали нет радости? — бла-

годарил и просил Ее, думая почему-то о маме, принять меня ласково на том свете, обнять и утешить, по-матерински прижать к груди. Душа была в этой молитве напряжена настолько, что организм мой не выдержал напряжения... — я повалился в обморок.

...Очнулся от яркого света. В лицо било солнце. Дверь клети была нараспашку. Надо мной стоял фельдфебель: На полу возле меня лежала эмалевая иконка «Успения». Металлический образок был в руках у фельдфебеля.

— Паментка с Ченстохова, — прочитал фельдфебель надпись, вырезанную на обороте образка. — Цо, был пан в Ченстохове? — спросил он по-польски, заметив, что я очнулся.

На дворе, на солнышке, все так же стояли солдаты. Фельдфебель подошел к ним и показал образок.

— Die schwarze Madonna... — сказал он. — Черная мадонна...

Так немцы называли икону Ченстоховского монастыря.

Красивый, высокий солдат, который ставил девушек к стенке, взял образок из рук фельдфебеля и размахнулся, будто бросить за плетень, в крапиву, но тотчас же отдал мне, смеясь и тыкая в лик Божьей Матери пальцем:

— Ich verstehe nicht...

Где же девушки? Убил их вот этот, красивый? Выстрелов в обмороке я мог не слышать. Посмотрел на стену — крови не видать. Но вот фельдфебель выводит их из другой клети. Они, слава Богу, живы! То была немецкая забава: пытка страхом.

Девушек, раненого и меня отвели в дом, в пустую, без всякой мебели, комнату, откуда виднелся кусочек леса, дорога к усадьбе. Прошло минут десять,

и я услышал выстрелы. Они доносились из леса, одиночные и сухие. По сухости звука определил: стреляют не из винтовок — из пистолетов, прикладываясь дулом почти вплотную к затылку. Началось...

— В уборную, — сказал я часовому.

Думал — уборная во дворе. Поведут, увижу, что там делается. Но она оказалась в доме. Только маленькое окошечко выходило во двор. Двор был пуст, сарай замкнут, а возле сарая — куча солдатской одежды. Шинели, ватные телогрейки, ботинки, сапоги, онучи...

Выстрелы стихли. Немного погодя опять послышались. Такие же мерные, с интервалами.

— В уборную, — повторил я снова.

Куча одежды выросла. На плетне, на колышке, отдельно висело синее пальто, которое я видел на одном пленном. Быть может, тем выстрелом, что я услышал, вернувшись в комнату, был убит как раз этот беловолосый солдат. Мне вспомнился его приятный окающий волжский говорок: «Что будет нам, по-вашему, товарищ капитан?» Теперь ему не надо спрашивать — он знает то, чего я еще не знаю... Что будет? В кармане лежало Евангелие — то самое, которое год назад, когда так неожиданно затруднилась жизнь моя, рассматривалось в политическом отделе Шестой Воздушной, как криминальная книга, свидетельство моего «преступления». Достав Евангелие, я с этим вопросом что будет? раскрыл его и прочитал первую попавшуюся на глаза строку:

«... И ОН ПОЛОЖИЛ НА МЕНЯ ДЕСНИЦУ СВОЮ И СКАЗАЛ МНЕ: НЕ БОЙСЯ».

Открылся Апокалипсис, глава первая, стих семнадцатый. Найдутся, конечно, маловеры, рационалисты, которые скажут: случайность! Переубеждать их

нет охоты: я не любитель споров, я только рассказываю, что было. Книга, которую я держал в руках, была как живая: Бог, — может-быть, Ангел-Хранитель, — через нее отвечал на мои вопросы...

Кончался день. Стрельба в лесу продолжалась. Я считал выстрелы: десять выстрелов и — перерыв на полчаса. Пленных брали и уводили в лес партиями. Прошло, наверное, партий восемь — восемьдесят человек! В комнату вдруг прибежали двое. Нервные, дергающиеся лица и белые, пустые глаза. Украдкой я бросил взгляд им на ноги, — блестели только что начищенные сапоги. На брюках у одного было замытое, все же видневшееся, пятно крови.

— Komm! — крикнули они девушкам.

Девушки, сбившись кучкой в углу, дремали. Солдаты повели их на двор. Минуту спустя я услышал девичий плач и крики. Через пять минут: раз — два — три... Три выстрела!

Никого не оставалось больше: я и раненый. Тяжкий стук сапог по лестнице, в коридоре, у нашей комнаты. Дверь открылась и снова:

— Komm!

Звали раненого. Часовой что-то спросил у пришедшего. Должно быть, про меня. Тот ответил:

— Er bleibt hier — он останется здесь.

Раненого увели. Послышался последний, одинокий выстрел.

На дороге, перед окном, у которого я сидел, я увидел маленького фельдфебеля. Он смотрел на меня и улыбался. Улыбка у него была веселая, в глазах светилось добродушие. Будто в его жизни и не было этого кровавого дня! Часовой вывел меня на двор, — там сортировали одежду, — и фельдфебель, идя мне навстречу, сказал:

— Пане капитане, не надо бояться! Если пана расстреливать, то пошли бы вот этой тропинкой — в лес. Но я поведу пана в другую сторону обратно туда, в усадьбу.

По дороге он бойко, словоохотливо заговорил:

— Так значит, пан — писатель? Я тоже — поэт. Написал поэму, — две вот таких тетрадки. Жалко, по-немецки пан не понимает. А может, если медленно читать, то понятно будет?

Фельдфебель приостановился. Брови сдвинулись к переносице, глубокая морщина легла на лбу. Припомнив начало поэмы, он строго, несколько торжественно даже, прочитал какую-то тяжеловесную строфу.

— Не понимаешь? Жалко. Видишь-ли, — заговорил он совсем по-приятельски, переходя на «ты», — у меня есть жена. Недалеко отсюда, в Судетах, — я сам из этих краев, у меня и фамилия чешская — Плячек. Конечно, я с тридцать девятого года в германской армии, а ей, как жене ветерана, в хозяйство пленного француза дали. Так она с ним спуталась, с французом! Получил я письмо от соседей. Пусть, жить я с ней больше не буду. Напишу вот поэму, — тут будет все, и как я на фронтах воевал и не знал, какая она есть курва, — приеду и прочитаю ей... Пусть знает!

У ворот усадьбы стояла авто-колонна.

— Ты поедешь с нами, — пояснил Плячек. — О тебе я имел разговор с нашим гауптманом. Привезли, дескать, русского писателя, кригсберихтера. Он смеется: «Птица редкая... » В том-то и дело, говорю, может, вам интересно его допросить и представить выше. Потом, часовой рассказывал мне, как ты поругал солдата, зачем он это синее пальто надел, — и это я передал гауптману. «Ладно, ответил гауптман, оставь его покуда, приведешь завтра ко мне!». Так что ты до зав-

трашнего дня не беспокойся. Гауптман поговорит с тобою, а там уж, конечно, его решение...

Полевая жандармерия переезжала. Фельдфебель Плячек оставался на старом месте, — думаю, чтобы сжигать убитых пленных. Он был палач, этот «кляйнфельд», как его в шутку за маленький рост звали солдаты. Но в страшном смешении уживались в нем обыкновенные человеческие чувства: вот изменила жена... вот пришло письмо из родной деревни... вот надо позаботиться о человеке, «оставленном покуда»...

Не знаю, какого характера был другой фельдфебель, которому сдал меня до утра Плячек. Но он обращался со мной по-разбойничьи. В другой деревне, куда приехали ночью, он подвел меня к свинарнику и толчком в спину впихнул — в темноту и вонючую жижу. Когда я сказал ему: голоден, не ел двое суток (утром 22 апреля — кусок гусятины!), он остановился и долго что-то кричал на меня по-немецки, — хлопнул дверью, громыхнул замком.

— Vous avez faim? — услышал я вдруг в темноте чей-то голос.

— Oui.

— Attendez...

Оказалось: товарищ по плену — француз. Он был родом из-под Тулузы. Пленный с 1940 года. Пять лет батрачил в немецкой деревне. Хозяйка, испугавшись приближающегося фронта, уехала в горы. Полевая жандармерия нашла его одного в пустом доме. В свинарник его бросили тоже до завтра, до выяснения. У него имелась стеклянная банка с мясными консервами, — он подкрепил меня. В углу свинарника мы нашли место посуше, насобирали немного соломы. Легли, накрылись моей шинелью и обнялись по-братски, грея друг друга своим теплом.

Наутро, когда отворилась дверь, я увидел Плячека. Может быть, кто осудит меня: я ему обрадовался. Он повел меня опять на какую-то ферму, к лесу, но по дороге вытащил из кармана краюшку хлеба:

— Не надо, чтобы кто-нибудь видел, что я даю тебе хлеб, — сказал он. — Это от моей пайки. У нас приказ — не кормить пленного, пока не решится его судьба. Ни хлеба, ни воды, ни спички, чтобы прикурить...

В обед, однако, приехал на велосипеде солдат и сказал, что меня велено отвести на кухню. Там получали обед солдаты. Тот высокий, щеголеватый немец, который навсегда врезался в мою память, как палач, пытающий жертву страхом, сидел возле кухни и шил на швейной машине, — он оказался портным...

— Noch nicht erschossen?! — крикнул он весело, завидев меня. — Еще не застрелили?!

Повар налил мне тарелку супу. Для меня она представляла нечто гораздо большее, нежели просто тарелка супу. Это был знак, что в ближайшую минуту, а, может быть, час, даже два часа, мне не угрожает пуля.

Боялся я теперь другого: стечения обстоятельств! После обеда я лежал на траве на ферме. Плячек и часовой, побритые, умытые, причесанные, сидели рядом и любезничали с двумя молоденькими, смешливыми, по-весеннему нарядными хозяйскими дочками. На ферму налетел внезапно вихрь грохота, треска, — отряд мотоциклистов-пулеметчиков. Вкатила длинная легковая машина — открытый фаэтон. Из фаэтона выскочил полковник — маленький, сухонький, с крючковатым носом, в пенснэ.

— Erschiessen! — крикнул он, увидев меня. — Застрелить!

Фельдфебель Плячек вытянулся перед ним, но возразил решительно, ссылаясь на приказ своего начальства.

— Какой там приказ! — закричал на него полковник. — Я вам приказываю! Я здесь командую, я веду бой. В трех километрах — американцы. Пленного не оставлять. Erschiessen!

Полковник помчался на сухих и быстрых, как у оленя, ногах — командовать, определять позицию для обороны. Плячек, схватив меня за руку, велел бегом бежать в деревню. Колонна машин полевой жандармерии стояла уже на выезде. Плячек усадил меня в кабинку грузовика со словами:

— Не бойся. Пока наш гауптман с тобой не поговорил, — не бойся. Утром сегодня ему было некогда. Теперь уж на новом месте...

На новое место приехали поздно вечером. На ночь Плячек оставил меня при себе. Он лег с часовым на кровать, а мне притащил шез-лонг. Наш сон был недолог: в два часа ночи нежданная боевая тревога! Шоферы сели за рули, остальные солдаты, и с ними Плячек, побежали занимать круговую оборону. Говорили, что на окраине деревни слышны танки. Неизвестно — американские или советские. В кабинке, оставленный шоферу под охрану, я с тревогой думал о себе. Стечением обстоятельств я обрекался на гибель: немцы, ведя бой, прорываясь из окружения, не оставили бы меня, но и не взяли бы с собою, — гораздо проще пристрелить и отвязаться от обузы. Как всегда, а в эти тяжкие дни — непрестанно, я обращался с мольбою к Матери всех людей, к нашей Владычице. Держа перед собой иконку, я молился. Начинало брезжить. Из-за угла дома появились солдаты. Отбой! Танки прошли куда-то в другую сторону, мимо деревни. Солдаты тащили на плечах ручные пулеметы, длинные «фаустпатроны» — последнюю противотанковую новинку.

Плячек, мокрый от росы, усталый, но довольный, что боя не было, сообщил мне новость необыкновенной важности:

— Только что видел гауптмана. Спросил про тебя. Он сказал, что докладывал о тебе в штабе армии. Велели доставить туда. Повезут тебя к большому офицеру. Конвоиром я назначил хорошего парня, — тоже говорит по-польски. А теперь спи. Он придет и разбудит тебя.

Что должен был я сказать на прощание Плячеку? Он был палач, убийца моих товарищей... Но вместе с тем... не знаю, что «вместе с тем»...

— Пан — добрый человек, — сказал я.

— Нет, — покачал он головой, и тихо, в задумчивости, добавил: — Я не добрый человек... Не добрый...

В игрушечном «оппеле» привезли меня — при конверте и пакете — в штаб 4-й танковой армии. «Большого офицера», который любопытствовал поговорить с русским писателем, не было: может быть, он уехал в командировку. Несколько дней меня держали в караульном помещении без допроса, — я томился неизвестностью судьбы. Наконец, вызвали к капитану Хюпнеру. Это был остзейский немец, наверное, лет семидесяти.

— Вы — писатель? спросил он, глядя на меня из-под очков. — Наши журналисты просят, чтобы я вас отправил к ним. Поедете в нашу роту пропаганды.

Опять дорога... В коляске мотоциклета — до чешского города Теплиц. Там пересадили в автобус, — повезли берегом Эльбы, прекрасной речной долиной. В автобусе ехал фоторепортер, весь увешанный «лейками», и с ним молодая, крепкотелая жена, которую он встретил в Теплице. Он всю дорогу целовался с женой и хвастался передо мною своими фото-аппаратами. Ко мне возвращалось спокойствие: из фотоаппа-

ратов не стреляют... Ночью, уже в Кригсберихтеркомпани, роте военных корреспондентов, ложась спать, я открыл наугад Евангелие. Открылась глава первая из Второго послания к Коринфянам:

«... мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет и на Которого надеемся, что и еще избавит».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПЕРЕД ВОЙНОЙ

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

В январе 1939 года по заданию одной комсомольской газеты, называвшейся, кажется, «Молодой коммунар», поехал я в Ясную Поляну, ныне официально именуемую: «Музей-усадьба Л. Н. Толстого». Из Козловой Засеки — три километра — пошел пешком. День был мягкий, мглистый. По сторонам дороги стояли, совсем свесив снежные ветви, деревья. Потом лес кончился и открылись холмистые поля, покрытые белым и мягким — точно пропитанным теплом светом — снегом. Было необыкновенно тихо, только редкая птица, какая то синичка одинокая, порхала меж деревьев, осыпая снег. На душе было тоже мглисто — смутно-весело и нежно, и как-бы в музыкальном ящичке, где-то внутри прозвенела волшебная, чарующая стихотворная строка:

«... Тишина, ты лучшее из всего, что я слышал».

По инерции, однако, вспомнилось, что советская критика клеймила эту пастернаковскую строку, как «аполитичную», «обывательскую». Журнал «Литературный критик» опубликовал статью под заглавием «Частная жизнь», автор которой доказывал, вернее — доносил, что Б. Пастернак — это просто-напросто «дезертир с идеологического фронта».

Надо сказать, что в то время, в конце тридцатых годов, «партия Ленина-Сталина» разворачивала новое, с размахом доселе невиданным, наступление на идеологическом фронте. Осенью 1938 года, на протяжении целого месяца «Правда» печатала «Краткий курс истории ВКП(б)». Никаких иных материалов: ни

статей, ни телеграфных корреспонденций. Целые полосы были отданы книге, которая появлялась, как комета, знаменующая перевороты в мире: прочие события утрачивали смысл, теряли всякое значение. По всей стране организовывались партийные курсы, семинары, теоретические конференции, — для изучения «Краткого курса истории ВКП(б)». Тем не менее, никакого переворота в умах сталинский труд не вызвал: народ инстинктивно — с глухим молчаливым упорством — держался за свои, далекие от марксизма-ленинизма, веками выработанные понятия о жизни. Вместо старых жупелов: вредительства, саботажа, в партийной пропаганде появились новые: аполитичность, обывательщина. На борьбу против аполитичности мобилизовывались все силы — точно на борьбу против чумы или холеры. Но идеологические барьеры установить куда труднее, нежели заставы от чумы. Эпидемия распространялась. В разгар широкого похода партии на души и сознания, миллионы советских людей — каждый по своему — дезертировали с идеологического фронта.

Был у меня приятель. Шесть лет мы сидели бок-о-бок на школьной парте. Потом наши стежки-дорожки пошли в разные стороны. Он окончил «Сибстрин», Сибирский строительный институт, стал инженером, меня же угораздило попасть на газетно-журнальную псарню. В тридцать восьмом году, когда я работал в «Курортной газете» в Сочи, мы встретились с ним на Черноморском побережьи.

— Ерундовая твоя профессия! — сказал он мне. — Не жизнь, а сплошной митинг. То ли дело — техника! На митингах и собраниях и мне, ясно-понятно, бывать приходится, не притти нельзя. Но на трибуну лезут активисты, а я... сяду в угол да и посапываю. Ты же... хочешь-не хочешь, пиши статью, распинайся на газетной странице, стучи кулаком в грудь, клянись

в верности «мудрому» и «любимому». Признайся, сколько раз на день приходится тебе писать: «Слава великому Сталину!» Подсчитать не пробовал?

— А что же я теперь поделаю? — ответил я в сердцах. — Не переучиваться же мне на инженера... поздно! Да и какой из меня инженер!

Два месяца спустя, осенью, в те самые дни, когда человечество выросло на голову, прочитав «Краткий курс истории ВКП(б)», вернулся я в Москву. Пошел в Сивцев Вражек, к Михаилу Васильевичу Нестерову, ныне покойному. В шутливо-грустном тоне передал ему разговор с другом детства. Михаил Васильевич кинул острый — и к 80-ти годам не померкший — взгляд из-под пенснэ:

— А отчего-бы вам, в самом деле, не бросить газету? Найдите технику в литературе. Музейщиком не хотите стать? Ах, господин хороший... будь я на вашем месте, поехал-бы в какую-нибудь Ясную Поляну да и сидел... посапывал. Да-с, в Ясную-с! Когда-то ведь и я там был и мед там пил!.. — и пошел тут стремительный, обрывающийся — ударами кисти — рассказ о лете 1909 года, когда меня еще и на свете не было, а М. В. Нестеров писал Толстого: в голубой блузе на берегу яснополянского пруда, бородатым седым колдуном, не то выросшим, как мшистый пень, из земли, не то вросшим в землю.

Никому не говоря про тайный — «дезертирский» — замысел, я выпросил в редакции командировку в Ясную Поляну, — отправился на разведку. Оказалось, что Ясная чудо как хороша! На взгорье — деревня, вся в синем дыму, а с краю, направо, белые каменные ворота, известные по фотографиям во всех концах земли. Тишина, тишина... Огромные, отягощенные снегом ели стояли стеной вдоль «пришпекта», описанного в «Войне и мире». Дорога шла в горку, в конце ее виднелся дом, пушистый от инея. Нет большего сча-

стья, — подумалось, — как отрешиться от всего, чем жил до сих пор: от тезисов, директив, установок, от систем и концепций, от этого трижды проклятого марксизма-ленинизма, который служит партии инструментом для опустошения душ, для окончательного — духовного — порабощения человека. Позабыть про марксистские законы, будто-бы научно объясняющие таинственный мировой ход вещей, и, позабыв, отрешившись, вслушаться в то, что есть единственно мудрого на свете — в тишину полей и лесов, в то, что неустанно и тайно свершается в недрах русской земли и в глубинах родного народа. Тишина, тишина, ты лучшее из всего, что я слышал!..

Покойная тишина, сковавшая леса и поляны, отстаивалась и в большом доме Толстых. Топились печи. В крохотной узкой комнатке, отгороженной от передней тесовой стенкой, пожилая женщина мешала клюкой догорающие головешки. Красным светом озарялось ее широкоскулое — простое и усталое — лицо. Она поднялась, отряхнула подол от соринок и пепла и негромко, с какой-то — мне непривычной — учтивостью спросила:

— Желаете осмотреть бытовой музей или сперва — литературный? Бытовой, так за мной пожалуйте. А литературный, я курсовода покличу.

«Какая приятная», — подумал я. — Не только встреча с ясными полянами, но и встречи с людьми — тоже простыми и ясными — здесь вносили успокоение в душевную мою сумятицу.

— Да, конечно, и бытовой, и литературный, — ответил я. — Только я, видите-ли, корреспондент, от газеты. Мне хотелось-бы повидать, кто тут у вас по научной части?

— Тогда, значит, к ученому секретарю... Леониду Федоровичу Нелюбову. Они как раз из Тулы вернувшись. Вот я платок накину да и провожу вас.

Кабинет ученого секретаря находился в маленьком деревянном флигеле, занесенном до окошек снегом, рядом с «бытовым музеем».

— Тут у нас кухня была, — пояснила женщина. — Потолок-от низкий, о притолоку голову не ушибите.

Ученый секретарь сидел за письменным столом и, самоотверженно борясь с зевотой, перебирал бумаги. Впрочем, только я переступил порог, зевоту как ветром сдунуло. По-военному подозрительно, он пощупал меня коротким взглядом. В лице его проступило железо. Отрекомендовавшись, я предъявил документы: командировочное предписание — на поездку в Ясную Поляну «по специальному заданию редакции», далее — корреспондентский билет, подтверждавший, что я действительно принадлежу к цеху журналистов, наконец, паспорт, удостоверявший мою личность, как таковую. Нелюбов внимательно, строка за строкой, иногда даже водя карандашом, прочитал документы. В особенности задержался на графе: «где выдан паспорт», и увидев, что паспорт — московский, то-есть как-бы привилегированный, подобрел и обмяк в лице. Поднялся, с шумом отодвинув кресло, и подал мне руку:

— Материала для газеты вы найдете у нас в большом количестве. Как по меморативно-бытовой и литературной, так и по хозяйственной линии. Мы пройдем сейчас с вами к директору музея. Он предоставит вам полные сведения о выполнении плана работы по музею-усадьбе.

Нелюбов никак не мог заподозрить во мне «дезертира». Между тем, он вызвал у меня подозрение: не таким я представлял «ученого секретаря». Недоумение мое тотчас рассеялось: он прошел в угол и из-за книжного шкапа снял с гвоздя свою шубу с пристегнутым изнутри мехом и пристегнутым же барашковым

воротником. То был остаток энкаведистской формы, которую он донашивал.

— О, вы человек военный! — воскликнул я.

— Имею звание — лейтенант государственной безопасности.

— Давно из органов?

— Не так давно. Отставлен на два года по болезни. У меня туберкулез. Врачи предписали жить в сельской местности.

Никакой научной работы в Ясной Поляне, разумеется, не велось. Правда, Москва — Толстовский музей и Наркомпрос — давно настаивала на переделке экспозиции Литературного музея. Но и это дело стояло на мертвой точке. Нелюбов жаловался на нехватку людей. Втайне у меня дрогнуло сердце, когда он сказал, что «штаты не заполнены». Недоставало двух экскурсоводов, старшего научного сотрудника.

— Как хорошо у вас здесь! — показал я широким жестом на синие снега, заиндевевшие деревья, крыши, покрытые белыми шапками..

— В чем дело... оставайтесь! — прищурился Нелюбов. — Вы сколько в месяц зарабатываете, если не секрет?

— Две тысячи — две с половиной... до трех.

— Наша смета скромнее: экскурсоводу положено 250 рублей, а старшему научному сотруднику — 300. Пойдете?

Голос его звучал насмешливо.

— А знаете... пошел-бы! — И чувствуя, что моему собеседнику понятны лишь реальные соображения, я добавил: — Не из идеализма, не из-за этих снегов, нет! У меня свой расчет: — я литератор, а тут все возможности, чтобы писать. Квартира, библиотека... Пожалуй, я смог-бы выгонять те же две с половиной тысячи.

— Более чем уверен — сможете! — поддержал Нелюбов.

— Но ведь не во мне дело, — начал я упрямиться. — Не могу же я самовольно оставить работу в редакции. Кто меня отпустит?

— А если написать официальное ходатайство... пустят? От имени дирекции Ясной Поляны — этого, пожалуй, маловато будет. А мы достанем ходатайство от Наркомпроса.

... Две недели спустя я был зачислен — в качестве старшего научного сотрудника — в штат музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

***

Директор музея Алексей Иванович Корзников имел лицо, похожее на коровье вымя. Нежно-розовое, в жирных складках, поросшее золотистым пушком... Хотя и невоенный, он носил брюки-галифе и суконную гимнастерку, перетянутую по брюху широким кожаным поясом. До войны, по неписанному уставу, так одевались райкомщики — ответственные работники районного аппарата. А. И. Корзников был председателем рыболовецкой промысловой кооперации в Архангельске. Но, как сказал поэт, «Цека играет человеком»: по какой-то партийной разверстке или мобилизации он прибыл в Тулу и очутился директором музея-усадьбы Льва Толстого.

Впрочем, он чувствовал себя вполне на своем месте. Музея, как научного учреждения, не существовало вовсе: был совхоз. Усадьбе принадлежали бывшие толстовские земли, леса — знаменитый Заказ, березовая Абрамцевская посадка, семь гектаров садов, наконец, парники, огороды. Все это составило подсобное приусадебное хозяйство. «Подсобным» оно называлось по форме: на деле же оно и было основным, поглощая без остатка труд не только музейного персонала, но и всей, прилегавшей к усадьбе, деревни.

Деревня Ясная Поляна — на дне нищеты. Как-то раз, перед вечером, отправился я на деревню, к старику Ивану Васильевичу Егорову, порасспросить его про «живого Толстого». Пустой двор, занесенный снегом. Не видать ни саней, ни упряжи: иметь коня колхознику не полагалось. Дверь из хлевушки открыта, вокруг нее наструг снега, — не запирается. Хлевушка пуста, нет в ней надобности. В тридцатом году свели коров на колхозный загон, а когда вышло разрешение иметь личную корову, купить ее было негде и не на что. Опускались сумерки. Молодуха собирала на стол: торопились поужинать засветло. Вечеря была нехитрая: поставила деревянную, с обломившимся краем, чашку, в которой плескалась водица с капустой, разложила кругом шесть или восемь ложек. Потом полезла на божницу и бережно достала буханку хлеба — уже початую, похожую на кирпич, не домашнего, а фабричного производства. Прежде, чем отрезать ломоть, смеряла ее — всю — лучинкой.

— Настька, кто хлеб трогал? — обернулась молодуха к печке, где в темном углу толкались, переругивались ребятишки.

— Мамынька, никто-никтошечки не трогал! — побожилась девочка, свесив голову с печки; остальные братишки-сестренки, как по команде, стихли и затаили дыхание. — Да ты померяй-ка лучше лучинкой-то...

Молодуха опять взялась за лучинку и обмеряла буханку вдоль поверху и по-низу. Не сразу я догадался, что это за лучинка. Дело же было простое. Иван Васильевич, как человек, лично знавший Толстого и интересный экскурсантам на погляд, работает — по особой привилегии — дворником при «бытовом музее», колет дрова, разметает дорожки. В музее дают «пайку» хлеба. Взрослые дети его работают в колхозе и не получают никакого пайка. На трудодень пришлось по 144 грамма зерновых, т.е. не только ржи, но

и овса, ячменя, проса. Выработать в год удается до 400 трудодней, не больше. Таким образом, колхозник, проработавши — без отдыха и срока — целый год в колхозе, получал 57 килограммов 600 граммов зерновых. Двухкилограммовая буханка, которую Ивану Васильевичу выдают на четыре дня, делится на всю семью. Голодные ребятишки, оставаясь дома одни, обгрызают буханку. Тогда Иван Васильевич придумал: мерять буханку лучинкой, а лучинку — прятать. Если хлеба убавится — бить старшую, Настьку, смертным боем. Для того, чтобы помнила и следила за маленькими. Но ребятишки — себе на уме: они научились подсматривать, куда прячут лучинку. Отрежут хлебушка, что ни на есть самый тонюсенький ломтик, и на столько-же обрежут и лучинку. Не придерешься. Молодуха повертела лучинку и так и сяк, и, вздохнув, принялась делить хлеб на порции.

— Вот ужо я не буду больше лучинку прятать, буду с собой таскать, — пригрозила она, на что Настька скороговоркой ответила:

— Ну, мамынька, никто-же ничегошечки не трогал!

Колхоз не кормит. Поставки государству, расходы на содержание сельской администрации, — такое бремя, какого не выдержит любая артель. Колхозники Ясной Поляны всеми правдами и неправдами добиваются путевки на работу в садах, полях, огородах, скотных дворах музея-усадьбы. Колхоз от этого еще больше захирел, но хозяйство А. И. Корзникова — расцвело. Ясно-полянские мужики никогда, разумеется, не видали такой безжалостной барщины. Они работают от зари до зари, временами и ночью — на молотьбе, переборке картошки, сортировке яблок. А получают что? 60-80 рублей на месяц (кило масла на тульском базаре летом 1939 года, т.е. до войны, стоило 120-150 рублей). Кусок черного хлеба — паек —

вот цепь, которая приковывает мужика к музейному хозяйству.

Хозяйство Корзникова, однако, тоже не имеет своего хлеба. Оно — на правах совхоза. Весь урожай, без остатка, подлежит сдаче государству. Мужики, работающие на подсобном хозяйстве, считаются, подобно персоналу музея, государственными служащими. В прямом и буквальном смысле слова, это — государственные крестьяне. Советское государство — крепостник. Забота хозяина о своих рабах выражается в том, что «государственный мужик», в отличие от колхозного, получает фунт хлеба на день.

Хлеб в Ясную Поляну привозят из... Тулы. Иногда с Косой Горы, где имеется пекарня при металлургическом заводе. Бывает обычно так. Кончился день. В сумерках возле «дома Волконского», перед конторой музея, собирается полуголодная, в серых лохмотьях, толпа. Ждут хлеба. Возчик опаздывает на час и два: то кони плохо идут, то задержали в пекарне. Наконец на плотине между прудов появляются сани, над которыми устроена — на обручах — кибитка. Она слегка дымится. По толпе прокатывается животный рев:

— Хле-ебушко! Те-еплый, ядрена вошь...

— Эй, табельщик! Пашка... Горшков! Где ты? Давай, выходи, милай...

— Везут! Везут!

На крылечко выходит Пашка — табельщик. В руках у него список, кто сегодня работал в музейном хозяйстве. Бригадиры ему уже сообщили, кто выполнил и кто не выполнил норму выработки. Последним уменьшается соответственно и хлебная выдача: не 500 граммов, а 400, даже 300. Но «государственный мужик» рад и этому: колхозный-то вовсе ничего не получает. Кусок теплого хлеба бережно прячут за пазуху и несут домой, в деревню.

«Научники» получают хлеб первыми. Если хотят,

даже вперед на два или четыре дня. Для них, по особому списку, пекарня отпускает определенное количество белого, так называемого «семидесятипроцентного» хлеба. Категория «научников» эластична. Тут не только ученый секретарь и персонал, непосредственно ему подчиненный, но и администрация: счетоводы, табельщики, бригадиры, профорг, комсорг, наконец, «комендант» музея. Верхушка эта пользуется привилегиями: кладовщик выдает овощи, доярка — молоко. Осенью 1939 года «научники» получили по центнеру — шесть пудов! — антоновских яблок. Цена баснословная: килограмм — 50 копеек. Милость эта была оказана только «научникам» — пять-шесть человек, без администрации. В приказе директора А. И. Корзникова указывалось: «... в целях поощрения ударной работы над экспозицией Литературного музея».

Кроме того, «научники», пользуясь тем, что дирекция Толстовских музеев находится в Москве, получали командировки в столицу. Поддерживая дружеские отношения с Корзниковым и Нелюбовым, можно было почти каждый месяц бывать в Москве. Из Москвы привозили масло, макароны и вермишель, мешечки с крупами. Но и тут возникали трудности. На вокзале в Туле, перед билетной кассой, стоял офицер НКВД с двумя-тремя милиционерами. Он проверял права на проезд в Москву: командировочные предписания, отпускные билеты, паспорта. Яснополянскую командировку энкаведист иногда находил «недостаточной», «неудовлетворительной» или чаще всего — «неправильно оформленной». Все зависело от его настроения. «Пусть из Москвы Толстовский музей пришлет вам персональный вызов, — говорил он. — А так я не вижу, что ваша поездка в Москву действительно необходима». И он с улыбкой отводил неудачника-командировочника от билетной кассы.

Мужики Ясной Поляны ненавидят музейную ад-

министрацию. «Верхушка» в свою очередь недолюбливает «научников» за их уже сверх-привилегированное положение. Как бы ни был скромен мой стол, как бы ни были скудны мои запасы, у меня кусок останавливался в горле, когда я вспоминал, что по соседству, в деревне, хлеб меряют лучинкой, народ пухнет, ребятишки мрут от голода.

Из Москвы пришла шелестящая — на нескольких листах рисовой бумаги — директива. Она имела штамп НКП, народного комиссариата просвещения РСФСР, и называлась так: «О развертывании межмузейного социалистического соревнования». Директива сообщала, что ход соревнования неудовлетворителен: «произведенная проверка показала, что соцобязательства не выполняются, а некоторые музеи не имеют даже соцдоговоров». В особой бумажке, приколотой к директиве, предписывалось: музею-усадьбе Л. Н. Толстого вступить в соревнование с музеем-усадьбой И. С. Тургенева.

Нелюбов два дня не выходил из кабинета и не разговаривал: все шуршал директивой, подчеркивал что-то красным, синим, зеленым карандашами, намечал какие-то тезисы: а, б, в... На третий день он скомкал свои «а-б-в» и бросил в корзину.

— Какие же мы примем обязательства? — сказал он. — Давай, Коряков, созывай народ. Посмотрим, у кого какие будут предложения.

Во флигелек, бывшую кухню, где помещалась научная часть, ввалился вдруг — облаком пара и снега — нежданный гость:

— Ермаков, директор Тургеневского музея.

И он не знал, в чем должно выражаться соревнование между двумя усадьбами. Прискакал из Орла —

посоветоваться. Пока отогревался, рассказывал о том, что его больше всего волновало: о похищенной рукописи Тургенева.

Ермакову было не до смеха, но мы покатывались от хохота. В самом деле, история была уморительная. В дело был замешан В. Д. Бонч-Бруевич, бывший секретарь Ленина и управляющий делами Совнаркома, а перед войной — директор Государственного Литературного музея. Музей был его детищем. Надо отдать справедливость, в короткий срок он проделал большую работу. В течение немногих лет он издал свыше 40 томов «Литературного Наследства». Накопил много материалов, относящихся к истории русской литературы и русской общественной мысли вообще. Только... делалось это какими-то откровенно-бандитскими методами. По всей стране шныряли «агенты Бонча». Достаточно было им пронюхать, что у какой-то старушки хранится «прабабушкин альбом», как обладательница должна была проститься с вещью: приходили, просили «поглядеть» и забирали, как предмет «государственной необходимости». Несчастный Ермаков стал жертвой самого, как он выразился, «обер-бандита».

— Нежданно-негаданно, приезжает ко мне в Орел Бонч, — повествовал Ермаков. — Встретил его, как дорогого гостя: «Владимир Дмитрич, такая честь!» Велел обед готовить. Вот, сидим — разговариваем. «Ну, чем вы похвастаетесь? — спрашивает Бонч. — Показывайте, какие у вас богатства. Тургеневских рукописей, наверное, целые сундуки?» — Какие там сундуки! — отвечаю. — Всего-навсего одна рукопись, берегу, как святыню. — «А ну, покажите...» Достал я ему рукопись. Тут случилось мне выйти: как на грех животом страдал. Возвращаюсь, в комнате ни души. — «Владимир Дмитрич! Владимир Дмитрич!» И — след простыл. Ни его, ни рукописи. Дней через пять по-

лучаю письмо. «Извините, говорит, пока вы отсутствовали, за мной машина подъехала, ожидать не было никакой возможности». О рукописи — молчок. Пишу ему: а как же рукопись? «Не беспокойтесь, — отвечает, — вышлю».

Ермаков ждал полтора года. Ездил в Москву — без результата. Бонч-Бруевич предложил взамен копию, напечатанную на машинке. Орловский директор поднял скандал. Московский его успокаивал: «Не хотите на машинке, велю сделать фото-копию... разве вам не все равно?» Ермаков подал в суд. Недавно процесс состоялся. Бонч-Бруевич превратил Ермакова, истца, в обвиняемого:

— Послушайте, гражданин Ермаков. Русская литература мне будет благодарна за то, что я спас рукопись Тургенева. Ведь вы же с ней хотели итти в уборную!..

Как в комедии: судья хватается за голову, хохот в публике.

— Как вам не стыдно, Владимир Дмитриевич! — возопил Ермаков. — Я только дал вам подержать рукопись, пока я схожу в уборную...

Как ни вопи, уж коль высмеян, потерял позиции. Несмотря на то, что на суде присутствовали крупные литературные эксперты, которые приняли сторону Ермакова, судья не пришел ни к какому решению. Быть может, потому, что не решился пойти против такой персоны, как бывший секретарь Ленина. Процесс был отложен. Рукопись оставалась по-прежнему у Бонча...

Наш хохот сперва разобидел орловца. Но потом он улыбнулся, вздохнув: «Вот бандит... это уж такой бандит!» Однако, его рассказ не на шутку взволновал моего приятеля, Сергея Ивановича Щеголева, с которым мы коротко сошлись, как только я поселился в Ясной Поляне.

Когда-то покойный А. В. Луначарский, имея в виду крайне низкие оклады жалования, сказал, что «в наших музеях работают либо энтузиасты, либо дураки». Щеголев был энтузиаст. Низенького роста, сухонький и остролицый старичек, — седая бородка клинышком, — он уже более 10 лет работал в Ясной Поляне. Толстого — боготворил. Наизусть знал всего «Хаджи-Мурата». На память цитировал целые страницы не только из художественных произведений, но даже из переписки Толстого. Помню, будучи в гостиной, я услышал, как он давал пояснения экскурсантам, находившимся в соседней комнате — кабинете писателя. Балконная дверь — из кабинета в сад — распахнулась, и он прочитал на память письмо Толстого к его тетушке, фрейлине Александре Андреевне Толстой, где описывается этот сад весенней ночью, полный соловьев... В чтение он вложил столько душевной силы, что и экскурсанты, и я — нечаянный свидетель сцены — были потрясены. Да и у самого Сергея Ивановича блеснули слезы на глазах... В «бытовом музее» Щеголев мог рассказать историю каждой вещи, в Заказе — целую повесть о каждом дубе... Он жил как-бы вне нашего времени: врос в чужой и давно отошедший быт, весь переместился в атмосферу прошлого Ясной Поляны.

— Вот так и наш музей растащат! — горестно взмахнул он, услышав историю похищенной в Орле рукописи. — Седло-то Льва Николаевича, где оно? Три года, как увезли в Москву, по сию пору не вернули. А портрет? Хотя-бы товарищ Корзников похлопотал насчет портрета...

Действительно, из большой залы взяли и увезли в Москву, по предписанию Наркомпроса, портрет Толстого работы Крамского. Будто на полтора-два месяца, на выставку Крамского в Третьяковской галлерее. Но выставку потом отправили в провинцию: в Сибирь, Среднюю Азию... Дело тянулось больше года. На

месте портрета работы Крамского висела неудачная копия, сделанная в свое время Татьяной Львовной.

Корзникову меньше всего было дела до «мемории». На нем лежали другие заботы: совхоз. Хлебосдача, яблоко-поставки, мясозаготовки, задания по яйце-сбору, пуху и перу, даже щетине... — у директора музея голова шла кругом. Из щекинского райкома партии наезжали агитаторы-пропагандисты: налаживать стахановское движение на полях, в садах и коровниках... Корзников предложил орловскому директору соревноваться под лозунгом «Добьемся стахановского урожая!». Оказалось, что Тургеневский музей не имел столь мощной усадьбы.

Вместе со Щеголевым мы наметили пункты касательно консервации ценностей музея. Но уперлись в деньги: в смете музея наиболее тощими были те графы, которые относились к чисто музейной работе. Всю смету съедала одна охотничья сумка Толстого, которую надо было срочно спасать от каких-то заведшихся в ней — невидимых простым глазом — вредителей. Наметили также планы, пусть скромной, но нужной, научно-литературной работы: написать историю Ясной Поляны в пореволюционную эпоху, собрать то, что в народе рассказывалось про Толстого. Но и осуществлению этих планов противостояли трудности. Ибо в музее работали не одни энтузиасты, но также и дураки...

В январе 1939 года, как раз в тот момент, когда я поступал в Ясную Поляну, происходила смена руководства в Москве, в Главной дирекции Толстовских музеев. На место проф. М. Цявловского, по партийному назначению, — вроде архангельского рыболова Корзникова, — прибыл человек, который никогда и не помышлял, что ему придется работать в литературо- или музееведеньи. Новый директор был огромен ростом, имел кудлатую черную голову, басисто отдавал

команды. На пиджаке он носил орден Красного знамени, полученный на гражданской войне. То был редкостный, ныне почти исчезнувший тип «героя октябрьских сражений».

— Ну, чем вы тут занимаетесь? — спросил он, приехав первый раз в Ясную.

Нелюбов извлек планы:

— Вот... между прочим... история Ясной Поляны в пореволюционную эпоху.

— Отставить! — скомандовал директор-краснознаменец. — Кого же вы включите, интересуюсь я знать, в свою историю? Уж не Александру ли Львовну Толстую?

Нелюбов призадумался:

— Действительно... Не доперли мы с тобой, Коряков! Писать историю — Александру Львовну не обойти. Потому что после революции, первые десять лет, ведь это она была здесь директором.

— Не укажи вам, вот бы и сделали политическую ошибку, — прогудел директор. — А потом кому расхлебывать? Мне!

Об Александре Львовне Толстой в Ясной Поляне запрещены какие-либо упоминания. В народе о ней сохранилась хорошая память. Марья Петровна, первая моя яснополянская встреча, Иван Васильевич и другие крестьяне и крестьянки, работающие при музее, рассказывали мне об ее близости к народу, неистощимой энергии, мужестве. Белокаменная школа, больница, которая могла бы украсить любой город, — выстроены стараниями Александры Львовны. Наиболее значительным событием пореволюционной эпохи для всех жителей Ясной Поляны — и в мои дни — оставалось празднование 100-летнего юбилея в 1928 году; в связи с ним неизменно вспоминали Александру Львовну. Однако, в разговорах с посторонними ее упо-

минать запрещено. Нет ни одной экскурсии, которая бы не задала вопроса:

— А где проживают дети и прочие родственники Толстого?

Инструкция предписывает экскурсоводу: подробно рассказать о Сергее Львовиче, который проживает в Москве, принимает участие в редакции юбилейного собрания сочинений Толстого и представлен к ордену Трудового Красного Знамени (позднее — награжден; не так давно С. Л. скончался); далее — кратко упомянуть о том, что Михаил Львович, Лев Львович и Татьяна Львовна находятся за границей, подчеркивая, что первые двое выехали до революции 1917 года, а третья, хотя и годом позже, но только потому, что в Риме, опять-таки до революции, вышла замуж ее дочь, «Татьяна Татьяновна», всем известная по очаровательным фотографиям.

«Насчет Александры Львовны, товарищи, нам ничего неизвестно», — должен был отвечать экскурсовод, если-бы посетители настаивали на этом пункте. Только раз... Летом 1939 года приехал в Ясную Поляну нарком боеприпасов Ванников. При нем — большая свита. Вызвали меня — провести их по музею. Директор-краснознаменец присутствовал тут-же. Когда Ванников задал вопрос о детях Толстого, я по трафарету ответил:

— Насчет Александры Львовны...

— Чего там, ничего неизвестно! — перебил меня директор. — Перед вами не кто-нибудь — народный комиссар, можете сказать полную правду. Все известно.

И, выступая вперед, он пояснил:

— Александра Львовна — фашистка, товарищи. В двадцать девятом году поехала в Японию — читать лекции о Толстом. Не случайно — в Японию! Наше правительство ей доверилось: как-никак дочь Толсто-

го, который есть, как указывает, товарищ Ленин, зеркало нашей революции. А где она? Не вернулась из-за границы. Книгу против колхозов выпустила. Конечно, я этой книги не читал, но, по слухам, называется — «Не могу молчать». Видите-ли, отцу подражать вздумала. Вот оно какое — оказалось — зеркало!

Жизнь моя в Ясной Поляне, казавшаяся такой привлекательной в самом начале, была вконец испорчена этим — поистине музейным! — дураком, который только и знал твердить о «зеркале революции». В центре нашей работы стояла экспозиция Литературного музея. И вот, директор-краснознаменец прежде всего потребовал, чтобы первый зал из пяти был целиком отведен теме: «Ленин о Толстом». В любой час и в любом месте у директора вертелась в руках или торчала из кармана брошюрка, где были собраны статьи Ленина о Толстом. Однажды он привез из Москвы кипу таких брошюрок и, вызывая в кабинет всех служащих музея — не только «научников», но и счетоводов, табельщиков, уборщиц, истопников — дарил каждому брошюрку с личной надписью.

— Для того, чтобы оправдать звание сотрудника Толстовского музея, — наставлял он, — вы должны взять за правило — читать эту книгу каждый день. Вот как я: вынес самому себе постановление — каждое утро, как минимум, два часа читать этот бессмертный труд товарища Ленина.

А в «бессмертном труде» было 36 страничек...

Это — несчастье для советских литературоведов, что в сочинениях Ленина попадаются статьи, посвященные Толстому или, скажем, Герцену. Это не статьи, а цепи. Тяжелые цепи, которые сковывают исследователей. Проблема Толстого, — считает официальная точка зрения, — решена 36-страничной брошюркой Ленина. Исследователям ничего не остается, как подбирать — из 100 томов Толстого! — цитаты, которые-

бы иллюстрировали и подкрепляли ленинские 36 страничек. Именно по такому принципу нам и было предписано построить экспозицию Литературного музея. В первой зале — «Ленин о Толстом» —воздвигли бюст Ленина с полутораршинной глиняной головой, выставили брошюрки, фото-копии ленинских рукописей. Но этим дело не кончилось: каждая из следующих зал имела свою «идею», выраженную опять-таки цитатой из Ленина, помещенной на видном месте на стене. Жизнь и творчество Толстого показывались не сами по себе, как таковые, но подгонялись под ленинские цитаты.

Была поставлена и другая задача: отобразить «Краткий курс истории ВКП(б)» в экспозиции Литературного музея. Как? Известно — цитатами. Вот 60-е годы, Толстой пишет «Войну и мир», и тут же — цитатка о 60-х гг. из сталинского учебника. Далее 70 гг., 80-е, 90-е, 1905 год...

В Туле созывалось областное «совещание интеллигенции» по вопросу изучения «Краткого курса истории ВКП(б)». Делегатом от Ясной Поляны послали меня. На совещании выступали учителя, врачи, инженеры. Один пожилой врач — пузатенький, чистенький, благополучный — сверкал лысиной с трибуны:

— «Краткий курс истории ВКП(б)» — это светоч нашей жизни. Великий Сталин дал нам его не для того, чтобы мы прочитали его и положили на полку. Нет, товарищи, мы должны им руководствоваться во всем, во всей нашей повседневной жизни. Скажу про себя: «Краткий курс истории ВКП(б)» помогает мне даже в моей повседневной лечебной практике.

В зале — аплодисменты. Хлопал, конечно, и я в ладоши. Потом меня пригласили выступить: о «Кратком курсе», об экспозиции, о «зеркале революции» и еще о чем-то... Тоска, от которой — казалось мне — я избавлюсь в Ясной Поляне, опять пришла ко мне.

Увы, «техники» в литературе не было. Вероятно, не было ее и в самой технике. Дезертировать с идеологического фронта оказалось невозможным. Некуда. Даже если и на Колыму, то и там — в царстве смерти тоже, разумеется, развертывали «партийно-массовую», «политико-просветительную» работу. Единственным убежищем была... ложь!

***

Помните — в «Воскресении», как ни старались люди истребить траву, покрывая землю каменными одеждами, вешние всходы прорывались наружу — к солнцу; бывает, что и слабенькая зеленая травка разворачивает асфальт... Точно так же и вся жизнь в советской России. Как ни подмораживают ее, какие только каменные плиты ни наваливают, жизнь берет свое и нет-нет прорвутся ростки наружу. Как ни укрощают толстовскую стихию, как ни вгоняют ее в русло, огражденное тезисами, директивами, установками, она перехлестывает берега. Толстой живет в народе и у него с народом взаимоотношения свои — не по-Ленину...

В 1939 году московские фольклористы, ассистенты академика Ю. М. Соколова, — пишущий эти строки также имел честь быть его учеником, — обнаружили интереснейший факт: в народе бытуют «сказы о Толстом». Их записывали не только в тульско-орловско-рязанской округе, но и в более отдаленных концах страны. Народные легенды утверждают, что Толстой и не умер вовсе: ходит по Русской Земле, смотрит да примечает что-то, а что примечает — до поры до времени не говорит. Всяк, кто слушает, сам догадывается: Неправду, воцарившуюся на Руси...

Когда мы намечали в Ясной Поляне программу научной работы, я намеренно вставил пункт насчет записи всего того, что в народе рассказывается про Тол-

стого. Конечно, я понимал, какие подводные камни таятся на этом пути: времена «Не могу молчать» были временами либеральными, теперь такие слова нельзя было бросить в лицо Неправде. Но, хотя бы частично, работу выполнить было можно, и она была выполнена. Моя приятельница, фольклористка Сусанна Жислина, первая обнаружившая существование в народе «сказов о Толстом», приехала в Ясную Поляну. При помощи С. И. Щеголева, хорошо знавшего местное население, она провела раскопки в народной толще, в глубинных пластах. Не все можно было опубликовать, увы! Тем не менее, получилась большая великолепная книга. Юрий Матвеевич Соколов написал предисловие: то была его последняя работа. Весной 1941 года он умер в Киеве, на заседании Академии Наук, — в его портфеле лежали корректуры «Сказов о Толстом». Книга была издана в Туле. Она появилась за несколько дней до войны.

В течение почти двух лет, что я провел в Ясной Поляне, я, разумеется, изучал Толстого. Интересно, однако, было вот что: если Толстой учил меня пониманию народа, нашей русской национальной стихии, то народ, в свою очередь, учил меня пониманию Толстого. Когда я говорю «народ», то подразумеваю не одних только яснополянских мужиков, а также те тысячи экскурсантов, которые приезжали в Ясную со всех концов России. То были все трудовые люди: они жертвовали свой годовой отпуск на поездку «к Толстому». Проблема «Толстой и народ», «Толстой и Россия» находила перед моими глазами конкретное разрешение. И — не ленинское.

Близ музея-усадьбы, над рекой Воронкой, стоял Дом отдыха рабочих угольной промышленности. Меня приглашали туда читать — для каждой партии отдыхающих — общую ознакомительную лекцию: «Жизнь и творчество Толстого». Тезисы лекции бы-

ли просмотрены Нелюбовым, утверждены директором-краснознаменцем, в них содержалось положенное количество цитат из статей Ленина и «Краткого курса истории ВКП(б)». Однако, цитаты — цитатами, а Толстой-Толстым... Те из моих слушателей, которые вообще читали и любили (по странной и непонятной склонности русского человека) размышлять и задумываться — те слушали произносимые мною цитаты точно так, как они слушали их на бесчисленных партийных семинарах и теоретических конференциях, то-есть мимо ушей пропуская; читали же они Толстого и размышляли и задумывались над Толстым...

Как-то я задержался после лекции: директор Дома отдыха предложил мне поужинать. В просторной столовой сдвигали столы к стене: начинались танцы. Народ был шахтерский, но Подмосковный бассейн — молодой, и рабочие там, в особенности молодежь, только вчера из деревни. Вечеринка носила совсем деревенский характер: гармошка, казачек, кадриль. К моему столику подсел — бочком — один из отдыхающих. Пожилой уже: коротко стриженная голова, — этаким крепким серебряным ежиком, — очки в металлической оправе. В руках, изъеденных металлической пылью, он держал «Войну и мир». Пока я трудился над казацкими битками, он смотрел на кадриль: иногда похохатывал, кричал какой-нибудь паре, запутавшейся в сложных переходах танца, и нет-нет косил на меня, — дожидался, когда я кончу свое занятие. И верно, только я отодвинул тарелку, он заговорил:

— Наташу бы им сюда Ростову! Она бы показала, как кадриль-то пляшут!

— Она умела! — весело, в тон старику, отозвался я.

— Аккурат, про это самое читаю, — сказал он и открыл книгу на заложенной пальцем странице. —

«Где, как, когда...» — начал он было читать и, внезапно остановившись, посмотрел на меня внимательными серыми глазами из-под очков: — То-то и вопрос, «где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые pas de châle давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, не изучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка...»

Нет, поистине неистребима в русском человеке душа, и если душа подступает к горлу, то хоть какими угодно пеленай его тезисами, конспектами и директивами, он так или иначе свое возьмет — выскажется! Высказался и мой тульский мастеровой: по наружности такой простой — в плохоньком свитере бумажной вязки, а по душе — замысловатый, устроенный не без заковыки. Высказался же он в том духе, что старое русское барство было не так далеко от мужичья и вовсе не противоположно народу, как это изображают марксистско-ленинские учебники. Все эти Болконские, Ростовы, вопреки их наружному виду, были корнями соединены с крестьянством. Наиболее глубокие, наиболее привлекательные черты в них — от народа, от земли. Две русских традиции — военная и земледельческая — традиции, в которых и состоит, главным образом, национальное наше величие, были созданы русскими барами и русскими мужиками. Всех нас, людей, от верху до низу, породила одна земля. Верно, что народ строил Россию. Но и обратно: Россия создала народ. Медленно, в тысячелетнем ходе. Насколько возможно, надо воздерживаться от насилования органического процесса. Истерическая активность (не говорилось, но подразумевалось: большевизма) не убыстряет хода — напротив, ломает корни, обрывает связи и, в конечном счете, затормаживает

развитие нации, страны. Не знаю, до какой еще контрреволюции привели бы нас обоих размышления над лишенной, ведь, всякой политики сценкой, изображавшей, как пляшет Наташа Ростова в гостях у дядюшки. Мы оба во-время опомнились. Да и час был уже поздний. Пожали с удовольствием друг другу руки и разошлись.

Подобные разговоры редко оканчиваются столь благополучно. Вскоре мне довелось иметь другую беседу, приведшую к последствиям, которых, в сущности, и следовало ожидать. В Туле происходила областная учительская конференция. В воскресенье учителя приехали в Ясную Поляну на экскурсию. Литературный музей помещается в Доме Кузьминских — каменном двухэтажном флигеле, где некогда была знаменитая ясно-полянская школа. Дернул же меня чорт подготовить для учителей не обычную — трафаретную — лекцию, а с упором на педагогическую деятельность Толстого. Ведь знал же я, отлично знал, к чему приводит отступление от тезисов и конспектий!

— Будьте добры, товарищ, меня интересует один вопрос, — обратилась ко мне пожилая учительница в простенькой черной шляпке. — Педагогические идеи Толстого, имеют ли они какое-нибудь значение для нашего времени?

Подумав минуту, я ответил так, как это у меня лежало на душе:

— Несомненно! В чем состоит капитальная идея Толстого, которая выразилась не только в его педагогической деятельности, но и во всей его жизни и творчестве? Не в том ли, что положительно все, что бы человек ни делал важного и значительного, делается, осуществляется сперва в нем самом, посредством внутренних процессов, глубоко скрытых, часто неосознанных, происходящих без его ведома. Как-бы

действует в человеке некая внутренняя сила. Толстой определял ее евангельскими словами: «Царство Божие внутри вас». То же, что человек осуществляет не в силу внутренней необходимости, а под давлением внешних сил, скажем, по принуждению, все это преходяще, непрочно, лишено основания. Неслучайно, товарищи... — тут я, как паровоз на стрелке, перевел лекцию на прямую и накатанную колею, — неслучайно партия и товарищ Сталин ставят во главу угла идейное воспитание масс. Вы, учителя, являетесь проводниками влияния партии... — и, как говорится, пошла писать губерния!

По воскресным дням в музее толпится публика, а зала, в которой происходила беседа, была проходная. В сторонке, меж посторонних зевак и слушателей, стояла важная персона: Т. Чмутов, секретарь Тульского областного комитета партии. Не первый, а второй — как раз по пропаганде! Конечно, я знал его в лицо: по портретам, да и видел в президиуме на «совещании интеллигенции» в Туле. Но вот — не приметил! Тотчас же после лекции он подошел ко мне и с нарочитой вежливостью представился. Предложил папиросу, попросил показать ему «Клины» — столетние липовые аллеи, могилу Толстого. Пока ходили, он все расспрашивал: давно ли я в Ясной, откуда приехал, где учился, где работал раньше. Наконец, он припомнил: «Верно, верно... совсем недавно читал вашу статью в «Литературном критике». Прощаясь, он опять-таки преувеличенно-вежливо улыбнулся:

— Приятно было познакомиться.

— Как вы находите лекцию? — не удержался я.

— Квалифицированная лекция. Насыщена материалом. Конечно, не мешало бы подчеркнуть, что наряду с убеждением, мы отнюдь не отказываемся от принуждения. Наша партия сильна именно сочетанием

этих двух моментов. Но вообще... хорошая лекция. Видно, что материалом вы владеете.

Похвалы Чмутова порождали смутные недобрые предчувствия. Манеры советских сановников мне достаточно были известны: в большинстве случаев, они стараются не вызывать в широкой беспартийной массе личной, направленной против них, неприязни. Напротив, они стремятся — лично! — произвести выгодное, приятное впечатление. А между тем, втихую...

... Два дня спустя в Ясную Поляну нагрянула комиссия. Председателем была женщина: позабыл фамилию, но помню, что она заведывала Тульским ОблОНО, областным отделом народного образования. Комиссия изучала экспозицию Литературного музея, проверяла конспекты экскурсоводов, беседовала с Корзниковым и Нелюбовым при закрытых дверях. На общем собрании персонала была объявлена резолюция: слово «аполитичность» склонялось на все падежи. Комиссия отмечала: «Политзанятия с научным персоналом не проводятся, изучение «Краткого курса истории ВКП(б)» предоставлено самотеку. В результате, беседы с экскурсантами не имеют политической заостренности, а научные сотрудники, вместо четких марксистко-ленинских формулировок, «жонглируют евангельской терминологией». Для меня было ясно, откуда ветер дует: от Чмутова. Попало Нелюбову: комиссия поставила ему на вид отсутствие политического контроля. Как я узнал позднее, первоначально и мое имя фигурировало в резолюции: в связи с «евангельской терминологией». Но так как я все равно через неделю покидал Ясную Поляну, уезжал в Москву, то и вычеркнули.

* * *

Догорал осенний день, когда тарантас, увозивший меня из Ясной Поляны, загрохотал колесами по вы-

ложенному булыжником «пришпекту». Кучер, долговязый украинец в коричневом армяке, взмахнул ореховым кнутовищем. Кони вынесли за белые — двумя башенками — ворота.

В полях было тихо. Только цокали копыта по асфальту Киевского шоссе. Лес уже остро пах грибами, прелыми листьями, — милые, от детства родные запахи. Как хотелось любить все это, обнимаемое одним словом — родина. Не по конспектам и тезисам, — любовью простой, непосредственной. Вот и Воронка, крутой спуск к мосту, под которым темная, почти недвижная вода. Далекие дали видны с крутояра: тихо и грустно стояли прозрачно-желтые березники, пурпуровые осинники. Тонким туманом подернутая, темнела Засека. Большой лесной кряж, где когда-то устраивались засеки — завалы от татарской конницы. Да, родина. Чего только не испытала, не перенесла она! Шли из-за Каспия темные орды... где они? Ничего не осталось: только в памяти народной отложились имена мучеников, Святителей Земли Русской. Пройдет и большевистское лихолетье. А родная земля есть и будет, и с нею-то, что по-настоящему от земли, от родины. Толстой, Россия...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

К НОВОЙ ЖИЗНИ

МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ

Куда они могли запропаститься? На душе скребло — забота эта не давала мне покоя. Воскресным утром, после теплого, легкого дождика, приятель, старый русский эмигрант, — белая бородка клинышком, пухлый, мясистый нос, знак привязанности к пинару, — показывал мне Париж: Площадь Согласия, Люксорский обелиск, статуи двенадцати городов Франции. Вокруг обелиска на высоких тонких шестах развевались флаги: летом 1945 года воздух был насыщен радостью победы. От площади мы вышли на мост Александра Третьего, где сверкали золотом крылатые кони, а у другого берега пестрела флагами голубая купальня. Приятель остановился и, провожая глазами караван железных барж, плывший по темной маслянистой Сене, задумчиво проговорил:

Et tu coules toujours Seine, et, tout en rampant,
Tu traines dans Paris ton cours de vieux serpent,
De vieux serpent boueux, emportant vers tes havres
Tes cargaisons de bois, de houille et de cadavres!

— Вы еще не были в Люксембургском саду? — спросил он. — Там есть памятник Верлену. Вот вы теперь, поживете, Бог даст, во Франции, овладеете языком и почитаете французских поэтов в оригинале. Поистине, нет худа без добра! Не будь войны, не попади вы в плен, не видать бы вам Парижа. Не выпустили бы нас из России... а? Не выпустили бы? Да, что это вы, как деревянный, сегодня... совсем не слушаете! Найдутся газеты, не огорчайтесь по-пусту.

— Ах, оставьте, — раздраженно ответил я. — «По пусту»... Вы не понимаете, какая нависла надо мною угроза. По вашей вине...

Приятель затеребил бородку, смущенно закашлял. Он был из тех русских интеллигентов, ныне сохранившихся только в эмиграции, которые добродушнейшей улыбкой встречают опасность, откуда бы она ни приходила. Впрочем, он не представлял размеров опасности: высланный из России в 1922 году, он не знал сталинского режима. Напротив, после победы над Германией он видел в Сталине «спасителя России». Познакомились мы так: увидев меня на бульваре Распай — в защитной гимнастерке с прямым воротом, широкими погонами на плечах — он подбежал, обнял, расцеловал в обе щеки. Настроенный просоветски, он все-же оставался старым либералом: полагал, что «теперь, когда внешняя опасность миновала, Кремль произведет реформы внутри страны», почитывал газеты, в которых свободно критиковались послевоенные действия советского правительства. Несколько дней назад он дал мне пачку «Нового русского слова», полученного из Нью-Иорка. Так как в посольстве на рю Гренель не хватало квартир и я жил в казармах Рейи, вне контроля, я мог там читать и прятать под матрацем газеты, в которых печатался даже... «бандит Керенский». Накануне, в субботу, я собирался вернуть газеты приятелю. Встретиться мы условились в полдень, в кафе «Лютеция». Обычно всегда аккуратный, по-старинному обязательный, он вдруг не пришел. Прождав два часа, я отправился в посольство обедать. Хотел оставить газеты в кафе, но не знал, как попросить: тогда я еще не говорил по-французски. Положил в портфель, пришел в посольство — в комнату, где помещалась редакция газеты «Вести с родины» — замкнул портфель в ящике письменного стола, замкнул комнату, положил ключ в

карман и поднялся в столовую. Полчаса спустя, пообедав, вернулся. Комната была замкнута, письменный стол заперт, портфель лежал на месте, но... газет в нем не было!

— Ну, виноват! — приятель развел руками. — А повинную голову меч не сечет... старая русская поговорка.

Добродушная его улыбка обезоруживала. В тон старику я полушутливо, без ожесточения, проворчал:

— Еще как сечет! Вы не знаете, энкаведисты имеют на гимнастерках, на рукавах, эмблему: меч, пронзающий змею... меч революции. Этот меч сечет всякую голову, повинную и даже просто невинную. Вот что... пожалуй, мне сейчас лучше пойти в посольство. Правда, воскресенье, мне являться не обязательно, только что к обеду, но... пойду, потолкаюсь, понюхаю. Может, и пронюхаю что приключилось с газетами. Прямо, какая-то чертовщина, мистика!

На левом берегу Сены, на кривой, узкой уличке, стоит старинный особняк, обнесенный каменными стенами. У запертых глухих ворот поблескивает медная планка: «Полномочное представительство Союза ССР во Франции».

Уличка тихая, по воскресеньям совсем пустынная. Только шли, щебеча, детишки в белых блузах и синих галстуках, с ними, шлепая сандалиями и шурша одеждами, три монашки-воспитательницы. Видно, ходили на прогулку в Тюильери (неподалеку, через Сену), возвращались в интернат к обеду. Приближаясь к посольству, монашки перевели детей на другую сторону улицы, ускорили шаг. В круглый волчок, как иллюминатор, пробитый в каменной стене у ворот, в спину монашкам смотрели внимательные серые гла-

за. Передо мною, однако, они смягчились. Дверь заверещала и открылась автоматически.

День неприсутственный. В приемной были только свои. За стеклянной перегородкой, у телефонного коммутатора с кнопками и рычажками, — обычно он трещит, мигает красными и зелеными огоньками, но сегодня покойный, молчаливый, — балагурили курьеры, шофера! Весело похохатывая, они разыгрывали стоявшего тут-же, навалясь локтем на отопительную батарейку, офицера в кителе и золотых погонах.

— Нюрка-то, не будь дура, к послу... со слезами! — рассказывал, скаля зубы, высокий белолицый шофер Санько; он был личный шофер посла и носил черную фуражку с вышитым красным гербом СССР. — Что-же он, в самом деле, бросить меня хочет, как докуренную папироску? И так уж по всему посольству языками чешут, кому не лень, а как брюхо-то зачнет расти — куда мне деться?

Все захохотали.

— Вот уж что верно, то верно — чешут языками, — беззлобно, с улыбкой, отозвался офицер; на погонах у него было по четыре серебряных звездочки. — Нюрка вовсе не плакала, и посол знал обо всем, потому что она же горничной у посла и официанткой. Мы давно порешили зарегистрироваться, а то, что жить раньше начали, так... тебе, Санько, хорошо, у тебя баба под боком, как печка широкая.

Женитьба капитана Титова на молоденькой черноглазой Нюре веселила советскую колонию в Париже. На заграничную работу Москва подбирает обычно людей семейных. Так, чтобы посольский чиновник, кончив рабочий день, оставался тут-же, в посольстве, при семье, не тянулся бы за каменную стену — на парижские бульвары и набережные. Редко-редко приезжают одинокие и при первом же подходящем случае женятся. Приехал холостяком первый секретарь

посольства Ф. И. Видясов — вскоре женился на машинистке Любочке; теперь она уже катала в коляске своего первенца. Нюра была единственная девушка в посольстве. Парней было двое: капитан Титов и шифровальщик Коля. Передавали, что посол, узнав, что горничная забеременела, вызвал капитана и приказал: немедленно идти с девушкой в консульство оформлять брак, регистрироваться, или в тот-же день он будет отправлен в Москву. Брак был оформлен: молодая чета ждала ребенка. Коле-шифровальщику оставалось ждать другого случая.

— А вот холостяк идет! — воскликнул Санько, увидев меня в дверях. — Еще одна невеста требуется.

— Не чепляйся, — засмеялся я. — Я — женатик.

— До семафора мы все женатые. А как выехал за черту города, говори — холостой! Признайся сколько ППЖ имел на фронте?

На широком кожаном диване в передней сидел лейтенант Николай Садовский, который до меня работал в редакции «Вестей с родины». Как и я, он был бывший военно-пленный: только меня немцы захватили под Дрезденом в апреле 1945 года, а его под Вязьмой в апреле 1942 года. Бежав из немецкого плена, он пробрался во Францию, присоединился к макизарам, научился говорить по-французски; теперь он был переводчиком при военной репатриационной миссии. Не зная газетной и типографской техники, он тяготился работой в «Вестях с Родины» и был рад, когда в моем лице посольство нашло журналиста-профессионала.

— Ну, как живется, товарищ капитан? — привстал Садовский; он был молоденький, бело-рыжий и долговязый, худой. — А у меня событие — письмо получил из Саратова, от сестры. Три года они не имели от меня известий. На том было и помирились, что убит...

— И я получил письмо, — похвастался я, вынув из кармана гимнастерки конверт, склеенный горчицей. — От домашних, из Москвы.

— Как они?

— Все в порядке. Федор Иванович Видясов только что из Москвы вернулся: на юбилейную сессию Академии наук ездил, французских ученых сопровождал. Он побывал у меня дома, дал знать, что я жив-здоров и даже вот... в Париже.

Пшеничные брови лейтенанта сдвинулись. Из-под бровей пытливо и недоверчиво смотрели серые, с рыжими искорками глаза. В те дни Садовский, как я догадывался, решал про себя вопрос: возвращаться в Россию или не возвращаться? Однажды он меня спросил: «Придется нам, бывшим военно-пленным, годиков пять покопать землю на Колыме... как вы думаете?» Он был молод — верно, ждал от меня совета. Но как мне было ему открыться? Вместо прямого ответа я усмехнулся:

Колыма-Колыма,
Далекая планета...
Двенадцать месяцев зима,
Остальное — лето.

Письмо из дома показывало, что у меня нет такой мысли — не возвращаться в Россию. Юный лейтенант смущенно посмотрел на самодельный конверт: он хотел, но не мог верить, что я решаюсь оставить Париж ради... Колымы.

— Да-а, — сказал Садовский. — Нечаянно-негаданно, мы — в Париже. Вы как, успели уже осмотреть все Лувры и Пале-Руаяли?

— Кое-что видел. Приходится много ездить по Парижу — в типографию, цинкографию, на бумажные склады, в цензуру. В посольстве почти не сижу.

— Панченко к вам еще не прицепился?

— Вызывал один раз — велел написать автобиографию, в каких частях Красной армии служил, при каких обстоятельствах попал в плен... и только.

— Ну, а ко мне... То и дело звонит в типографию: «Позвать Садовского!» Нет в типографии — в цинкографию. Каждый шаг мой хотел уследить, где я в Париже бываю.

Про Панченко я услышал в первый же день, как попал в посольство. Волнение охватывало меня, когда я впервые подходил к высоким, темно-желтым стенам особняка на рю Гренель. Париж был для меня, как белое пятно на карте географа-путешественника, но таинственнее всего была пядь советской земли в самом центре Парижа. МИД и МВД — министерство иностранных дел и министерство внутренних дел — занимают в Москве два здания по соседству, наискосок через улицу; это как-бы подчеркивает, что деятельность их взаимосвязана, координирована. Простым советским людям туда нет доступа. Тот, кого посылают за границу, проходит в Москве десяток различных комиссий, заполняет версты анкет. Но меня несла военная волна — подняла на гребень, прибила к Парижу. Как тут живут, в посольстве? Чем они заняты? Какова их работа? Каков их быт?

Когда-то по Москве ходили слухи, что парижское посольство выкрало двух белых генералов — Миллера и Кутепова. Передавали, что трупы были сожжены. Переступив порог посольства, я думал: хоть бы краешком глаза посмотреть на эти печи! Оказалось, не так то просто! Даже находясь внутри посольства, советские люди не знают, что тут, в посольстве, творится. Комната редакции «Вестей с родины» была на первом этаже, и первые дни, когда кто-нибудь проходил под окнами, я спрашивал Садовского:

— Кто такой?

— Не знаю, — пожимал Садовский плечами. — Вообще я мало кого тут знаю, хоть и проработал пять месяцев. И вам, товарищ капитан, посоветую: Федор Иванович Видясов — ваше непосредственное начальство, имейте дело с ним, а на то, кто тут ходит, приходит и уходит, не посматривайте.

Курьезный случай показал мне, как скованы люди в посольстве. В коридоре, по соседству с нашей комнатой, была другая дверь. Когда я спросил лейтенанта, что там такое, он, как обычно, пожал плечами: «Не знаю». Но я толкнул дверь — она была незаперта. Большая пустая зала, в углах свалены мешки, обрывки бумаги, дальше — другая дверь. Я прошел и туда: уборная. Повернул кран — действует. Между тем, Садовский показал мне, что надо пользоваться уборной на третьем этаже; лифт не действовал — это было крайне неудобно.

— Вот же уборная! — воскликнул я. — Рядом.

— А я не знал, — ответил Садовский. — Говорю вам, не открывайте дверей, куда вам входить не положено. Нарветесь на неприятности. Попадетесь к Панченке на крючек — трудно будет вам сорваться.

***

Круглый, залитый асфальтом дворик. Зеленая клумба, искрящаяся под солнцем струя фонтана. У главного подъезда — широкие ступени, колонны, высокие стеклянные двери, за которыми виднеется вестибюль, отделанный красным штофом, лепным золотом, устланный дорогими коврами. Там приемные залы, покои посла — это все особо и как-бы отдельно от посольства. Посол появляется редко: он массивен, плешив, на горбатом носу — очки в толстой черепаховой оправе; у него совсем молоденькая, круглолицая жена с веселыми карими глазами. Хозяин посоль-

ства — не посол, а советник посольства, А. А. Гузовский, про которого известно, что он резидент НКВД. Живет он не в посольстве, а на площади Мальзерб. Он коренаст, подвижен, одет небрежно, ездит по Парижу один, без шофера, в крохотном «опеле».

По сторонам дворика — трехэтажные, темно-желтые стены. Первые два этажа — кабинеты, отделы; много тяжелых стальных дверей, сигнализация, решеточки, глазки. На третьем — квартиры. Живут скученно — трое или четверо, всей семьей, в одной комнате. Есть и четвертый этаж — чердачный, с окнами в покатой крыше. Там бытовые службы. По воскресеньям там жены, бросив грудных ребятишек на руки мужьям, мыкаются у дымящихся, вскипающих мыльной пеной ванн, среди веревок для сушки белья, протянутых по длинному узкому коридору. Нанимать нянек или прислуг — француженок, русских эмигранток — не позволяется.

Выйдя из проходной на дворик, я увидел возле клумбы, блестевшей мокрой травой, Ф. И. Видясова с ребенком на руках и генерала Вихорева. Первый секретарь посольства Видясов был не только мой начальник по газете «Вести с родины», но и товарищ: мы вместе учились, хоть и на разных факультетах, в московском ИФЛИ. Он был добр, отзывчив, принял во мне горячее участие, когда меня привезли в Париж. Разговаривая с генералом, он забавлялся с сынишкой, подбрасывая его на воздух. Белый и пухлый, в вязаном колпачке с кисточкой, мальчишка лениво пищал, смеялся:

— Коряков! — позвал меня Видясов. — Товарищ генерал, позвольте вам представить капитана Корякова... наш новый технический редактор «Вестей с родины». К тому-же, товарищ мой по институту.

— Твой товарищ? — насмешливо переспросил генерал и протянул мне руку, поросшую рыжими воло-

сами. Он был откормленный, розовощекий толстяк. От него несло крепкими духами. Китель, сшитый из добротного американского материала, имел голубые кантики. На голубом околыше фуражки блестела вышитая золотой канителью крылатая эмблема советских воздушных сил — «капуста», как ее называют летчики.

— О, вы из авиации, товарищ генерал! — воскликнул я не без удовольствия. — Последние два года я тоже служил в авиации... военным корреспондентом при Шестой Воздушной.

— Вот как... — безразлично протянул Вихорев, но тотчас же, быстро, как-бы захватывая меня врасплох, спросил: — Кто командовал Шестой армией?

— В конце 1942 года, когда Шестерка только формировалась на Северо-Западном фронте, командующим был генерал-лейтенант авиации Даниил Федорович Кондратюк. Теперь ею командует генерал-лейтенант авиации Федор Павлович Полынин. Вы наверняка их знаете.

— Нет, не знаю, — сухо ответил Вихорев.

«Как странно», — подумал я. Д. Ф. Кондратюк, ныне генерал-полковник, находился с 1943 года в Москве, в штабе ВВС, военно-воздушных сил Красной армии, был заместителем маршала авиации Новикова. Как это авиационный генерал мог не знать Кондратюка?

— Вам не доводилось, товарищ генерал, встречаться с Георгием Александровичем Ивановым? — не отставал я, всей душой желая найти общего знакомого. — Это мой хороший приятель.

— Нет, не доводилось.

«Что за чертовщина!» — выругался я в душе. Г. А. Иванов, генерал-майор авиации, командовал гвардейским истребительным корпусом. В марте 1943 года я написал статью «Новое в тактике воздушного врага»,

которая появилась под его именем. Эта статья, опубликованная в «Красной звезде», явилась предметом большой дискуссии. Имя Г. А. Иванова — отважного летчика-истребителя и талантливого командира, обладавшего тактическим чутьем — было известно всем, кто хоть как-то соприкасался с авиацией.

Видясов, желая скрыть смущение, кряхтел и ухал на сынишку, то подбрасывал на воздух, то пытался поставить на ноги. Не понимая, в чем дело, я продолжал наседать на генерала. Все более становилось очевидным, что он вообще никого не знал в авиации и ничего не знал об авиации. Наконец, он раздраженно — негромким голосом, похожим на бурчание в животе — закончил разговор:

— Нет, в ВВС я не был... я был в другом месте. — И заметив в дверях проходной низенького, толстенького, пожилого офицера, крикнул: — Ну, и пропал ты, Штранге! Полчаса тебя дожидался...

«Штранге!» — метнуло мне в голову. Как-раз мой приятель-эмигрант спрашивал меня, не знаком ли я с Михаилом Михайловичем Штранге, и рассказал мне странную историю. Жил-был во Франции некий Штранге — во время войны, при немецкой оккупации. Неизвестно, где работал, на какие средства жил. Держался скромно, одиноко. То появлялся в Париже, то куда-то уезжал. Все, кто знали его, принимали за старого эмигранта. Но тотчас же по освобождении Парижа от немцев вдруг увидели: Штранге в кителе с золотыми погонами и тремя звездочками — в чине старшего лейтенанта. Несколько спустя прибыла военная репатриационная миссия — Штранге стал адъютантом генерал-майора авиации Вихорева.

— В кафе на рю дю Бак папирос не оказалось, — пожал плечами Штранге, передавая генералу пачку «Честерфильда». — Пришлось добежать до «Лютеции».

— Вы, я вижу, хорошо знакомы с черным рынком в Париже? — улыбнулся я старшему лейтенанту.

— Да, Париж я знаю, — проговорил Штранге и кинулся, забегая перед генералом, открыть ему дверцу большого черного «паккарда».

Несколько позже я узнал, что ген. Вихорев никогда не служил в авиации. Он был чекист, в НКВД сделал всю свою карьеру. Авиационную форму носил для близира, как и многие другие офицеры военной репатриационной миссии. Впрочем, миссия эта занималась не столько репатриацией, сколько другими делами. В то время, как Гузовский был начальником «общей сети» НКВД, генерал Вихорев был начальником так называемой «тактической сети» НКВД во Франции.

***

На пороге появилась полногрудая женщина в ситцевом халатике. Волосы ее были мелко и часто скручены папильотками. На широком лице задирался маленький пудреный носик.

— Комендант! Вы не видели коменданта? — кричала она и хлопала по толстому бедру. — Ох, и комендант у нас в посольстве. Лифт опять не действует!

Женщина эта работала в экспедиции: ведала упаковкой дипломатической почты. Принадлежа к штату посольства, она свысока посматривала на жен, просто живших при мужьях — шоферах и курьерах, покрикивала даже на коменданта. Недавно, когда праздновали День Победы, ей было впервые позволено присутствовать на торжественном приеме, в бело-золотых залах посольства, куда съехался весь дипломатический корпус Парижа. Она была там в платье, аляповато расшитом золотом, и потом всем рассказывала, как Жак Дюкло, у стола с водкой и закуска-

ми, сказал ей по-русски: «Здравствуйте». Упаковщица почты продвигалась по иерархической лестнице.

— Тут комендант! — Из окна столовой на втором этаже, раздвинув белые занавески, высунулось одутловатое лицо с воровскими шныркими глазами. — Ну, что вам нужно от коменданта? Лифт... так, его-же чини-не чини, он портится! Пока ребятишек отсюда не уберут, я ни за что не отвечаю.

Комендант исчез за белыми занавесками. Женщина в халатике и папильотках пошла, чертыхаясь, подниматься по крутой, узкой лестнице. Наверху, на лестничной площадке, кучились ребятишки. В посольстве их было много: не меньше тридцати-сорока. Жилось им невесело: целыми днями — на круглом асфальтовом дворике за высокими стенами. Неподалеку — Тюильери. Там, в садах, пестро разукрашенные кукольные театры, качели, пони в тележках, пруды, где дети кормят рыбок и пускают кораблики. По воскресеньям и четвергам там веселые, шумные детские гулянья. Но, избегая связей с местным населением, ребятишек из посольства туда не водили. Излюбленным занятием ребятишек было кататься вверх и вниз на лифте, но лифт скоро портился и потом целую неделю стоял в ремонте. Тогда ребятишки собирались наверху, на лестнице, и, навалившись животами на перила, свесившись стрижеными головами в пролет, плевали все разом вниз: чей плевок долетит быстрее? Плевки летели долго, путались так, что невозможно было уследить за ними, и когда долетали, расплющивались, наполняя треском лестничную клетку, вопрос, «чей быстрее», оставался неразрешенным.

— У-у, черти! Нету на вас никакой холеры! — заругалась женщина в халатике, увидев ребятишек. Те, не окончив спора, «чей плевок быстрее», соскочили с перил и шумной гурьбой пробежали вниз мимо злой, сварливой упаковщицы.

На дворе ребятишки плотной живой стенкой окружили «кадиляк», стоявший с приподнятым капотом. Шофер, посвистывая, копался в стальных кишечках мотора. Ребятишки лепились на закрылки, заглядывали в нутро. Но и это развлечение кончилось: пришел полковник, шофер опустил капот, открылись широкие ворота и машина уехала. Мальчишки послонялись по двору, подергали за косички белобрысую и курносую девочку — «плаксу-Лильку» — и пошли по коридорам — отвинчивать колпачки с электрических выключателей. Если надеть колпачек на лучинку, получается как-бы шпага...

Проведя в посольстве добрых два часа, я ничего не вынюхал про газеты, исчезнувшие из ящика письменного стола. Подошло время обедать. В столовой сидели комендант и Коля-шифровальщик. На столике перед ними громоздились пустые и полупустые пивные бутылки, две пепельницы, полные окурков. На полу у стены стояла вазочка с гвоздикой — на столе ей не хватило места.

— Ага, вот и не знаешь! — воскликнул Коля-шифровальщик. Он был бойкий и веселый паренек в белой вышитой рубашке. В будни он работал в шифровальном бюро — за двойными стальными дверьми — по 14-16 часов. Но по воскресеньям не знал, куда деться: скука... Теперь он донимал коменданта игрой в какие-то загадки-отгадки.

Комендант жевал бутерброд с бужениной. Желваки катались на скулах. Быстрыми глазками моргнул на меня, только я присел к соседнему столику. Коля-шифровальщик обратился ко мне:

— Ну, посмотрим, капитан, как ты Москву знаешь. Скажи мне... — Коля-шифровальщик хотел, видимо, задать мне загадку покаверзнее, но вдруг уставился блестящими, как черные маслины, глазами на дверь.

В столовую вошла директорша в белом халате, а за нею две незнакомых девушки. Они поздоровались: «Здравствуйте». — «Здравствуйте, коли не шутите», — ответил Коля. Директорша показала им столик в углу, украшенный букетиком розовой гвоздики.

Кто такие? Как и Коля, я таращил на них глаза. Одна была высока и дородна, в темно-синем костюме; другая помельче, в вязаной голубой кофте с выпушками. Официантка внесла миску дымящегося борща, девушки налили тарелки. Та, что была в вязаной кофте, сидела прямо, глядя вниз, с притушенным выражением неправильного скуловатого лица. Ее подруга, расстегнув костюм и оправив на высокой груди белую кипень батиста, поводила карими выпуклыми глазами по зале; пар, подымавшийся над тарелкой, заволакивал ее круглое, красивое лицо.

— Так вот, капитан, — продолжал Коля-шифровальщик. — Где в Москве часы с большим темно-синим циферблатом, украшенным знаками Зодиака?

Не успел я ответить, как кареглазая девушка произнесла:

— На Казанском вокзале.

— Вы — москвичка! — воскликнул я.

— Коренная, — улыбнулась девушка.

Впрямь, полная, налитая янтарными соками, она напоминала московскую — кустодиевскую — купчиху. Над темными глазами блестели черные соболиные брови.

— Наверно, в Америку едете? — угрюмо спросил Коля-шифровальщик. Последнее время в Америку ехали, останавливаясь в Париже на два-три дня какие-то профсоюзные и торговые делегации, при которых были и девушки-переводчицы.

— Нет, в Париж приехали, — сказала девушка. Я из Каира, а подруга моя из Брюсселя.

Подруга — некрасивая, скуловатая — все молча-

ла, глядя перед собой в тарелку. Но минуту спустя мы уже знали, что эту буку зовут «Фая», а московскую красавицу — Маруся Петрова. Переговариваться через столики было неудобно, и мы с Колей-шифровальщиком поднялись, чтобы пересесть к девушкам. Но в столовую вдруг пришла курьерша:

— Товарищ капитан Коряков, Панченко велел вам немедленно притти к нему в кабинет.

Вот они — газеты! Подтянув ремень, одернув гимнастерку, я — будь, что будет! — по-военному пошел прямо на опасность. Газеты пропали вчера в обед. Повидимому, Панченко вечером и утром сегодня ознакомился с «контр-революционной литературой» и теперь меня ждут какие-то «организационные выводы».

Панченко, Яков Кузьмич, официально числился третьим атташе посольства. Но когда я спросил машинистку, которая находилась в посольстве уже четыре года, чем именно занимается Панченко, она посмотрела на меня удивленными глазами.

— Не знаю... Атташе...

Однажды я увидел: курьерша ходила с листом и оповещала, что «Панченко велел итти на профсоюзное собрание». Я посмотрел в список — там не было моей фамилии. В конце списка стояла подпись: «Профорг Я. Панченко». Желая глубже понять жизнь в посольстве, я хотел пойти на это собрание. Зашел к Панченке и спросил:

— Почему меня нет в списке? Я — тоже член профсоюза.

Панченко снисходительно улыбнулся:

— Видишь ли, ты член профсоюза печатников. А наш профсоюз — несколько особый. Ты — член партии?

— Нет, не член партии, но член профсоюза.

— Экий ты чудак! — засмеялся Панченко. — Те-

бе в Москве не надоели общественные нагрузки? Отдохни покамест. Приедешь домой, опять включишься в профсоюзную работу.

Как оказалось, в посольстве не было партийной организации. Официально, в посольстве не было ни одного члена партии: все — беспартийные, только члены профессионального союза. На деле, все были членами партии, но перед тем, как ехать за границу, членские партийные билеты сдавались в ЦК ВКП(б) на хранение. «Профсоюзная организация» в посольстве несла ту же функцию, что и авиационная форма генерала Вихорева: маскировка. Разговаривая с Панченко, я заметил у него на столе напечатанное на машинке письмо, которое было адресовано «заведующему иностранным отделом ЦК ВКП(б) тов. Струнникову». Панченко был не профорг, а парторг, руководитель партийной организации в посольстве.

Несмотря на то, что всех посылаемых на заграничную работу проверяют в Москве многочисленные комиссии, за ними нужен глаз и глаз в посольстве. Буржуазное окружение, капиталистическая зараза, всяческие соблазны... Был уже случай: перепрыгнул через высокую стену и бежал Беседовский. На Панченко лежала обязанность наблюдать за каждым сотрудником посольства, предохранять его от опасности заражения, а при первых симптомах болезни, склонности к «невозвращенству» немедленно отправлять в Москву. Именно от Панченко зависело пребывание того или иного сотрудника посольства в Париже.

На торжественных приемах в посольстве Панченко появлялся в черном дипломатическом мундире: на плечах серебряные погоны, на поясе кортик с золоченой рукояткой. Посмотреть на него, никак не догадаться, что десять лет назад этот молодой «дипломат» был смазчиком вагонов на одной из южных железных дорог. Панченко, пожалуй, и сам позабыл о

тех днях, когда он в грязной, замасленной спецовке лазил с масленкой под вагонами. Теперь он отмылся, отъелся и если вспоминал о том, что был когда-то рабочим, то только затем, чтобы похвастаться, как он быстро выдвинулся. Впрямь, рабочим Панченко был недолго: он с первых шагов проявил интерес к политике — выступал на собраниях, разоблачал «вредителей», «саботажников», «оппортунистов», доносил, наверное, и в НКВД, вступил в партию, вскоре его перевели в политический отдел железнодорожного узла. Панченко делал карьеру: оттуда продвинулся в политическое управление железной дороги, потом — в политическое управление министерства путей сообщения, наконец, на партийную работу в министерство иностранных дел. Панченко был невежественный, необразованный человек, но его голова, как виктрола — пластинками, была напичкана цитатами из классиков марксизма, в особенности же из «Вопросов ленинизма» Сталина и «Краткого курса истории ВКП(б)»; по части цитат он мог перещеголять любого «образованного». Несмотря на то, что Панченко не знал ни одного иностранного языка, он был возведен в ранг «атташе», получил мундир с погонами и поехал с молодой женой в Париж. Должность хорошо оплачиваемая: в 1946 году, когда парижский рабочий в среднем получал шесть-восемь тысяч франков, Панченко получал 65.000 франков, имея бесплатную квартиру при посольстве, питаясь по особому «дипломатическому пайку». «Паек» был такой: на одну неделю Панченко получал столько мяса, масла, сыра, яиц, сколько парижский рабочий вряд ли имел за три месяца; месячный паек на двоих стоил 3.000 франков. На остальные 62.000 франков Панченко покупал золотые вещи, шил костюмы и платья жене, копил деньги в сберегательной кассе. То был поднимающийся «пролетарий-миллионер» новой советской формации

Понятно, Панченко держался обеими руками за кресло, в котором теперь сидел. Каждую минуту своей жизни, все свои силы и энергию он посвящал тому, чтобы как можно лучше выполнять свою обязанность — следить за служащими посольства. Преуспевающий советский бюрократ, одетый цитатами, точно латами, он был непроницаем для «капиталистической заразы». Внутри посольства Панченко раскинул густую, плотно сплетенную сеть агентуры, состоявшую, главным образом, из курьеров, уборщиц, шоферов. Те доносили ему решительно обо всем; от него не ускользали даже интимные подробности жизни сотрудников посольства. Панченко держался крайне независимо. Все — кажется, даже сам посол — его боялись.

Кабинет Панченко был на первом этаже Когда я спускался по лестнице из столовой, моя мысль металась в черепной коробке, как мышь, прихлопнутая в ловушке: что же я отвечу, если он спросит меня про анти-советские газеты? Но у советского человека выработалось особое — шестое — чувство, как поступать в таких случаях.. Размышления не помогают — вывозит чутье. Как говорится, «само покажет». Постучавшись и открыв дверь кабинета, я первым делом увидел на письменном столе у Панченко пачку газет — десятка полтора номеров «Нового русского слова». Прежде, чем он успел спросить меня о чем-нибудь, я радостно воскликнул:

— Вот они, газеты-то! А я их ищу-ищу... второй день ищу! Хорошо, что они у вас... а то могли и кому другому в руки попасться!

Панченко сидел за столом в широком, обшитом коричневой кожей, кресле. Он был низкого роста. На квадратном лице свирепо выдавались вперед скулы. На виски спадали волосы двумя крупными завитками:

точь-в-точь баран, который, пригнув голову, кинется бодаться.

— А-а... этого я и ждал, чтобы ты сам мне признался, — проговорил Панченко. — Твои газеты?

Глубоко посаженные зеленые глаза Панченко глядели исподлобья. У него была привычка глядеть собеседнику прямо в переносицу — ломать встречный взгляд.

— Да нет, откуда же мои! — засмеялся я, так легко, будто на моей душе не было никакой тяжести. — Если бы мои, так сразу же вам их принес бы. Приходил вчера корректор, приносил мне гранки из типографии, — да и забыл газеты у меня на столе. Понятно, я их прибрал, чтобы они кому-другому на глаза не попались... я-то сам их не читал! Отдайте ему, пожалуйста, сами. Завтра я ему позвоню, чтобы приехал.

«Вести с родины» печатались в частной типографии. Корректор был старый русский эмигрант. Мы были с ним приятели. Мне оставалось только предупредить его, чтобы он не был удивлен, если Панченко будет ему отдавать газеты.

Панченко отложил газеты в сторону и добродушно улыбнулся:

— Другой раз, если тебе что-нибудь такое... в этом роде... тут, в посольстве, попадется на глаза, у себя не держи, а прямо ко мне неси. Ну, а вообще как? Садись, покалякаем... как живется?

— Как живется? — пожал я плечами. — Жду-не дождусь в Советский Союз вернуться, в Москву!

— Ишь ты! — засмеялся Панченко. — А кто будет газету выпускать? Как мы просили, чтобы из Москвы нам прислали квалифицированного журналиста, нет, не дали. Уж коли ты попал в Париж, так работай. «Вести с родины» еще долго будут выходить.

— Как долго — месяц, два? Ведь из лагерей на-

чинаются большие отправки военно-пленных. Всех репатриируют, и газета больше не нужна.

— Нужна! Мы ее для беляков пустим. А чего тебе не нравится работать здесь?

— Вам хорошо говорить, — покачал я головой. — У вас жена под боком, а мне каково?

— А у тебя Анна... ты же с ней заигрываешь? — развеселился Панченко.

— Ничего я с ней не заигрываю, — тупо ответил я.

— Не отпирайся, не отпирайся... Вчера ты заходил к ней в комнату? Заходил! Целовался с ней? Целовался! Так я тебе вот что скажу — продолжай в том же духе. Ты одинокий и она одинокая — вот и пара!

В растерянности я опустил глаза, не зная, что ответить. Анна Булыгина была машинистка в редакции «Вестей с родины». Ее взяли из лагеря Борегар. Она была «остовка»: немцы вывезли ее с мужем из России на принудительные работы. Муж ее погиб в концентрационном лагере в Германии. Анна пробралась во Францию. На четвертом этаже, под крышей, она имела в посольстве тесную каморку. Накануне, в субботу, я действительно подымался к ней наверх — взглянуть, как она устроилась. Правда, что попадешь к Панченке на крючек — не сорвешься! От него ничто не ускользало.

— Какая же она мне пара? — возразил я. — Анна старше меня. Измученная, усталая женщина. Она хочет с первым транспортом, какой будут отправлять из Борегара, возвращаться в Советский Союз.

— Если надо будет, так и потерпит, — строго ответил Паиченко.

— Послушайте, Яков Кузьмич, — спросил я. — А что это за две девушки... я видел сейчас в столовой... Фая и Маруся?

Панченко ухмыльнулся:

— Девушки эти — статья особая. Ты на них не заглядывайся. Тебе — Анна.

Пожав плечами, я поднялся со стула. Простились мы дружески. Анти-советские газеты остались у Панченки. То, что он без меня залез ко мне в замкнутый письменный стол и в портфель, подразумевалось, как вещь совершенно нормальная. Нормальным считалось и то, что он выслеживал, кто с кем целуется и, заботясь о «благе трудящихся», составлял пары из одиноких людей.

В Каире Маруся Петрова была машинисткой. В Париже ее повысили — она стала начальницей канцелярии посла. Теперь она сидела в серо-зеленом салоне, где одну стену сплошь занимала картина: граф Чернышев в бархатном камзоле и напудренном парике, окруженный дочерьми в бальных платьях... — бывший посол России. В салон этот попадали лишь посетители высокого ранга: дипломаты, генералы, академики. Некоторые из них бывали тут и до революции: им было приятно видеть, что «ничто не изменилось» — все та-же Россия. Тонкие, затянутые в корсеты русские графини на старинном полотне и такая русская — правда, не дворянской, а скорее купеческой красоты — Маруся за белым дамским столиком у мраморного камина.

Бука-Фая, как была, так и осталась машинисткой. Даже не «засекреченной», а так, для общей переписки. Она работала в машинописном бюро — квадратной комнате с голыми, крашеными коричневой олифой стенами. Там сидели еще три-четыре машинистки, мужья которых служили в посольстве шоферами или консьержами. Там и я проводил добрых полдня, передиктовывая телеграммы, так как весь материал, пе-

чатавшийся в «Вестях с родины», от первой до последней строчки передавался из Москвы.

Ундервуды трещали, переписываемые бумажки шелестели, машинистки сплетничали. Предметом ежедневных пересудов была Маруся Петрова. Не прошло и недели, как чуть-ли не все женщины в посольстве начали ревновать ее к своим мужьям. Первый скандал произошел в столовой: жена одного атташе — бледная, только что из родильного дома — прибежала и, увидев своего «Сашку» за одном столиком с Марусей, не дала ему доесть обед, уволокла в квартиру. Упаковщица почты перехватила мужа, когда он налаживал мотоцикл, чтобы прокатить с ветерком Марусю по бульвару Распай. На дворике она кричала, тряся мелкими кудряшками и задирая пудреный носик:

— Пойти к послу да нажаловаться... Пусть ее заберут отсюда. От нее один раздор!

Женщинам, всеми печенками возненавидевшим Марусю, всего обиднее было то, что сплетни и пересуды ее никак не задевали: если кто из чужих мужей и имел такое намерение — подкатиться к Марусе, он быстро откатывался. Баловства Маруся не любила: не только красотой, но и нравом она была какая-то старо-купеческая, замоскворецкая. Она ко всем была расположена одинаково: на белом открытом лице ее неизменно теплилась улыбка — ласковая ко всему народу. Жаловаться приходилось на «Сашек», а не на Марусю. Но такие жалобы обращались против самих жен-жалобщиц.

Тогда возник план: женить Колю-шифровальщика на Марусе.

— Колька, смотри... не упускай случая! — жужжали посольские жены. — Невеста, что надо! Как яблоко наливное, вся в соку!

Веселый, черный, как жук, паренек имел, однако,

другие планы. Прежде он, бывало, целыми днями сидел в шифровальном бюро за двойными стальными дверьми, выходя только в столовую к обеду; теперь же он зачастил в машинописное бюро. Найдет заделье — продиктовать какую-нибудь несущественную бумажку, присядет к Фае и точит лясы.

— Ты, говоришь, жила на Большой Калужской? — допытывался Колька у буки-Фаи.

— На Большой Калужской, — односложно отвечала та.

— Так мы-ж с тобой, елки-палки, соседи! — восклицал Колька. — Я в доме-коммуне жил... на Шаболовке, возле Донского монастыря... знаешь?

— Дом-коммуну всякий знает, — втягивалась Фая мало-по-малу в разговор.

«Дом-коммуна» был знаменит тем, что он состоял из нескольких тысяч стеклянных комнат. Кругом, по всему Замоскворечью, тянулись приземистые, толстокаменные дома, где окна по ночам закрывались ставнями, а за воротами брехали цепные собаки... — остатки старого купеческого быта. Как вызов старому миру, сверкал широкими окнами дом-коммуна, где утверждалась новая — коммунистическая — мораль, новые понятия о семье, любви, «взаимоотношении полов». Пять этажей, широкая — винтом — лестница. Внизу громадная общественная столовая: перестук кухонных иожей, грохот ссыпаемых в ящики ложек, тяжелый запах квашеной капусты; громадный читальный зал, освещенный белыми матовыми шарами; кино, амбулатория. На следующих этажах — «жилая площадь». Площадь эта была разрезана матово-стеклянными перегородками. Комнаты напоминали ученические пеналы, только вместо карандашей и ручек там помещалось по две кровати и ночному столику. Ширина комнаты не превышала двух метров — другой мебели там

не помещалось. Перед тем, как ложиться спать, жильцы шли в большую раздевалку — мужчина в мужскую, женщина в женскую — там оставляли в индивидуальном шкапчике (вроде как в бане) одежду, брали душ, надевали халаты, а у кого не было халата — просто в трусиках, приходили в стеклянную клетку. Клетка предназначалась исключительно для спанья; рождавшиеся дети воспитывались в детском саду, расположенном где-то в другом месте. Правда, вскоре обнаружилось, что люди консервативны, психология отставала от экономики: в стеклянных комнатах вдруг начинали шипеть примусы — какой-то индивидуалист, не желая питаться в общественной столовой, варил что-то такое себе по вкусу, а иной даже хвастался тем, что у него комната угловая, т.е. не совсем стеклянная — одна стена каменная. История «дома-коммуны» заканчивалась типично по-советски: десять лет спустя строителей дома — пропагандистов «нового быта» — арестовали и сослали за вредительство в концентрационные лагеря.

Коля - шифровальщик рассказывал множество анекдотов про житье-бытье в «доме-коммуне», смешил машинисток, смешил и Фаю. Фая улыбалась редко: всегда глядела как-то вниз, будто занавешивая то, что таила в себе. Улыбка ее была неожиданна, но как-раз внезапность появления улыбки на ее неправильном скуловатом лице — очаровывала.

— Два года в «доме-коммуне»... — улыбнулась Фая. — Я бы там и дня не вытерпела!

— Мне что, — пожал плечами Коля. — Я был студент, молоденький. Теперь я, пожалуй, тоже не вытерпел бы. Крути ни крути, а семья есть семья. В стеклянной-то комнате... какая там, к чертям, семья?

Колины анекдоты нередко сводились к серьезному, произносимому совсем иным тоном, замечанию о семье. Лицо его принимало задумчивое выражение,

он в упор смотрел на Фаю. Девушка, чтобы скрыть смущение, смотрела на часы и говорила:

— Ну, что же, пора обедать?

Машинистки, как по команде, хватались за сумочки и, поставив зеркальца на каретки пищущих машинок, начинали причесываться, подмазывать губы. У Фаи прическа была простая: валик, заколотый шпильками. Поправляя шпильки, она пригинала голову. Колька недвижно смотрел на ее нежную и слабую шею.

— Идете, что ли? — приоткрывалась дверь, на пороге стояла Маруся Петрова.

— Идем, идем, — схватывался Колька и начинал по привычке балаганить, трубить песню: «Народы, вставайте! Народы, вставайте!»

— А этот чего тут вертится? — насмешливо спрашивала Маруся. — Как ни придешь, он тут как тут.

— Вот и приходи почаще, будем видеться.

— Очень ты мне нужен!

По дороге в столовую Колька шел несколько сзади и, щурясь, поглядывал то на Фаю, то на Марусю. Темносиний костюм облегал крутые марусины бедра, кружева вскипали на поднятой груди; она шла плавно и мягко, на всех смотрела прямо, дерзко, вызывающе. Несмотря на внутреннюю строгость характера, она двигалась точно окутанная облаком возбуждающей эротической атмосферы. В отличие от нее, Фая ничего такого не возбуждала: она шла, отмахиваясь на ходу рукой, — угловато, как подросток, — исподлобья подглядывала на отстающего Кольку. Маруся несла в себе жар, от Фаи веяло прохладой. Инстинкт подсказывал Кольке, что тропическую марусину атмосферу ему, пожалуй, не вынести; такая женщина ему была бы не под силу. Колькин выбор пал на другую — спокойную, молчаливую, скромную — девушку.

В столовой, занимаясь борщом и котлетами, шипевшими в подливке из сметаны, разговаривали про

Москву. Маруся Петрова была за границей более пяти лет. Она была комсомолка, только кончила школу и поступила в институт иностранных языков, как ее — по комсомольской разверстке — мобилизовали и отправили в Тегеран. Никогда не выезжавшая из советской России, она по первоначалу была счастлива видеть другую страну. Правда, посольские служащие, даже живя в Тегеране, могли видеть иранскую жизнь только издали, но первые марусины радости возмещали недостаток свободы: впервые в жизни она шила платья, костюмы из настоящего шелка и настоящей шерсти, впервые в жизни пудрилась не белой советской пудрой, которая всегда комками, а телесной, розовато-кремовой... Из Тегерана ее перевели в Каир: все дальше от Москвы в пространстве и — во времени. Первые радости прошли, и Маруся затосковала: — Москва! Пять лет без отпуска... Трудно советскому человеку попасть за границу — не менее трудно вернуться домой.

— В Москве бы... — задумчиво сказал Колька, глядя в окно, в котором виднелись полукруглые графитовые крыши Парижа: день был жаркий, белые занавески на окнах висели, нетронутые ветерком. — В Москве бы в Серебряный бор сейчас... Купаться!

— На Клязьме лучше, — возразила Маруся. — У нас дача в Подлипках. Хочешь в озере купайся, хочешь по реке плыви...

— Говорят, тут, возле Парижа, тоже пляж хороший есть, вроде нашего Серебряного бора, — сказал я. — Называется — Пек. Из вас никто там не был?

Маруся как-то отстраненно, с искорками удивления, посмотрела на меня. Колька бормотнул: «Пек — дрэк» и уставился на меня:

— А ты был?

— Не был, но слышал... Мне рабочие в типографии про этот пляж рассказывали.

Как выяснилось, в Москве у Маруси был милый. Вместе учились в школе, и, соседи дачами, вместе проводили в Подлипках каникулы: купались в студеной Клязьме, ходили в сосновый бор по рыжики. Когда она уезжала в Тегеран, он поступал в авиационный технический институт. Теперь он был инженер и не девятнадцатилетний парнишка, каким она в последний раз его видела, а мужчина. Правда, он писал ей письма, недавно прислал карточку, но она все-же побаивалась: пождет-пождет, да и женится!

Маруся тоже переменилась. Перед отъездом в Тегеран она подарила парню карточку: тонкая, молоденькая девушка в белой блузке, карие лукавые глаза, в которых только-только зарождалась нежность. Теперь она потяжелела, вызрела. В глазах не стало прежней легкой нежности и лукавства — появилась дерзость, вызов, порыв неизрасходованной, лежащей горячим и тяжелым грузом любви. Полная решимости, она пришла однажды к Панченко:

— Когда же мне отпуск будет?

Панченко посмотрел на нее холодными зелеными глазами:

— Когда Москва пришлет тебе смену, не в отпуск, а на совсем поедешь.

Голос у Маруси надломился, задрожал:

— Пришлет — дожидайся... Яков Кузьмич, войдите в мое положение, попросите Москву, чтобы ему разрешили сюда приехать... Ну, хоть на одну неделю!

Панченко захохотал:

— Лучше ничего не придумала?

Маруся, разумеется, понимала, что ее просьба — выхлопотать жениху визу — была напрасна. Видясов, даже будучи первым секретарем посольства, не мог выхлопотать визу для старухи-матери. У Любы Видясовой родился ребенок, но от работы ее не освободили. Няньку нанять не разрешили, привезти из Мо-

сквы старуху-мать, которая няньчилась-бы с внученком, тоже не позволили.

Однажды Панченко встретил меня на дворике:

— Кстати, ты томился по профсоюзной работе. Вот тебе общественная нагрузка. Маруся Петрова едет в родильный дом — навестить Нюру Титову. Поможешь ей тащить букеты и пакеты — подарки от нашего коллектива.

Нюра Титова лежала в чистой и светлой палате. Она и прежде была хрупкая, от родов истончилась еще больше. Теперь сквозь тонкую телесную оболочку проступал свет, разгоравшийся внутри. На белом, как бумага, лице лучились великолепно-черные глаза, окаймленные мягкими ресницами.

— Девочка? — спросила Маруся, поцеловав молодую мать и ставя цветы на столик. — Покажешь мне?

— Покажу, — улыбнулась Нюра. — Кормить сейчас принесут.

Тихо, со слабой улыбкой, Нюра рассказывала, что она много спит и снится ей один сон: будто, плывет и плывет по реке — солнце слепит, лодку покачивает... Река большая, как Ока под Калугой, где Нюра выросла. Высокие красные берега, широкие плеса...

— Долго-долго плыву... Потом проснусь, хоть и вижу глазами, что не на реке, а в госпитале, а все кажется, что плыву... Качает!

Маруся рассеянно вынула из вазы красную гвоздику. Она щурилась, раздувала ноздри, вдыхая аромат цветка и, слушая Нюру, думала свою, не дававшую ей покоя, думу.

Пришла плотная, черноволосая как Медея, сестра; в ушах у нее колыхались огромные серьги.

— Ca ne vous tente pas, mademoiselle? — блеснула она провансальскими глазами.

— Comment? — очнулась Маруся.

— D'avoir un enfant comme celui-ci. Regardez-le!

Девочка была запеленутая. Маленькие, как две черные смородинки, глаза ее смотрели в потолок; над нежными, чудесно вырезанными ушами вились легкие темные волосы.

— Ah, oui! — улыбнулась Маруся и наклонилась к кровати, куда Медея положила девочку.

Нюра повернулась на бок, достала набухшую грудь. Ваткой, вымоченной в борной кислоте, сестра отерла сосок. Крошечный ротик девочки наморщился, но потом открылся, она начала сосать. Дрожь пробежала по телу Нюры. Она закрыла глаза. Маруся комкала в руках гвоздику и, порвав бледно-зеленый стебель, поднялась со стула.

— Поедемте, Коряков. Она, наверное, спать должна.

— Посидите, — отозвалась Нюра издалека, как-бы из другого мира. — Куда вы торопитесь?

— Пора. Ты поправляйся скорее. Дочка у тебя — ягодка!

Из родильного дома Маруся вышла взволнованная. Нюре, ослабевшей родами, было легко и радостно. Жизненные силы, бродившие в Марусе, не находили выхода. Душная, спертая атмосфера, в которой она жила, была невыносима. По дороге в посольство Маруся молчала. Было видно, что ей стоило огромного напряжения, чтобы не разрыдаться.

Машина повернула на рю Гренель. Шофер затормозил. Из широких ворот посольства вынырнул мотоциклет. Коля-шифровальщик сидел, широко раскинув руки на руле. Позади сидела, туго завернув юбку на округлых коленях, Фая. Она увидела нас в автомобиле и улыбнулась, помахала рукой. Колька дал газ. Мотоцикл, кренясь, понесся по кривой, узкой уличке. Только машина въехала во двор, Маруся вы-

скочила и, втянув голову в плечи, побежала наверх, в свою комнату.

Колину-Фаину свадьбу приурочили к 7 ноября — празднику 28-й годовщины «Великой пролетарской революции». Днем был торжественный прием для дипломатического корпуса. Там пролетарий-дипломат Панченко блистал золотым шитьем мундира, который был скроен знаменитым Журкевичем, кроившим в былые времена фраки для царских послов. Вечером тот же Панченко, на правах «профорга», распоряжался «торжественным заседанием коллектива сотрудников посольства», а затем и свадьбой Коли и Фаи.

Прежде, чем заняться водочкой и семгой и кричать молодым: «Горько! Горько!», полагалась политическая зарядка. Доклад, посвященный 28-й годовщине, произнес сам посол. Отбыв политическую повинность, перешли в большой зал, уставленный длинными столами. Панченко стоял у окошка и холодными, зелеными глазами соглядатая ощупывал каждого, кто появлялся в дверях.

— Клюнем, что ли? — оскалился металлическими зубами коренастый, широкоплечий военный, подходя к Панченке и пожимая руку. То был майор Арсений Березин, начальник оперативной группы НКВД по парижскому району.

— Присаживайся вот туда... к тому столу, — показал ему с улыбкой Панченко.

Директорша столовой, блистая дорогой, усыпанной камнями брошью, рассаживала гостей. Она неплохо подработала на 28-й годовщине «пролетарской революции». Из Реймса привезла две грузовых машины шампанского — половину продала на черном рынке. Коньяк, который для посольства отпускался по 175 франков бутылка, она сбывала в кафе по 500 франков. Темные делишки такого рода не составляли секрета в советской колонии. Кассир посольства, в компании

со вторым секретарем, «заработали» не один миллион франков, пользуясь тем, что при обмене старых кредитных билетов на новые посольству обменивали любые суммы без ограничения; офицеры военной миссии мешками привозили из Германии марки, там уже вышедшие из употребления, и обменивали их на франки; на черном рынке продавали все, что продается: автомобили, отобранные у немцев и пригнанные в Париж, пишущие машинки, так же привезенные из-за Рейна.

Когда все расселись и после того, как посол провозгласил первый тост за «любимого Сталина», а советник посольства — «за верного сталинского соратника, руководителя внешней политики СССР товарища Молотова», поднялся Панченко и, показывая на Колю и Фаю, крикнул:

— За молодых!

Все «торжественное заседание» только и ждало этого момента — сигнала для настоящего праздника. Коля-шифровальщик улыбался так широко, что его щеки, казалось, колыхались в воздухе, отдельно от лица. Фая сидела прямо и строго — внутренне сосредоточенная, немного бледная. К ней шла бы белая фата, по-монашески скрывающая лоб и щеки, белые цветы и ветка флер д'оранжа... Но вместо «Гряди, гряди голубица» раздавался голос Панченко, который по должности партийного наставника произносил новую речь в том, что «партия Ленина-Сталина стоит за крепкий брак и по-большевистски заботится о материнстве и младенчестве».

Впрочем, эту речь почти не слушали. Видясов предлагал Березину приложиться к «вдове Клико», но тот, полупьяный, смеялся:

— Такого слабого напитка моя душа не принимает! Хватанем-ка лучше нашей... «московской очищенной»!

Березин налил граненый стакан. Пил он неприят-

но, обхватывая края стакана широкими липкими губами, по-мертвецки закатывая глаза. Выпил и, вытянув губы, выдохнул из себя спиртовую крепость. На продолговатом блюде перед ним лежала селедка с петрушкой во рту и распластанными серебряными щечками. Березин закусил, прожевал и прищуренными глазами уставился на Марусю, сидевшую напротив:

— А ты чего сумная?

Маруся подняла темные глаза, оттененные пепельными кругами. После визита в родильный дом в ней что-то надломилось: она начала худеть, осунулась, нос у нее заострился. За праздничным столом она сидела отстраненная, чужая.

— Ничего, так...

Маруся не любила Березина. Майор был немолод, имел детей. Однако, это не мешало ему быть пьяницей, бабником. Про него рассказывали, что он заманивал к себе эмигрантских девушек. После войны в Париже было много эмигрантов — «советских патриотов», которые искали работы в советских учреждениях: посольстве, торгпредстве, военной миссии. Девушке, нуждавшейся в заработке, Березин предлагал: «Приходи ко мне... У меня есть работенка... Перевести кой-какие статьи из французской прессы». Девушка приходила и попадала в обезьяньи лапы: майор ставил ей «условия» работы, принуждал к сожительству.

— Нет, ты мне скажи... — проговорил Березин, упрямо и старательно подбирая слова. Поднявшись и слегка покачиваясь, он обошел длинный стол и сел возле Маруси. — Ты мне скажи, чего ты такая сумная? Давай кричать: — Го-орько! Го-орько!

Кругом подхватили крики майора. Коля обнял одной рукой Фаю и поцеловал ее в приоткрытый рот. Березин положил руку на марусино плечо и, склонившись, что-то зашептал на ухо. Маруся резко встала.

Майор оскалился металлическими зубами и, отвалясь на спинку стула, запел:

... Губы твои алые, гибкий стан,
Я влюблен безумно, как болван!..

— Болван! Болван и есть! — пробормотала Маруся, отходя.

Березин налил стакан водки и перегнулся через стол к Панченке:

— Яша, друг... по маленькой! Хай живе НКВД... наш комиссариат внутренних дел!

Панченко тряхнул кудрями:

— Наш комиссариат внешних дел!

— Хай живе НКВД!

— Хай живе...

Праздник был в полном разгаре. Жена шофера Санько плясала, придерживая полную грудь рукой, чтобы не подпрыгивала. Упаковщица почты в аляповатом, расшитом золотом платье сидела в углу на диване и пела: «Частица чорта в нас заключена подчас...» Неожиданно раздался зычный голос Гузовского: «Прошу внимания!» В руках он держал только что принесенную дежурным курьером телеграмму:

— Товарищи! Постановлением Верховного Совета СССР награждены: первый секретарь посольства Видясов — орденом «Знак Почета», начальница канцелярии Петрова — медалью «За трудовые заслуги», шофер Санько — медалью «За трудовое отличие».

Раздались крики «ура». Все кинулись поздравлять награжденных. Губы у Маруси вдруг задрожали, слезы брызнули из глаз, — она громко, на весь зал, закричала:

— Не хочу... не надо мне вашей медали! Убирайтесь вы все к чорту! Отправляйте меня в Москву... домой хочу! Послали меня совсем девченкой, а теперь

мне уже двадцать пять... еще два-три года, кому я там буду нужна, хоть и с медалями и орденами!

Маруся рухнула на диван, закрыла лицо ладонями и горько-горько разрыдалась. Пожилая, седая женщина, кухарка с посольской кухни, обняла ее за плечи, приподняла и повела к двери:

— Ну, что-же, милая, поделаешь-то... Ведь сама знаешь: плачь-не плачь — Москва слезам не верит...

ОСВОБОЖДЕНИЕ ДУШИ

Как это назвать? Как выразить волнение, которое испытывали мы, молодые русские люди, поднятые на гребень военной волны и прибитые к чужому и незнакомому берегу? Противоречивое, сложное чувство. Тут и страх: будто потерпел кораблекрушение и выброшен на дикий остров, где мало-ли что может случиться. Тут и алчность познания, которая бывает, порою, сильнее страха: так, верно, путешественник вступает в дебри, населенные удавами и людоедами. Тут же и радость встречи: берег-то, оказывается, совсем не дикий, и никакие тут не людоеды а все свои. Правда, удавы были: из советской репатриационной миссии. Ну... поглядывай!

Встреча... Летом 1945 года в Париже вышел журнал под таким заглавием: «Встреча». Шесть лет кружила война на полях Европы. Русскую эмиграцию тоже разметало и разнесло во все стороны: одни, пытавшиеся на немецком бронетранспортере въехать в Россию, теперь искали, как-бы погрузиться на пароход, отходящий в Бразилию; другие, ослепленные блеском золотых погон на советских мундирах, не замечали, как их окружали сетями, запутывали в такие сложные отношения с советской разведкой, французской компартией, что иным было уже не выпутаться; третьи-же, которым незачем было ни бежать в заокеанские страны, ни отбывать митинги в «дворце советских патриотов», собирались своим кругом, как-бы производя в поредевших рядах перекличку.

Поредели ряды, но главное все-таки было сохранено. «Встреча» открывалась отрывком Бунина «Мистраль», показывая с первой страницы, что живая вода русской литературы не утрачена. На перекличку «Встречи» отозвался и Бердяев — глубокой и, как всегда, блестяще написанной статьей, свидетельствовавшей, что вечно юные родники русской мысли не высохли, не иссякли. Вероятно, именно такой смысл — переклички и смотра рядов — придавали заглавию составители журнала «Встреча».

Происходила, однако, в те дни и другая встреча. Когда мне попалась тонкая, но со вкусом изданная тетрадка «Встречи», первая моя мысль была, что это должно стать встречей литературных сил старой эмиграции и новой эмиграции, оставшейся в Европе после второй мировой войны.

Позднее, осенью, в «Обществе ученых» был устроен вечер журнала «Встреча», на котором присутствовали Бунин и Зайцев. Председательствовал на вечере редактор журнала Сергей Маковский. Помню, сидя в небольшом — амфитеатром — зале, я не мог отделаться от одного вдруг всплывшего наверх воспоминания. Весной 1938 года поехали мы с женой в отпуск в Одессу и там подвернулся нам старик-букинист, продававший полный комплект «Аполлона». Про себя я всегда говорю, что литература моя жена, а живопись — моя любовница, и открывая чудесные вкладные иллюстрации «Аполлона», читая у прилавка огненную статью Максимилиана Волошина об огненном живописце Сурикове, я разгорался желанием овладеть этим богатством и убивался от горя, что мы не можем его приобрести. Крайняя цена, на которой мы сошлись, была 500 рублей, а у нас денег было в обрез — только, чтобы вернуться в Сочи, где мы работали.

— Продадим... — предложила жена. — Твои штаны, да мое платье.

— Ты с ума сошла! У тебя всего-то два...

— Ну и пусть! Одно останется... Теперь лето, в сарафане прохожу.

Продали и купили... Тогда запало мне в память имя Сергея Маковского, редактора «Аполлона». А теперь — вот он, высокий, худой, сидит, положив на стол сомкнутые в замок руки, редактор «Встречи». В советской России «Аполлон», хотя и не под запретом, но в той области, которая обозначена ярлыком: «эстетское, антинародное искусство буржуазного декаданса»... прогулки туда не рекомеидуются. А тут вдруг — встреча. Необычайно!

В перерыве вечера, в кривом полутемном коридорчике, Б. К. Зайцев познакомил меня с Константином Васильевичем Мочульским, пояснив потом, что это — профессор Богословского института, автор книг о Гоголе, Владимире Соловьеве, теперь пишет о Блоке. Тогда я еще не знал, как прочно К. В. Мочульский войдет в мою жизнь: позднее мы много встречались в Кламаре, у Бердяева; намеревались издавать журнал, который стал-бы местом встречи старой и новой эмиграции (бумагу я брался добыть из советского посольства, — тайком, конечно); когда я бежал из посольства, то бежал к К. В. Мочульскому. В тот момент, когда офицеры военной миссии обыскивали отель, держали под пистолетом хозяйку отеля, мы с К. В. сидели за перегородкой в маленьком кафе и он, видя меня, напуганного и растерянного, говорил, что так должно быть, что, в конце концов, Россию мы несем в себе, что он тоже в свое время все бросил ради духовной свободы. Первую ночь я провел у К. В. на квартире, и так как все вещи мои остались в отеле, он отдал мне свое пальто, которое я ношу и поныне.

Так вот, опять-таки... необычайно! Автор книги «Владимир Соловьев»... Но что знал я о Владимире

Соловьеве? Никаких книг о нем в советской России, разумеется, не издается. Возьмите, например, однотомник Блока, выпущенный госиздатом в 1946 году, откройте на VI-ой странице, там Вл. Орлов, автор вступительной статьи, пишет: «Соловьевская метафизика, конечно, ни в какой мере не может нас интересовать». Так и чувствуется усмешка советского литературоведа: «Конечно... Ни в какой мере...»

По времени Вл. Соловьев принадлежит XIX веку, но по духу — началу XX века. «В свое время Вл. Соловьев был мало оценен и не понят, — рассказывает Бердяев в «Русской идее». — Огромное влияние он имел позже на духовный ренессанс начала XX века, когда в части русской интеллигенции произошел духовный кризис». В «Русской идее» Бердяева описана эта удивительная полоса русской жизни — начало XX века. «В России в начале века был настоящий культурный ренессанс. Только жившие в это время знают, какой творческий подъем был у нас пережит, какое веяние охватило русские души. Россия пережила расцвет поэзии и философии, пережила напряженные религиозные искания».

Большевистский переворот был срывом духовно-культурного ренессанса. Воцарилась диктатура, отвергающая духовные ценности. Не допуская свободы мысли и творчества, большевики постарались ликвидировать эпоху, когда как-раз и велась борьба во имя свободы творчества и во имя духа. Как в СССР ликвидируют «врагов народа»? Очень просто: куда-то увозят и не найти следа. Это называется — «изъять». Наутро приходит жена справиться, ей в окошечке НКВД отвечают: «И знать не знаем... такого не было!» Точно так, по методу НКВД, ликвидируются, «изымаются» целые эпохи, по устремленности, по тону, общей настроенности не созвучные марксистско-ленинскому мировоззрению.

Литература начала XX века в СССР никак не изучается. В 1938 году вышел учебник Б. Михайловского, в котором Бунину отведено полстранички и сказано, что он «до сих пор не утратил художественного значения».

Литературоведение повернуло вспять — к шестидесятым годам прошлого столетия, когда господствовала материалистическая и утилитарная философия, когда Чернышевский издевался над стихами Фета, говоря, что такие стихи и лошадь могла-бы написать, если-бы писать умела. Недавно советские литературоведы облаяли даже покойного А. Н. Веселовского, который, дескать, «вышел не из среды великих шестидесятников, а сформировался в отрыве от великих традиций». В 1938 г. в Москве вышел толстый том: Н. Г. Чернышевский — «Статьи по эстетике», но Вл. Соловьев, который в начале XX века победил Чернышевского, не переиздается и даже в университетах не изучается («конечно... ни в какой мере»).

История русской литературы в СССР строится по такой схеме: 60 гг. — назревание революционной ситуации в России («Что делать?» Чернышевского); 80-ые гг. — реакция; 90-ые годы — разгром народничества и победа марксизма; 1917 год — окончательная победа марксизма, открытие новой эры. Начало века — переход от марксизма к идеализму — по-просту изымается. Точь в точь, как в НКВД: «Культурный ренессанс? И знать не знаем... такого не было!»

Кто-нибудь скажет: — Позвольте, но — Блок! Блока переиздают,изучают. Библиографы насчитали, что в советской России уже к 1928 году было издано 800 работ, посвященных творчеству великого русского поэта начала XX века; за последние две декады «Блокиана» еще разрослась. В качестве ответа приведу, что пишет — во вступительной статье к однотоми-

ку (1946 г.) — Вл. Орлов, которому в СССР сдана монополия на Блока:

> «Сознание Блока формировалось в условиях эксплоататорского общества и, естественно, не свободно от глубоких и резких противоречий, отражавших, в свою очередь, противоречия, заложенные в самой природе этого общества. Блок испытывал многообразные воздействия вырождавшейся буржуазной культуры, отравлялся многими ее ядами, долго блуждал в туманах всяческой метафизики».

Блок — узник советского концентрационного лагеря. Комментарии Вл. Орлова, точно рогатки из колючей проволоки, не подпускают читателя к сердцевине поэзии Блока. Таким образом, и Блок не является исключением из правила: эпоха духовного ренессанса изъята, ликвидирована. В истории русской культуры, как ее представляют в СССР, там, где должно быть «начало XX века», просто дыра. Все, что произошло в России в начале XX века, в том числе и творчество Блока, можно изучать только в эмиграции, которая и по времени, в огромном большинстве и по духу, принадлежит как раз эпохе духовно-культурного ренессанса, прерванного большевиками.

Почитаю за счастье, что мне довелось слышать книгу К. В. Мочульского в его чтении, когда она еще не была напечатана. По воскресеньям в Кламар, к Бердяеву, наезжало множество всякого пестрого люду, но под вечер пена опадала — оставалось только троечетверо гостей, особо приглашенных. Худенький, в поношенном, но опрятном костюме, Мочульский сидел под лампой, светившей со стены. После ужина он читал главы из книги. Карие глаза (от матери-гречанки), быстрые жесты и скорая речь... — юго-запад дал много замечательных людей русской литературе.

Волна воспоминаний подхватывала, порою, Н. А. Бердяева и он рассказывал, например, о своих встречах с Н. Н. Волоховой, вдохновившей «Снежную маску» Блока.

На протяжении многих лет нас учили, что символизм был «поэзией русского империализма», что Блок отражал противоречия эксплоататорского общества, что, скажем, в области живописи борьба мир-искусс-ников с передвижниками была борьбой помещичьего капитализма прусского типа с силами «демократической революции, стремившейся направить развитие капитализма по американскому пути». Но теперь, на вечерних чтениях в Кламаре, все то, чему учили в Москве, распалось, разлетелось, — открылась тайна Блока, сущность его поэзии.

К примеру, «Снежная маска», написанная в начале 1907 года. По счету третий сборник стихов, но первый, в котором не было, как говорил Блок, «отступлений от лирики в лирике», — тут безраздельная отдача лирической стихии. Русский ренессанс преодолевал материализм, позитивизм, утилитаризм по всей линии, и «Снежная маска» была таким освобождением «пленной души» от тяжести бытия, грубой материальности, прорывом из тьмы внешней — в просветленный мир духовного. «Ты смотришь все той-же пленной душой в купол все тот-же звездный». «Душу вверь ладье воздушной». «Крылья легкие раскину, стены воздуха раздвину, страны дольние покину». «Вот меня из жизни вывели снежным серебром стези»... — таковы мотивы «Снежной маски».

Вечера в Кламаре — то был мой новый университет. Была там у меня даже и «курсовая работа». Написал и я очерк: «Встреча с Блоком», который однажды вечером прочитал в Кламаре; речь шла, разумеется, о духовной встрече.

Но то был больше, чем университет. То было —

освобождение пленной души от тяжести понятий, навязанных годами материалистического, марксистско-ленинского воспитания. Временами мне казалось, что я попадал как-бы в мир совсем другого измерения: мерки и правила, которые были вполне «о-кэй» в советском мире, теперь оказывались нелепыми, абсурдными, варварскими, смешными.

Освобождение души — «изюминка» невозвращенства. Это — духовный опыт, приобретаемый нами на Западе. Только ради него и стоило до поры до времени не возвращаться в Россию.

●

ГДЕ-ТО ВО ФРАНЦИИ

Мартовским утром 1946 года я пришел, как всегда, на работу в посольство. Дежурный вахтер в проходной мне сказал:

— Товарищ Панченко велел вам зайти к нему.

В кабинете, кроме Панченко, сидел капитан, незнакомый мне. На его дюжих плечах сверкали золотые погоны, на широком одутловатом лице мелькнула загадочная полуулыбка, когда он взглянул на меня. Панченко, показывая рукой на кожаное кресло и приглашая садиться, дружески-оживленно заговорил:

— Приятная новость для вас — поедете сегодня на родину. Поезд в два часа дня. Идите сейчас в канцелярию и получайте документы. Вот как раз товарищ капитан тоже едет в Москву, вам попутчик...

Корытообразное его лицо с загнутыми челюстями, однако, не оживлялось, — жесткое, как железо. Исподлобные зеленоватые глаза смотрели в упор, стараясь разглядеть, не смущен ли я неожиданной «приятной новостью».

Когда-то это должно было случиться... Давно я готовился к этому дню... Давно принял необходимые меры: в маленьком отельчике на рю де Бак, где жил последнее время, держал только самое необходимое, то, что можно было бросить в случае бегства. В другом месте, у знакомых, хранились мой штатский костюм и пишущая машинка, — все, чем я постарался обзавестись для будущей жизни.

Изобразив радость, поблагодарив Панченко за заботу, я пошел в канцелярию. На столе у начальницы

канцелярии Маруси Петровой лежала открытая папка: моя автобиография, написанная при поступлении в посольство, фото-карточки, отношения из военной миссии. Маруся печатала на машинке справку о моей 10-месячной работе в посольстве.

— Сию минутку будет готово, — улыбнулась она. — Александр Александрович как-раз здесь, подпишет вам справку.

Из кабинета А. А. Гузовского, советника посольства, она вышла смущенная. Взяла всю папку с моими документами, отнесла ему. Потом вернулась и вызвала по телефону Панченко, велела прийти.

Панченко совещался с Гузовским минут пять.

— Вот что, — сказал он, выйдя из кабинета Гузовского. — Вы получите ваши документы непосредственно в Москве.

— Но как же я буду в дороге? У меня на руках решительно ничего нет.

— Документы ваши будут при капитане, который едет с вами в Москву. Он везет кое-какую дипломатическую почту, ваше «личное дело» мы и упакуем вместе. Для вас лучше, не таскаться... чудак вы этакий!

— Но почта будет упакована, в дороге документы не достать.

— Хорошо... Лично от меня получите небольшую и неофициальную справку, что вы — из посольства.

— C'est entendu, — ответил я по-французски с какой-то шутливой наглостью, поняв, что меня хотят привязать к капитану — «попутчику». Начала работать мысль, как от него отвязаться.

«Товарищ-попутчик» оказался навязчивым. Он поехал со мною в отель — собирать вещи, а когда я сказал, что должен сходить к прачке взять белье и к сапожнику — за ботинками, он успокоил: «Успеется,

мы на машине и туда заедем...» Было ясно: ему велено держать меня в руках, не упускать ни в коем случае!

Как же мне высвободиться из железной чекистской хватки? В посольстве оставалось еще одно дело: получить деньги. Бухгалтер сказал, что составление ведомости на проездные займет полчаса. Капитан-попутчик остался в кабинете Панченко, я же пошел «торопить бухгалтера». В голове сумасшедшая билась мысль: как выскочить из посольства? Выход обычным путем — через проходную — опасен: проходная видна из окна кабинета начальника и итти туда через весь двор. Но вот оно, счастье, моя судьба: через стеклянную дверь я увидел — открылись широкие ворота и въезжает грузовик-фургон. Ворота в двух шагах от двери. В один миг я был на улице, завернул за угол и — бегом в метро!

Безумием было-бы искать убежища у русских эмигрантов, скрываться в пятнадцатом или шестнадцатом аррондисманах Парижа. Там шныряли агенты НКВД, там днем и ночью производили операции «охотники за черепами». Недавно еще там, в аррондисмане Auteuil, был убит молодой москвич-невозвращенец Колесов, проживавший под именем поляка Лапчинского. Он находился на квартире кн. Голицыной. «Оперативная группа» военной миссии выследила, когда он остался один на квартире: подъехал автомобиль, вломились четыре молодца, чтобы забрать невозвращенца. Колесов-Лапчинский ожесточенно сопротивлялся. Ему проломили голову и, залитого кровью, выволокли на улицу, погрузили в автомобиль. Он еще и на улице кричал «караул», но никто из публики не посмел приблизиться. В квартире нашли лужу крови. Парижские газеты много об этом писали, требовали розыска убийц, но префект полиции заявил, что «инцидент может перейти на дипломатическую почву». После этой истории эмигранты жили в страхе: моя

приятельница отказывалась даже хранить вещи, не то, что укрывать меня. На счастье, у меня был знакомый француз, родные которого жили в деревне, — там я нашел убежище.

Действие Божьего Промысла продолжало непрестанно проявляться в моей жизни. Встреча с французом, в сущности, спасшим меня, произошла в обстановке, полной случайностей, непредвиденностей. В мае 1945 года, только приехав в Париж, я познакомился с двумя девушками, которые выдавали себя за эмигранток, но в каждом жесте и слове их я угадывал, что они из Советской России. Одна из них, Ксана, не была дурнушкой, и я впоследствии жалел, что потерял ее из виду. Прошло несколько месяцев, девушки встретились мне в русской кафедральной церкви на улице Дарю. Короткий разговор у церковной ограды:

— Как живете? Как развлекаетесь?

— Ничего, спасибо... Сегодня собираемся в русский театр. Дают «Вишневый сад». Вы не идете?

— Какая жалость, не знал раньше. Непременно пошел-бы, но вечер занят. Приятель должен прийти.

— Знаем мы вашего приятеля... Скажите лучше — приятельница...

Вечер наступил, а приятель неопределенного пола не явился. После бесснежной зимы, уже перед самой весной, в Париже наворотило такие заносы, что прекратилось всякое движение в пригороде. Приятель позвонил, что приехать не может. Воскресный вечер оказался пустой. Вспомнив про девушек, про «Вишневый сад» и, повертевшись перед зеркалом в фуражке с красным околышем и красной звездой, покатил в театр «Иена».

Билет мне достался в другом ряду, но возле девушек оказалось свободное кресло. Не успел я в него погрузиться, как вижу... своим глазам не верю... топает сверху вниз по проходу францисканец-монах. Босо-

ногий, в коричневой рясе с белыми шнурами. В руках у него билет и, конечно, на это кресло. Монах... на что ему девушки?! Досадуя, пошел я искать свой ряд.

В антракте, точно браконьер, я опять потянулся на место охоты. Монах привстал и несколько смущенно, трудно произнося слова, сказал по-русски:

— Садитесь, пожалуйста...

— Вы... русский?! — воскликнул я.

— Нет, я француз, — улыбнулся он и освободил мне кресло.

Девушки, однако, больше как-бы не существовали: все заслонил интерес к французу, босоногому монаху, говорящему по-русски. Несколько лет назад он окончил католический университет в Париже. Посвящен в сан священника. Теперь же в Школе восточных языков изучает славистику. Католическим священникам воспрещается бывать в театрах, ему дали позволение посетить русский спектакль исключительно в целях изучения языка.

На прощание о. Пьер вписал мне в блокнотик номер телефона:

— Буду рад, если вы мне позвоните.

Встречаться больше не пришлось, и только в день бегства из посольства, первое, что явилось мне в голову — позвонить о. Пьеру. Позвонил и, не объясняя в чем дело, попросил тотчас же приехать на квартиру к моей приятельнице, Софье Вениаминовне Медведевой, где, кстати сказать, жил ту зиму проф. К. В. Мочульский.

— Mon Père, votre ami est en danger, — сказала Софья Вениаминовна, открывая монаху дверь, и он вошел с таким видом, как будто знал уже все.

Как на войне, мы втроем «оценили обстановку», «приняли решение». В деревне у о. Пьера были родители. Решили, что я поеду туда. Но как? Двести-триста километров от Парижа. Поездом? На первом же

вокзале меня, вероятно, схватили бы: в посольстве остались мои фото-карточки, и агенты, снабженные ими, были, разумеется, разосланы во все концы. Как командир на фронтовом командном пункте, о. Пьер решительным жестом снял с телефонного аппарата трубку и передал телеграмму, чтобы его отец немедленно выехал на автомобиле в Париж.

Отец о. Пьера был деревенский врач. Несмотря на свои 70 лет, полон бодрости, силы. Толстяк, невысокого роста. Живые, внимательные черные глаза под кустистыми, поседевшими бровями. Жарко-красные, все еще свежие губы, обрамленные пышными усами, белой бородой. Он как-бы сошел со старинной французской картины: gros mangeur, gros buveur... В Париже мне много наговаривали о скаредности французов: будто француз живет на дырочку от сантима, сам сантим откладывает в кубышку. В памяти моей застряли слова: un fesse-mathieu, un chiche, un grigou, un crasseux, un lesineur, un liardeur, un rapiat, un pingre, un ladre, — все, сводившееся к одному смыслу — скряга. Но стоило мне попасть во французскую семью, как я убедился в несправедливости приложения этих слов к народу Франции: в глубине он хранит источник старинной щедрости, великодушия, гостеприимства. Не долго думая, Андре Клермонт посадил меня в свой «рено», потрепанный по деревенским дорогам, и привез в деревню, принимая все меры скрытности и предосторожности. Въехали во двор, закрыли ворота и только тогда я вышел из автомобиля. Мадам Андре и дочь Жермен, 23-х лет, быстро приготовили мне комнату, откуда открывался чудесный вид на весенние поля и рощи, соседнюю ферму где молотили хлеб, шпиль церкви, вокруг которой — над жестяным петухом — летали голуби.

Два месяца провел я в этом доме, ни разу не показавшись на деревенской улице. Выходил только в

маленький сад, огороженный каменными стенами. Просыпался от колокольного звона. На калитке гремела цепь: Жермен уходила в церковь на раннюю утреннюю молитву. В розовом свете утра дымились горбатые бело-пенные яблони. На ферме, за садовой стеной, ходила по канавкам между гряд работница-полька. В резиновом халате, высоких сапогах, она тянула тонкий шланг, извивавшийся длинной черной змеею, и поливала всходы. Над ее головой вспыхивала кривой чертой радуга. Вода стекала с гряд, накапливалась в канавках, горела под первыми утренними лучами. Возле окошка мне каждое утро думалось: если бы Бог не хранил меня, разве я видел бы эту весну — весну моей новой жизни? Какие муки, какие страдания прошли через сердце... и что же?.. — сердце, как фильтр, пропускает и очищает жизнь, дистиллирует, вырабатывает из грубого, порой, дурно пахнущего, сырья какую-то неведомую тонкую и острую эссенцию, которую мы называем смыслом жизни.

Новая жизнь... Казалось, что она ничего не предвещала мне, кроме безмерных страданий, лишений, тревог. Без документов, без денег, преследуемый по пятам советскими ищейками... Из Парижа доходили тревожные известия: меня искали... В отель «Fleury's» на рю дю Бак явилось несколько офицеров во главе с Панченко и капитаном — моим «попутчиком»; они устроили повальный обыск — по всем номерам, в подвале, кухне, на чердаке. Хозяйка, милая мадам Кайон, натерпелась страха: ей тыкали в лицо дулом пистолета, грозились пристрелить. Известно стало, что агентура НКВД установила в Гавре и Марселе слежку за пароходами, отправлявшимися в заграничное плаванье. К крупным писателям-эмигрантам, например, к Б. К. Зайцеву, подсылались якобы мои «друзья», которые, узнав о случившемся, предлагали мне «помощь: все для того, чтобы узнать, где я скрывался.

В деревню ко мне приезжали истинные мои друзья: каждый раз они брали автомобиль другой марки и другой окраски, причем оставляли его на противоположном конце деревни и, крадучись, пробирались к домику доктора.

Новая жизнь начиналась, как жизнь вне закона. Но главное все же то, что это была жизнь без родины. Тридцать три года прожил я, не выезжая из России; теперь потерял милых, дорогих мне людей, оторвался от корней... понесет меня, как перекати-поле, по белу свету! Крепкую нравственную поддержку оказали мне русские друзья-эмигранты. Проф. Георгий Федотов, известный ученый, историк Русской Православной Церкви, проживший долгие годы изгнания в Париже, написал мне письмо, в котором были такие прекрасные строки:

> «Вспомните, что христианин должен быть выше родины: «Не имея земного града, града небесного взыскуем». Странничество — одно из высших христианских призваний, и такое русское. В эмиграции мы все поставлены в условия этого странничества, как и бедности. Это два великих духовных дара. Они дают большую свободу и легкость. Правда, нужна и любовь, и не легко любить чужое. Но, может быть, и удастся, если не отворачиваться и не закрывать сердца.»

Не отворачиваться и не закрывать сердца!.. Мое сердце было широко открыто. Весной 1944 года, приехав на Волынь, я тотчас-же начал учиться польскому языку, и когда мы форсировали Буг, вступили в Польшу, я уже мог читать польских поэтов в оригинале, пел походные польские песни и, посещая костелы, вслушивался в торжественные, строгие хоралы. Весной 1945 года военная дорога привела меня в Париж, и за десять месяцев, что я был в посольстве, я научился по-французски: проглатывал ежедневно десяток га-

зет, посещал художественные выставки, не пропускал спектаклей в «Комеди Франсез», ходил на лекции в Сорбонну. Та стена, которою большевики отгораживали Россию от Запада, больше не существовала.

К несчастью, не существовала она только для нас, невозвращенцев, оставшихся после войны в эмиграции. Война кончилась, и большевики опять замкнули границы. Из Москвы приходили газеты и журналы, которые нельзя было читать без боли в сердце. Был у меня в Москве приятель — Семен Гудзенко. Новый 1944 год, перед тем, как мне ехать из Москвы на Волынь, мы встретили за одной бутылкой. Вместе учились в ИФЛИ; как и я, он, воевал сапером-подрывником под Москвой. Гудзенко был тяжело ранен и остался в Москве, когда Красная армия, преследуя немцев, пошла в Польшу и Германию. На фронте, осенью 1941 года, он начал писать стихи. Но оставшись за «железным занавесом», не зная Европы и Америки, он, быть может, даже и взаправду верит, что тут все находится «в состоянии маразма и растления». В одном журнале я прочитал «Балладу» Гудзенко — про танк, который воинская часть, расположившаяся в лесу на биваке после войны, одолжила колхозникам для полевой работы. Танк этот, пишет Гудзенко, готов и дальше «мирно служить в совхозах степных» —

Но где-то
Творится все наоборот
И атомной силой
Не строят, а рушат...

Талантливый поэт, Гудзенко писал на фронте стихи, полные любви, нежности, сострадания. Но не любовь, а ненависть — фермент большевизма. Яды большевистской ненависти убили талант молодого поэта: «атомные» стишки Гудзенко плоски, трафаретны, скучны.

Боль сжимала мое сердце, когда я думал о другом моем приятеле — Григории Коновалове. Он тоже учился в ИФЛИ, приезжал ко мне в гости в Ясную Поляну, — там не одну ночь провели мы в разговорах о литературе и философии. Конечно, «философию» мы знали только по «Краткому курсу истории ВКП(б)» — по четвертой, написанной самим Сталиным, главе «О диалектическом материализме». Если что и слышали, скажем, о современной французской философии, то только по статейкам в журналах «Большевик» и «Под знаменем марксизма». Какие там бывают статейки, можно судить по тому, что в «Большевике» — центральном теоретическом органе партии — было однажды напечатано: «Светилом неосхоластики почитается недавно умерший французский философ-мракобес Жак Маритэн, всячески превозносивший прелести средневекового общественного строя». И вот, Григорий Коновалов, изучавший новейшую философию по «Большевику», написал теперь... философский роман «Университет». В романе выведены два профессора философии: Богучаров и Кожаров. Первый добивается научной командировки за границу и, побывав в Европе, убеждается, что там только «склоняют Бергсона», что «после смерти Маркса и Энгельса философия и не ночевала на Западе». Другой, Илья Кожаров, работая в области зоотехники, написал диссертацию по... философии, в которой разоблачает университетских профессоров, «раскланивающихся низко перед заграницей» и заявляет, что «мы имеем право, мы призваны, мы обязаны учить другие народы». Глухая слепая стена...

Никогда не вернусь я за советские стены! Новая жизнь принесла мне не одни тревоги и лишения, но также радость признания нового мира — познания и любви. Пока нет свободной России, нет мне туда возврата. Тем не менее, ко мне не раз приходила мысль:

встретиться бы с этими приятелями! Привести бы Гришу Коновалова вот в эту комнату с видом на поля Франции и показать ему:

— Глянь-ка, дружище, какие у меня тут книги! Вот Маритэн — «Религия и культура», «Послания», «Мысль апостола Павла»... Не верь «Большевику»: Маритэн вовсе не умер, он много работает, наверное, уже томов сто написал. Никакой он не «мракобес», а весьма даже либерального склада мышления. Насчет же Бергсона... почитай-ка вот лучше, что пишет о Бергсоне одна русская писательница-эмигрантка, Елена Извольская, дочь посла предреволюционной России во Франции.

В книге Е. А. Извольской — «Au temps de la lumière» — я показал-бы Грише Коновалову такую страницу::

> "Ce fut Bergson qui ouvrit toutes grandes les portes du monde spirituel. Mon père fut le premier à m'en parler. Les livres de Bergson étaient toujours sur sa table de travail à côté d'une pile de rapports diplomatiques. Il lisait tard dans la nuit, lorsque son travail du jour était terminé, et il commentait avec enthousiasme ce nouveau philosophe. Mon père fit ses études au temps où le "scientisme" dominait complètement le monde intellectuel. Les sources les plus profondes de la culture spirituelle étaient ignorées, pour ne rien dire de la vie mystique. Pour mon père, Bergson fut une grande découverte. Je crois que tout son horizon spirituel en fut changé. Ce philosophe amena mon père à étudier les mystiques, qu'il avait jusque là à peu près ignorés. Durant les dernières années de sa vie et à la veille de sa mort, il était, j'en suis convaincue, un homme profondement religieux."

— Когда в России не будет большевистского террора, — сказал бы я Грише Коновалову, — когда нашей университетской молодежи будут доступны все источники духовной культуры, нам еще придется пе-

реводить Бергсона и Маритэна на русский язык и печатать большими тиражами. Потому что, будь у нашей интеллигенции свобода, она тотчас же отвернулась бы от твоей «естественной» — «зоотехнической» — философии и обратилась бы к религиозной культуре.

Жить с открытым сердцем — впитывать культуры, открывшиеся нам, вырвавшимся из большевистского застенка. Скрываясь во французской деревне, я работал ранними утрами, у окошка, пока в большой зале, примыкавшей к моей комнате, не раздавались легкие шаги и веселое покашливание старика-доктора. Он стучался ко мне и, целуя меня на пороге, тыкаясь в щеку душистой белой бородой, принимался, раздувая усы, гудеть парижскую новомодную песенку:

On prend l'café au lait au lit
Avec des gâteaux et des croissants chauds . . .

Так, всегда — песенкой, он приглашал меня пить кофе. В кухне трещал хворост, Жермен растапливала печку. Веселая, тоже с каким-то поющим сердцем, как и ее отец, она вносила в столовую дымящиеся чашки на подносе. К раскрасневшемуся, в бисеринках пота, лбу ее прилипали темно-каштановые пряди, светились, точно два черных солнца, глаза.

На стене в столовой висел овальный портрет девушки, похожей на нее. Те же прекрасные глаза; только тише, покойнее. Это была старшая сестра, Мишель, которая, вот уже десять лет, находилась в монастыре. Принимая постриг, она искала монастырь, где условия жизни были бы наиболее твердые, суровые. И нашла: она могла только раз в месяц видеть родителей и всегда через решетку, всегда в присутствии другой монахини. В добровольном заточении она написала книгу — историю монашеского ордена, к которому принадлежала. Вторым по возрасту, после Мишель, шел

о. Пьер, носивший в миру другое имя. Мать, мадам Андре, мне рассказывала: когда он родился, она молилась, чтобы он стал священником, и он им стал. Младшая, Жермен, тоже мечтала о монастыре, но ей выпало оставаться при стариках-родителях.

На другой стенке красовалась большая, в тяжелой раме, картина: поле боя, изрытая снарядами земля, опрокинутые пушки, облитые кровью раненые и подбирающие их санитары, и в темном сумеречном небе — крылатое видение Родины — Франции, возлагающей венок на героя битвы. Картина эта — наградная грамота. Короткий текст под картиной рассказывает о подвиге врача Андре Клермонт на фронте, в Арденнах, в первую мировую войну. Грамоту подписал маршал Фош. Во вторую войну, доктор, семидесятилетний старик, не желая оставаться с немцами-захватчиками, оставил дом, посадил жену и дочь в потрепанный, чихающий, фыркающий «рено» и уехал далеко на юг, в страну басков. В этой войне участвовал его сын — о. Пьер, и трудно было узнать францисканца-монаха в том бравом, коренастом и загорелом капрале, портрет которого также имелся в доме. О. Пьер там стоял на раздвинутых ногах, опираясь на винтовку, в форме марокканских войск — в феске со звездой и полумесяцем, с подсумком на поясе.

Ни малейшего вымысла нет в том, что я рассказываю об этой семье. В ней я увидел настоящую, неискаженную Францию. Такую, какой она была, вероятно, до той поры, пока в ней не развился и не усилился процесс дехристианизации. К примеру, скаредность, скупость французов... — порок этот существовал не всегда. В литературе XIX века он отразился, но писатели старых времен оставили совсем другой портрет французского крестьянина. Бесспорно, он и тогда был бережлив — к своей земле, к своей скотине, экономен, сдержан, как и полагается крестьянину, однако, он не был

скаредом, таким он стал уже в новую пореволюционную — буржуазную, оттолкнувшуюся от христианства — эпоху. Дехристианизация усиливалась, пороки укреплялись... — извращалось понятие о свободе, ослаблялась привязанность к долгу. Так, наряду с тысячелетней христианской традицией, Франция теряла и тысячелетнюю военную традицию. Все это находится в тесной взаимосвязи, и в той семье, где христианская традиция сохранилась во всей силе, там жила и другая — героическая, военная, традиция чести, традиция самоотверженности, любви к человеку, сострадания, наконец, старинного великодушия, гостеприимства. Такою когда-то была и Россия. Большевизм, дехристианизируя молодежь, воспитывая ее в духе материализма, марксистско-ленинской идеологии, привел ее к деградации и моральному оскудению, к тем страшным делам, которые я видел в Бунцлау, Лигнице, Бауцене...

Наше спасение — как России, так и Франции, так и всего мира — в возрождении христианского религиозного сознания, в повороте к религиозной культуре. Из далекой России я пришел к людям Запада, как христианин приходит к христианину. Пришел, как вестник: сказать, что поворот к религиозной культуре совершился в военные годы и в нашей стране, в так называемом «сталинском поколении молодежи», но что большевизм душит зеленые всходы, не дает им развиться.

И я увидел: люди Запада — простые и даже бедные люди — приняли меня не как чужого, а как своего, как брата. Не было между нами «железного занавеса», и мы породнились сердцами. Даже в быт, казалось-бы, такой отличный от нашего, русского, я вошел как-то сразу, не чувствуя ни малейшей связанности. Дни в деревенском моем заточении были длинные, их хватало и на то, чтобы писать книгу, и чтобы работать в са-

ду — собирать хворост, обрезать сухие ветки на яблонях, таскать зеленый дерн в курятник, поливать спаржу, набирать букеты ландышей у высохшего водоема. Даже кухней занимался: после дождя охотился за садовыми улитками, и мадам Андре учила меня, как делать из них майонезы, она же баловала меня яйцами а-ля мимоза. Вечерами, после обеда, подолгу засиживались за столом, разговаривая о Франции, о России. Перед тем, как итти спать, все становились перед иконой Божьей Матери-Фатимы, и Жермен во весь голос читала молитву, которая заканчивалась такими словами:

> "Priez pour la France, pour la Russie et pour tout le monde entier".

Наступила Пасха. Как нечто символическое для меня, воспринял я то, что в эту весну — первую мою свободную весну, не на советской территории — православная Пасха совпала с католической. Всю Страстную неделю, как и Великий пост, я слушал по радио из Собора Парижской Богоматери замечательные проповеди отца Мишеля Рике. К Светлому Воскресенью мои друзья привезли из Парижа куличи и творожные пасхи, крашеные яйца. Жермен получила в подарок православную икону — «Неопалимая Купина» — работы известного русского иконописца Стеллецкого.

К сожалению, прожив два месяца, я более не мог тут оставаться. Это становилось опасно не только для меня, но и для семьи. Меня перевезли в Париж, где я скрывался еще два месяца, совершенно не выходя из дома.

В полдень 14 июля 1946 года я был в числе пассажиров могучего четырехмоторного самолета, который должен был подняться с аэродрома Орли, чтобы увезти меня в Бразилию — так далеко от России, от

Франции, что там даже звезды и те другие. Перед отъездом на аэродром, Жермен и ее родители посетили меня в парижском моем убежище. Еще и еще раз поговорили мы о трагедии русского солдата, защищавшего Россию и защитившего большевизм, лишенного всякой возможности жить на родине, и о трагедии Франции, о наступлении на нее коммунизма, о бегстве молодых французов за границу, об этой ужасной, поднявшейся в 1946 году волне эмиграции, первом признаке неблагополучия страны.

Жермен воскликнула:

— Никем бы не хотела быть — только француженкой! Нигде бы не хотела жить — только во Франции!

— Правильно! — согласился я. — И я тоже — только русским и только в России.

В ответ на мою «Неопалимую Купину», Жермен дала мне на прощание маленький образок Notre-Dame du Perpétuel Secours.

— Можно подарить вам это? — спросила она. — В своих молитвах вы не забудете помолиться о Франции?

— А вы — о России, — ответил я.

На обороте иконки была молитва:

— Donnez-moi, ô charitable Mère, la pensée et l'habitude de recourir toujours à Vous... К ней, Царице Небесной, прибегал я в минуты боя и в смертный, последний час, — Она всегда и везде даровала мне спасение. Bénissez moi, ô tendre et secourable Mère. Благослови меня, Владычица, на новый путь, и на новом пути — укрепи неустанной помощью. Ainsi soit-il.

ОГЛАВЛЕНИЕ

		Стр.
Предисловие Бор. Зайцева		V
Часть первая:	ПОД МОСКВОЙ	3
Часть вторая:	НА ЗАПАД!	177
Часть третья:	ПЕРЕД ВОЙНОЙ	273
Часть четвертая:	К НОВОЙ ЖИЗНИ	303